

ЧАЙКА – SEAGULL

№ 2, 2015

ЧАЙКА – SEAGULL
№ 2, 2015

Copyright © 2016 Irina Chaykovskaya

Editor: Irina Chaykovskaya

Cover Design: Izya Shlosberg

Cover Photo: Vladimir Gappov

Chapter Illustrations: Alex Stefan

Layout: Alex Marin

Printed in the United State of America
CreateSpace Independent Publishing Platform,
North Charleston, SC

All stories, memoirs, and poems are copyright of their respective creators as indicated herein.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission from the author(s).

Library of Congress Control Number: 2016901652

ISBN-13: 978-1523662722

ISBN-10: 1523662727

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

Выходит два раза в год

ЧАЙКА – SEAGULL

№ 2
2015

Проза
Стихи
Статьи
Эссе
Интервью

Редактор-составитель
Ирина Чайковская

Светлой памяти основателя и первого редактора журнала ЧАЙКА
Геннадия Крочика (1949-2014)

Содержание

От составителя	9
ЧАСТЬ 1. ЧЕРНЫЕ ГОДЫ. РЕПРЕССИИ, СТАЛИНЩИНА, ТОТАЛИТАРИЗМ, ВОЙНЫ	
<i>Лариса Миллер. И в черные годы блестели снега. Стихи</i>	13
<i>Никита Кривошеин. «Дважды француз Советского Союза». Отрывки из книги</i>	14
<i>Евсей Цейтлин. Так и было. Из дневников этих лет.</i>	26
<i>Бауржан Тойшибеков. Максимы.</i>	30
<i>Наталья Роскина. Оборотни. Повесть</i>	31
<i>Ирина Роскина. Хорошо ли мне в Израиле</i>	68
<i>Ирина Чайковская. Юрий Трифонов. Отсвет личной драмы</i>	71
<i>Ирина Чайковская. Совесть мучила его еще долго. Интервью с Ольгой Трифоновой-Танган, дочерью Юрия Трифонова</i>	76
ЧАСТЬ 2. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА. ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА	
<i>Валентина Синкевич. Пение. Стихи</i>	97
2.1. ИСТОРИЯ	
<i>Лев Бердников. Творители и лживцы. Эссе</i>	98
<i>Елена Пацкина. Василий Ключевский. История не учительница, а надзирательница...</i>	105
<i>Ксения Кривошеина. Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней. К 70-летию со дня гибели матери Марии (1891-1945)</i>	108
2.2. ПРОЗА	
<i>Николай Боков. Повесть о Маше</i>	116
<i>Елена Литинская. Экстрасенсорика любви. Рассказ</i>	129
<i>Самуил Кур. Владимир Маяковский. Муза и маузер. Документальное расследование</i>	151
<i>Анатолий Валюженич. Лилино ли теперь это поле? Где покоится прах Лили Брик. Эссе</i>	175
<i>Наши дебюты</i>	
<i>Сергей. А. Кузнецов. Амиго. Рассказ</i>	184

<i>Грегори Соляр. Семик. Рассказ</i>	186
<i>Павел Товбин. Два голоса любви. Рассказ</i>	196
<i>Александр Романов. Любовница. Рассказ</i>	203
<i>Татьяна Кузнецова. Тринадцать метров и одна жизнь. Из жизни цирковой артистки</i>	209
<i>Майя Гельфанд. Ищут Йонатана. Рассказ</i>	217

2.3. ИСКУССТВО

<i>Александр Сиротин. Лермонтов, Фальк и связь времен</i>	218
<i>Вера Чайковская. Разворот к центру. Вольные размышления над книгой о Возрождении</i>	233
<i>Ирина Лемм (дебют). Рембрандт возвращается на Родину</i>	238
<i>Лейла Александер-Гарретт. Два Саввы – Морозов и Мамонтов. Из повести «Москва, мы все к тебе придем!»</i>	241
<i>Элеонора Мандалян. Возвращение Джеймса Бонда с фильмом «Спектр»</i>	246
<i>Ольга Трифонова-Тангян. О дневниках художника Амшея Нюренберга</i>	253
<i>Амшей Нюренберг. Из дневников разных лет</i>	260

ЧАСТЬ 3. В ЗЕРКАЛЕ. РОССИЯ – АМЕРИКА

<i>Саша Немировский. Лестница в Одессе. Из цикла «Пейзажи 2015». Стихи</i>	283
<i>Галина Ицкович. Из Билли Коллинза (с англ.) Гранд Централ – Grand Central. Стихи</i>	285
<i>Азарий Мессерер. Представитель «Великого поколения» Стэнли Плезент</i>	287
<i>Дарья Кашина. Ржавое железо. В Москве уничтожен музей «Союзники и Ленд-лиз»</i>	292
<i>Вадим Массальский. Михаил Чехов – актер, не покорившийся Голливуду. Историческая миниатюра</i>	298
<i>Элеонора Мандалян. Американский тезка Санкт-Петербурга</i>	314

Конкурс сатиры и юмора журнала ЧАЙКА 2015: «Противостояние России и Америки»

<i>Яков Лотовский. Ногой открывающий двери. Рассказ</i>	322
<i>Илья Криштул. Резюме соискателя на получение должности главного юриста Гусева Б.С.</i>	328

ЧАСТЬ 4. НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поэту Науму Коржавину – 90 <i>Ирина Чайковская. Наум Коржавин. Тяжесть на смертных плечах. Биографический очерк</i>	333
Актеру Борису Казинцу – 85 <i>Ирина Чайковская. «Чайка» поздравляет</i>	345
<i>Инна Безирганова. Жизнь прожить – не поле перейти!</i> <i>Глава из книги «Закон вечности Бориса Казинца»</i>	347
Общественному деятелю и барду Юлию Зыслину – 85 <i>Юлий Зыслин. Критическая точка. Последние дни Цветаевой. Из архива Вашингтонского музея русской поэзии</i>	349
Итальянистке, переводчице, автору журнала, Юлии Добровольской – 98 <i>Юлия Добровольская. Из архивов памяти</i>	359

ЧАСТЬ 5. ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ

<i>Элеонора Мандалян. Вахкот. Рассказ для семейного чтения</i>	369
<i>Артем Курамшин, дебют. Хвостатые фантазеры. Рассказ</i>	376
Победители второго новогоднего конкурса творчества детей и для детей <i>Настя Нестерова (14 лет, Уфа). Как поверить в Деда Мороза</i>	380
<i>Нина Агошкова (Краснодарский край). Снегурочка и волшебный мешок</i>	383
<i>Виолетта Гребельник. (Италия, Рим). Снежный ком. Стихи</i>	389
<i>Аркадий Млынаш (Израиль, Холон). Главное не растеряться. Стихи</i>	390
<i>Ольга Рачинская (США, Кливленд). Предновогоднее. Стихи</i>	391
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	392

От составителя

Дорогие читатели, вы держите в руках второй номер нашего периодического издания, АЛЬМАНАХА ЧАЙКА. В нем представлены лучшие материалы, опубликованные в интернет-журнале ЧАЙКА за вторую половину 2015-го года. Отбор был жесткий, материалов было несравнимо больше. Но мы пошли навстречу читателям, говорившим, что слишком большой формат бумажного издания их отпугивает. Сократив объем сборника, мы однако не потеряли разнообразия жанров и писательских почерков. В нашем АЛЬМАНАХЕ вы найдете произведения 44 авторов, живущих в разных странах, но говорящих и пишущих по-русски.

Участники Альманаха проживают в России и Америке, а также в Италии, Англии, Франции, Германии, Израиле, Нидерландах, бывших советских республиках Украине, Казахстане и Башкортостане.

Есть в нашем издании настоящие *подарки* для читателя. Это повесть писательницы Натальи Роскиной «Оборотни», предоставленная нам ее дочерью, Ириной Роскиной, отрывки из дневников художника Амшея Нюренберга, присланные в журнал внучкой художника Ольгой Трифоновой-Тангян, «Повесть о Маше» живущего во Франции писателя Николая Бокова. У нас в АЛЬМАНАХЕ опубликованы уникальные воспоминания о михоэловском ГОСЕТе и предвоенном его спектакле «Испанцы» по драме Лермонтова, написанные сыном актрисы еврейского театра Нехамы Сиротиной, Александром Сиротиным. Уникальны и воспоминания об отце, писателе Юрии Трифонове, в интервью Ольги Трифоновой-Тангян, к большой нашей радости, ставшей автором ЧАЙКИ.

Кроме корифеев журнала, таких как Валентина Синкевич, Элеонора Мандалян, Александр Сиротин, Азарий Мессерер, Николай Боков, Евсей Цейтлин, наших постоянных авторов Ларисы Миллер, Веры Чайковской, Лейлы Александер-Гарретт, Льва Бердникова, Самуила Кура, Елены Пацкиной, Ильи Криштула, Вадима Массальского, мы дали слово и debutантам, но только тем, чьи рассказы, эссе, интервью вызвали интерес читателя. Отмечу Александра Романова из Волгограда, чей рассказ «Любовница» оказался созвучен желанию нашей

аудитории читать о любви, поэта Елену Литинскую из Нью-Йорка, далеко не новичка в литературе, дебютировавшую у нас тоже рассказом о сильных человеческих чувствах - «Экстрасенсорика любви», а также Майю Гельфанд из Израиля с ее крохотным, но чистым по звучанию рассказом «Ищут Йонатана».

АЛЬМАНАХ наш включает не только литературные произведения, но и статьи и эссе, посвященные литературе, театру, кино, живописи; мы рады участию в нем авторитетного искусствоведа из Москвы Веры Чайковской, известного исследователя жизни Маяковского и семьи Осипа и Лили Брик Анатолия Валюженича, знатока американского кино из Лос-Анджелеса Элеоноры Мандалаян.

Один из важных разделов журнала посвящен нашим юбилярам, друзьям ЧАЙКИ, – Науму Коржавину, Борису Казинцу, Юлию Зыслину и Юлии Добровольской. Все они помогают журналу словом и делом.

Выражаю благодарность тем, кто помогал и помогает мне в повседневной работе над журналом и в работе над АЛЬМАНАХОМ. Это Марк Мейтин, Александр Марьин, Вадим Массальский. Все эти люди, как и я, как и все авторы журнала, работают бескорыстно.

В работе над обложкой неоценимую и тоже бескорыстную помощь оказал нам художник Изя Шлосберг, он сделал ее на основе фотографии, присланной из Москвы автором нашего журнала Татьяной Кузнецовой (фото Владимира Гаппова). Особая благодарность Александру Марьину, взявшему на себя тяжесть изготовления макета этого издания.

Очень надеюсь, что мы не разочаруем вас, дорогие читатели! Наша ЧАЙКА продолжает полет.

Ирина Чайковская

Большой Вашингтон, США, декабрь 2015

ЧАСТЬ 1

ЧЕРНЫЕ ГОДЫ.

РЕПРЕССИИ, СТАЛИНЩИНА,
ТОТАЛИТАРИЗМ, ВОЙНЫ



ЛАРИСА МИЛЛЕР
Москва, Россия

Тамаре Петкевич

И в черные годы блестели снега,
И в черные годы пестрели луга,
И птицы весенние пели,
И вешние страсти кипели.
Когда под конвоем невинных вели,
Деревья вишневые нежно цвели,
Качались озерные воды
В те черные, черные годы.

1989

НИКИТА КРИВОШЕИН

Париж, Франция

Дважды Француз Советского Союза
Отрывки из книги

Осенью 2014 года в России вышла книга Н.И. Кривошеина «Дважды француз Советского Союза»¹. Название может показаться парадоксальным и почти издевательским, если не знать истории самого автора и его персонажей.

В сборнике не только воспоминания о счастливом детстве Никиты – автора книги, прошедшего в мирном и благополучном Париже до 1939г., но и жизнь во время бомбёжек и оккупации Франции, аресты отца (героя Сопротивления), его Бухенвальд, возвращение в 1945г, отъезд в СССР в 1947 (по зову сердца) вместе с семьей, опять арест в 1949г., в Ульяновске (но уже не гестапо, а КГБ); смерть Сталина и возвращение отца из лагерей, а в 1957 арест самого Никиты... Книга напоминает детективный сериал с крутыми поворотами и с не всегда предсказуемым концом (Из рецензии С. Солодовникова).

Август пятьдесят второго. Побег из Ульяновска

Моя поездка в Москву для поступления в вуз была в общем вагоне без плацкарты. Когда не везло, доставалась только третья верхняя полка для багажа, не поперечная, а продольная, с отопительной трубой у стенки, к которой, чтобы не упасть, я привязывался ремнем; внизу – обилие снятых валенок и портянки, храп, разговоры с обстоятельным повествованием и подробностями физиологической жизни. Последнего Нина Алексеевна не переносила.

Ульяновск и пять лет в нем постоянного страха, невозможность молодому парижанину, каким я себя ощущал, понять окружающее, недоедание, арест отца, слезка, дистрофия матери выработали во мне черно-белое восприятие этой «реальной действительности» – через ненависть. Потом, спустя годы, я это преодолел. Твардовский и сам тогда не знал

¹ Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2014

великого утверждения, им же потом и опубликованного: «Не стоит село без праведника... земля не стоит». А ведь если бы не высочайшая удельная плотность не то что хороших – замечательных, мужественно-самоотверженных людей в том сталинском мраке, – не сидеть бы мне сейчас за компьютерными воспоминаниями в испанской квартирке.

Всех благодетелей – буквально – не перечислить: не очень молодые люди, приходящие к маме на ненужные им уроки английского; рабочие моего цеха, не бравшие меня с собой выпивать в день полочки, хоть я просился – «тебе надо учиться»; на всю жизнь напуганная старушка Языкова в иностранном отделе Дворца книги – мужественно, шепотом, переходящая на старомодный французский; и Александр Александрович Любищев – у него для нас двоих и стол, и натаскивание по математике; и преодолевшая свой страх Надежда Яковлевна Мандельштам: она «конспиративно» назначала маме встречи в бане (не любящей этого места) на улице Водников, и там шепотом они обе в утешение – обменивались воспоминаниями. Был и епископ (на весь город одна, почти пустая церковь), со свечницей как бы тайком передавший нам конверт с малой суммой. Перечень этот не завершить...

С собой в Москву, в сохранившемся парижском отцовском портфельчике я увозил – оный членский билет, свой «безмедальный» аттестат, паспорт с местом рождения «Булонь, Франция», а в графе социальное происхождение – «из рабочих». И еще: в то время я не потреблял ни папирос «Север», ни жидкости «Красная головка» (второе – только по одной рюмке с мамой по праздникам). Но стоило моему московскому плану исполниться, и полгода не прошло, как – полторы пачки «Дуката» в день, а на лестничных площадках – по пол-литра «Московской» на двоих, из горла. Конечно же, незамутненное чутье среди многого прочего помогло одолеть и «сорок сороков» (взорванных), как Растиньяк у Бальзака некогда одолел мой родной Париж: «А теперь – кто победит: я или ты!»

У меня было заранее оговоренное место ночлега, на полпути между Бутырской тюрьмой и Центральным театром Советской армии: Селезневская, 24, кв. 44, кирпичный дом в два этажа, коммуналка на четыре семьи, ниже этажом паспортный стол отделения милиции. Комнатой с антресолями в этой квартире

обладал неэмигрировавший двоюродный брат моего отца – Т. Г. Его пьянство, а вскоре и убедительный алкоголизм начались в 1918-м, в еще не конфискованном особняке Морозовых на Кудринской (вблизи от дома Шаляпина). Там, на жизнеопасном пути к белым, застрял мой восемнадцатилетний дядя Всеволод Кривошеин, будущий архиепископ Брюссельский. Они с Т.Г. укрылись в погребе, где было много стеллажей с коллекционным французским вином. Выходили на поверхность – только взять закуски. Дядя, будущий архиепископ, сумел повоевать с большевиками, потом пить отвык, ему предстоял путь в Париж и на Афон, а вот Т.Г. ждал калечащий процесс выковки нового человека, homo sovieticus. Показательным результатом этой операции над человеком стал несчастный Т.Г.

Все же он приютил меня, по силам скудно кормил, хотя и вовсе не скрывал, что смертельно боится собственного гостеприимства. Позже, в первые недели после освобождения, и Игорь Александрович получил здесь приют. Три его двоюродные сестры (со страшной советской жизнью), увидев в Москве в 1948 году моего отца, появившегося, как привидение, из Парижа, в квартиру его не пустили: «Не приходи больше, нам страшно...» Проявились они на нашем небосклоне только после десталинизации. Да и с Т.Г. они не общались, утверждая, что в 1938-м он дал показания на родного отца, а потому «его вскоре расстреляли». Правда ли? Он-то меня не боялся, они – да. А вместе с тем были шибко православные. Кто их рассудит? Я любил их всех и по-разному был благодарен всем четверым. Никому из них коммунисты своими расовыми законами («лишенцы по сословной принадлежности») не дали доучиться, у одной возник жених, но до венчания и его расстреляли.

Т.Г. жил (плохо) преподаванием «музлитературы». Промышленные количества портвейна «Лучший» убедили его в правоте слов тов. А. А. Жданова, и он проклинал Шостаковича с Прокофьевым. Как многие в его поколении, сочинял доморощенные вирши, разговоров о политике не вел.

Не поверите, но при виде его – сгорбленного, шатающегося в обдирках на дачной дороге – сразу становилось ясно: человек из благородных! Ведь и на расстоянии тягловый битюг различается от английского скакуна, даже не ухоженного, как селекционная роза от дачного дичка. Но года через три от рутины и портвейна Т.Г. преставился. Царствие Небесное!

Т.Г. по ходу моих толканий в институты советов не давал, что выйдет из моих стараний, ему было невдомек; завершеного образования получить ему Советы тоже не дали. Если бы не он, то никакой Москвы не видать мне как своих ушей, а значит, двадцать лет спустя, мне и родителям не видать и Парижа.

Большая неспособность к предметам точным и естественным вместе с дерзостью и стремлением обвести-обойти систему определили для меня череду тыканья в приемные комиссии. Она началась в первый день приема документов: задел времени оказался абсолютно необходимым. Недоумевайте сколько угодно – первое место, где я показал взятую накануне и заполненную на Селезневке анкету, был длинный стол с носорогообразными господами в Институте международных отношений. Первый вчитался, передал соседу, а когда тот дошел до конца первого листа, сказал: «Хоть вы учились в школе рабочей молодежи, мы вас принять не можем». Ушел, не спросив почему.

Тогдашний формуляр был составлен умно, я его полностью запомнил (по ходу «оттепели» он в несколько приемов был сокращен и притуплен).

А тогда: место рождения – та же Булонь; социальное происхождение обоих родителей – из дворян; проживали ли вы за границей? – да; есть ли родственники за границей? – да; сражались ли вы или ваши близкие родственники в белых армиях? – да; были ли вы или ваши близкие родственники на временно оккупированных территориях? – дважды да; были ли вы или ваши близкие родственники под судом и следствием? – да, конечно же. Чуть ли не единственный вопрос, на который я ответил отрицательно, звучал: «Уклонялись ли вы от генеральной линии партии?» Уверен, что и сейчас эти листки могли бы позабавить интересующихся современной историей.

Именно это увеселительное действие они произвели с серолицым функционером в приемной комиссии Института восточных языков в Сокольниках, тогда еще не слитого с МГУ.

Мой расчет – французский знаю, вьетнамский выучу, и будет в пользу.

Функционер был один в кабинете, в анкету вглядывался долго. Его охватил явно несвойственный этим людям приступ хохота, как у персонажа плохой кинокомедии. И он не мог

остановиться. Вытерев глаза, вежливо сказал: «Извините. Мы вас принять не можем, а если и примем, то на работу не распределим».

Выбор первых двух мест, куда я ткнулся, – далеко не все дети первых секретарей райкомов или первых секретарей советских посольств дерзали мечтать о поступлении туда – воспринимается как сочетание глупости и нежелания считаться со всем до того мной пережитым. Я был подобен персонажу оруэлловского «1984», мною тогда не читанного. При всем моем ульяновском опыте я находился в полном неведении, что такое антиутопия. Попросту – был дураком, без писаного закона и без смирения с беззаконием. Виртуальное абитуриентство в этих кузницах номенклатуры «безумством храбрых» не назовешь.

Третье место, куда я поехал, был филологический факультет Университета на Моховой. Рассуждение: французский знаю, освою другой, и будет в пользу. Заметьте: МГИМО, ИВЯ, МГУ – некая советско-иерархическая нисходящая этого маршрута очевидна.

Приемная комиссия на втором этаже казаковского здания с полуротондой. Объяснить не могу, но состав воздуха в помещении приема документов был обоняемо другим по сравнению с двумя предыдущими вузами. Не те сверстники в очереди, не те преподаватели-чиновники.

«Подождите...»

Скоро ко мне подошел человек в хорошем костюме, седоватый. Жалею, что в памяти не осталось точно, как он представился – вроде зам. декана Романов. Деканом тогда уже был очень всем запомнившийся Роман Самарин. В обращении – расположение, в голосе – сочувствие: «Вы должны знать, что с такой анкетой мы вас принять не сможем. Подумайте: или сдавайте у нас и с экзаменационным листком поступайте в другое место, либо сразу попробуйте в другой институт». Первый человеческий подход! Спонтанно: «Попробую в другое место». И почувствовал как бы облегчение!

Все эти недели больших надежд я ни в кино, ни в музей, вообще никуда, кроме Селезневки.

Близкая по Парижу Нина Рещикова перебазировалась в СССР в 1947-м. Нина поступила (чудо) на педагогический французский факультет Института иностранных языков, еще не

имени Тореза, на Метростроевской. Вскоре вышла замуж за художника, москвича Ивана Бруни, и это избавило ее от распределения в глушь. Поехал к Нине и все рассказал. Ей пришло в голову (не мне) – попробуй к нам в ИНЯЗ.

К тому моменту трижды испытанное «мордой об стол» стало давать во мне накопительный эффект, микстуру сильного отчаяния, сознательной ненависти, понимания, что ждет возврат в Ульяновск и отступить некуда. С этим составом внутри себя поехал на Остоженку-Метростроевскую, в тогда не совсем осыпающееся красивое здание, созданное архитектором Жильярди. Время после обеда, те же столы в коридоре на втором этаже. «Подождите». Спустя некоторое время: «Вас хочет видеть директор».

Табличка: «Пивоварова Варвара Алексеевна, директор». Неприглядный кабинет, большой Ленин на стене, гладкая прическа, широкий белый воротничок, платье коричневое, как бы гимназическое. Взгляд бесцветно пристальный. Первая ассоциация – по внешности и поколению: Екатерина Федоровна Тупицына, директор первой средней школы Ульяновска (до нее в этой должности был отец А. Ф. Керенского), там я был год, и именно она мне ставила двойки за сочинения, где слово «Бог» я писал с заглавной.

Пивоварову пробовал «пробить» в Гугле – результат плачевный: только годы начальствования в институте; на сайте партийных работников – упоминание о четырех военных годах, когда была заведующим сектором школ ЦК ВКП(б). И все. Доцент политэкономии. Говорили – карьера началась с курсов ликбеза Буденновской дивизии. Ее сестра – освобожденный секретарь парткома Издательства на иностранных языках. Вот и вся на сегодня гласность.

Заявление о поступлении я заполнил на переводческий факультет. Состоявшийся с Пивоваровой первый диалог остался в памяти не слабее арестов и других травм. С немалыми перерывами общение наше длилось затем более пяти лет.

«Почему вы хотите стать переводчиком?» – «Потому-то...»

«Почему вы выбрали наш институт?» – «Из-за того, что... знаю, что есть репатрианты, которые его окончили и были очень довольны».

«Вы с ними встречаетесь?» – «Да».

«Организации создаете?»

Клянусь, хоть и не положено, в стенографической достоверности приводимой беседы. Да и воображения на такую придумку у меня нет, а память зафиксировала до каждого слога.

В ответ я молчу.

«За что арестован ваш отец?» – «Не знаю, считаю, что неправильно».

«Что делал ваш отец во время Гражданской войны?» (все это уже в анкете) – «Был в армии генерала Врангеля».

«Белогвардеец, значит?» Молчу.

«А что делал ваш отец во время Отечественной войны?»

Тут у меня в голове нарисовался благоприятный поворот разговора: «Участвовал в движении Сопротивления, был арестован Гестапо и отправлен в Бухенвальд». – «Значит, провокатор?!»

Не договорила она последнего слога этой реплики, как меняхватило состояние аффекта, помрачения, запомнилось только отрывочно: что-то подобное произошло в жизни еще один раз, как говорится, на личной почве, и то в четверть силы. Враз перегорели предохранители выживания, обезопасивавшие меня все шесть лет с приезда в СССР. С тех пор мне понятно, что состояние аффекта есть смягчающее обстоятельство.

Сантиметрах в двадцати от меня пребывал зеленого мрамора письменный прибор – две чернильницы, длинная держалка для ручек, плотный поддон. В одно мгновение прибор мною поднят и грохается об стол. Сколько помнится свой голос – не в крик, а скорее как бы в рычание... Но ни смысла, ни последовательности изложенного не могу восстановить. Сводилось к тому, что не отбуду из Москвы, пока ее не накажут, что дойду до всех инстанций, что мне терять нечего, а ей лучше бояться, и сильно!

Когда меня отпустило, в кабинете стояла секретарша, моя собеседница была сера лицом и тихо сказала секретарше: «Идите».

Я даже не испугался сам себя, а медленно отходил, возвращалось дыхание.

Заговорила Пивоварова: «На переводческий я вас принять не могу, на факультет английского языка тоже (?), подавайте на факультет французского языка. Учтите, что, когда будет распределение, я вас направлю в Казахстан. Оставьте документы в секретариате».

Секретарша назвала день, когда прийти за экзаменационным листком. Инстинктивно ни Т. Г., ни кому другому эту надреальную «беседу» не пытался воспроизвести, не хотелось.

Восприятие Пивоваровой моего монолога и поведения, ход ассоциаций и рассуждений, приведших ее к тому, чтобы дать задний ход, мною поныне не разгаданы, и если изыщется советолог-психолог, который расшифрует, – благодарность моя большая. Одно неопровержимо: от нее ко мне никогда не поступало ни молекулы сочувствия или человечности. Это неопровержимо устанавливается пятью с половиной годами нашей дальнейшей редкой, но всякий раз насыщенной, взаимно отторгающей ненависти (можно допустить: сословной?).

Конкурс был в те годы не устрашающим, о том, что не выдержу, и не думал, но вспомнил обмен репликами с коллегой-фрезеровщиком в инструментальном цехе незадолго до ухода с завода: «Никита, получишь аттестат, что делать будешь?» – «Постараюсь поехать в Москву, в институт». После паузы: «Наполеоновские мысли у тебя».

Человек был несомненным носителем народного здравого смысла.

Через несколько дней поехал на Метростроевскую за экзаменационным листком. Те же длинные столы приемной комиссии, меня просят подойти к ее председателю. Женщина с округло-серым мучнистым лицом, с избытком макияжа, такими часто были в те годы офицерские жены. Фамилию запомнил – Миронова. Потом узнал, что она была бессменным секретарем парткома института. «Вы иногородний, для сдачи вступительных необходима прописка в Москве». – «Но ведь многие приезжие сдают без этого?». Чуть улыбка, и по-французски, с малым акцентом: «*Comparaison n'est pas raison*» («Сравнение – не убеждение»). Листок вручила.

Найденный ими ход был изобретателен, как бы неотразим и вел к окончательному решению вопроса моего поступления. И если бы не расположение коммуналки на Селезневской, то эпизод этот для меня мог оказаться хуже любого Ватерлоо для императора Наполеона! Пол-этажа ниже квартиры – отделение милиции, и, выходя с работы, сотрудники этой структуры охотно спускались с Т. Г. в соседние палатки «Пиво—воды». Странно, но Т. Г. стал для них одним из собутыльников-собеседников, а с женщинами, работавшими в

отделении, общалась обитатель коммуналки тетя Клава, из раскулаченных, не очень грамотная. Каждый раз, когда я уходил, она мне говорила: «Никит, как что, скажи про себя: „Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его“, – и все получится».

Помогло.

30 июня 1954 года, двое старшин вывели моего отца из 2-го подъезда Лубянки. Один из них нес узел, в нем среди тряпья и скарба – кусок ржаного хлеба. Когда отец укладывал имущество, старшина заметил: «Пайку возьмите – пригодится». Освобождение состоялось в силу постановления от 14 июня 1954 года Комиссии по пересмотру дел: «О прекращении дела по обвинению И. А. Кривошеина в соответствии со статьей 2046 УПК РСФСР». Статья эта – «Недостаточность улик». То есть «сотрудничества с международной буржуазией» полуторагодовому следствию установить не удалось. Арифметически 16 суток, следующие за постановлением (14—30 июня), Игорь Александрович содержался вдвойне незаконно. Но не это было самым досадным в его отсидке.

Мы с отцом сразу поехали к Т.Г. (там комната пустовала), потом чередовали Селезневку и дачу Владимира Николаевича Беклемишева. Рассказывать подробно о «вхождении в плотные слои атмосферы» на пути возврата из тюремной невесомости надо отдельно – габитус его был очень скверный. В первую неделю несколько бессонных ночей по принципу тысячи и одной ночи – сплошные друг другу рассказы, и про отсидку, и про мои злоключения. В том числе – обстоятельно о моем поступлении в ИНЫЗ, а заодно и о попадании в общежитие, которое мы с отцом по ходу наших перемещений посетили.

Недели через две отец говорит: «Устрой прием у Пивоваровой, я хочу ей отомстить».

У директора института были часы приема, я записался. Пришли вдвоем, а я здесь после эпизода с общежитием не был. О том, что за месть, я отца не спрашивал – думал, мне будет приятный сюрприз. Так и получилось.

Варвара Алексеевна приподняла брови, увидев меня не одного. К тому моменту Игорь Александрович смотрелся уже не совсем доходягой. Я молчал. Отец представился, объяснил, кто он и откуда. Важно отметить: у него была одна из первых по времени реабилитаций, как бы эталон следующих репатриантских дел. Скоро таких, как он, репатриантов много было выпущено прямо из лагерей, но уже без переследствия. Кроме прекращения дела врачей и ликвидации Берии, ничто никакого XX съезда с десталинизацией не предвещало.

Игорь Александрович разъяснил: «Сын мне рассказал, как в трудное время вы его ласково и заботливо встретили, всячески помогли с поступлением, а потом и устройством в прекрасное общежитие. Справедливость и закон восторжествовали, я полностью оправдан и не мог не прийти сказать вам – спасибо». По ходу его недолгого монолога в меня вселился тихий, безмолвный восторг. Я смотрел на папину собеседницу. Тип лица – с восточинкой, так что заметно было, как у нее двигались желваки. Чувство текущего момента и политическая интуиция ей не изменили: «Я выполняла свой долг».

Покинули Пивоварову и пошли в пивной бар на Пушкинской площади. Сидели долго и усердно. Стали просить счет, счета не несли. Игорь Александрович встал из-за столика: «Пойдем. Хоть этот ужин они мне как минимум должны».

Летом 1957-го подошло время государственных экзаменов. Дипломная работа у меня сложилась, по результатам я шел на диплом с отличием (дававший право на «свободное распределение»). Последнее из испытаний – основы марксизма-ленинизма. Может быть, не без некоего мазохизма материю эту освоил оптимально. Объявляют тройку (до свидания, красный диплом)! Преподаватели кафедры французского языка, да и французской литературы об этом узнали, даже не от меня, и возмутились. На последних курсах я им охотно, хорошие люди в большинстве, чем мог помогал (нахождением книг, справками и т. д.). Пошли они делегацией на кафедру Передового Учения: «Вы же человеку диплом портите, он дисциплину ведь знает». Доцент Иван Жолдак, непосаженный ветеран Испанской войны, вспылал: «А вы знаете, за кого просите?» Они тихо ретировались. И рассказали мне. Так что я подлежал распределению на работу.

Мне это было вполне все равно. За институтские годы мне удалось преуспеть и в письменных переводах, и в только начинающемся в Москве синхроне. Незадолго до этих экзаменов Наум Слуцкер, тоже непосаженный ветеран-испанец, зам. главного редактора многоязычного еженедельника «Новое Время», от многолетнего страха ставший очень хорошим человеком, твердо обещал взять меня на постоянную переводческую должность.

Комиссия по распределению заседала в самом кабинете Пивоваровой, тут же деканы и главные зав. кафедрами. Выпускников около ста, ждать долго. Моя очередь. Явно подготовившись к этому моменту, Пивоварова: «Казахстана у меня, к сожалению, нет. Выбирайте между Красноярским краем, Томской областью и Дагестаном». С ходу отвечаю: «Варвара Алексеевна, куда посоветуете, туда и поеду». Повысив голос: «Нет, вы должны выбрать сами». – «Тогда Дагестан». – «Распишитесь».

Я туда не поехал, но сколько счастливых походов по тамошним горам было лет шесть-семь лет спустя! Сколько километров было пройдено с солдагерниками Бычком и Пузырем, с замечательным химиком Сашей!

Больше очных встреч с этой сволочью Пивоваровой у меня никогда не было.

Однако заочно директор ИНЯЗа семь месяцев спустя, в феврале 1958-го, безуспешно попробовала сделать мне еще одну неприятность. Шло к концу шестимесячное следствие по обвинению меня в совершении особо опасного государственного преступления. Два следователя, майор И. В. Орлов (из бывших морских офицеров) и старший лейтенант Владилен Алексаночкин (молодой выпускник юрфака), усердно, но скорее беззлобно занимались наполнением аж целых трех томов, мне посвященных. Буквально жизнеопасно допрашивал меня очень неглупый и коварный полковник И. Т. Панкратов. Будучи майором, он в 1951-м выбивал признания из моего отца. Сватовством я никогда не занимался, но уверен, что у этого господина с Варварой Алексеевной сложился бы счастливый брак!

По ходу одного из трех последних допросов Орлов, перейдя на доверительность:

«Никита Игоревич (хоть и молодость, – а по отчеству), а какие у вас сложились отношения с руководством института, где вы учились?»

«Самые плохие».

«Как и положено, мы запросили на вас характеристику. В ответ получили такие о вас выдумки, каких мы никогда ни о ком не видели. К делу приобщать такое – невозможно, мы отослали назад».

Трудно вообразить, что в этой маляве было наворочено, если само ГБ отвергало!.. И правда: когда зимой 1991-го я знакомился со своим делом в архиве ФСБ на Кузнецком, то ничего от ИНЯЗа там не было. Жаль, что сочинение Пивоваровой осталось мне не известным – оно наверняка было сильным.

О грехе гордыни. По отбытии чудом оказавшегося малым наказания я в самом начале 1960-х проживал сперва в Малоярославце Калужской области, потом в Москве, где у родителей появилась однокомнатная кооперативная квартира на Парковой, в Измайлове, в качественном кирпичном доме. К ним регулярно приезжал соседелец моего отца Лев Зиновьевич Копелев. Мы, несмотря на очевидную его мыслительную непоследовательность, очень его любили и общались с ним вплоть до его кончины в Кельне тридцатью годами позднее.

Как-то, обращаясь ко мне, Копелев сказал: «Анна Андреевна Ахматова была бы очень рада, если бы вы к ней зашли». Ответил я невнятно, и приглашение это хоть меня и удивило, но не вызвало немедленной реакции. Спустя несколько месяцев приглашение повторилось почти с просьбой ответа.

Анне Андреевне после нашего с ней обсуждения хлопот о сидящих и лагерных посылках, думаю, было просто интересно снова встретиться с собеседником, которому очень скоро и самому угрозидило попасть на Лубянку и в зону. Тогда у меня возникло состояние «ложной скромности» – кто я такой, чтобы занимать великого человека! Значение Анны Андреевны мне за это время стало понятным. Ложная скромность тождественна великой горделивости: не могу поныне себе этого уклонения от встречи простить. Попробовал, незадолго до того как покинуть СССР, это прощение испросить на красивой, с кованым крестом, могиле в Комарово.

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН
Чикаго, США

Так и было
Из дневников этих лет

Мне трудно было читать воспоминания Самуила Эстеровича; еще труднее пытаться их осмыслить... Как объяснить эту особенность читательского восприятия скромных мемуаров одного из вильнюсских евреев, который чудом выжил в Катастрофу, а спустя много лет решил рассказать «о том, что было»?

Правда – вот простой ключ к этой загадке. Правдой дышит каждая строка Самуила Эстеровича. Правда потрясает, хотя одновременно нередко повергает читателя в растерянность. Признаюсь: именно на этих, самых «трудных», страницах воспоминаний я останавливался особенно подолгу.

Поведав о том, как автор и его семья скрывались от фашистов в подземном тайном убежище («малине»), мемуарист заметит: «Нам пришлось пройти через воистину дантовские сцены». Имя великого флорентийца, резко обнажившего темные бездны людского существования, было упомянуто здесь не всуе. Вновь и вновь память С.Эстеровича вырывает из прошлого эпизоды, где обстоятельства жестко испытывают самое суть человека, где – на поверхностный взгляд – подвергается сомнению вечное: гуманизм, мораль, долг, любовь...

Вот женщина выдает во время допроса в гестапо своих близких.

Вот отец-еврей, чтобы спастись самому, рассказывает гитлеровцам о сыне от жены-христианки, который служит в германской армии.

Во время «детской акции» в гетто малышей уводят на смерть, а родители вынуждены зачастую смириться.

Прячась в подземелье, люди задыхаются от нехватки воздуха; при этом одни сходят с ума, оглашают укрытие воплями, другие же, не колеблясь, убивают кирпичами соседей: ведь где-то рядом враги...

Я перечислил только немногие из «дантовских» сцен в большой рукописи С.Эстеровича. Нет, не случайно после войны

иные бывшие узники гетто и концлагерей не хотели рассказывать о пережитом, а главное – как бы прятали воспоминания о Катастрофе от самих себя.

И все-таки не уйти от вопросов: надо ли говорить об этом; не подорвут ли подобные напоминания нравственное здоровье народа, тем более – в диаспоре, где национальное самосознание и без того зыбко? «Надо говорить всю правду!» – отвечал себе на те же вопросы старый больной человек, который на самом закате жизни, в Америке, оглядывался в прошлое. Самуил Эстерович ничуть не сомневался: правда не разрушает, но закаляет национальный характер; потомки наши имеют право знать обо всем, что было на пути народа; нельзя насиловать память ради того, чтобы сберечь чей-то душевный комфорт... Эти заповеди мемуариста – простые и мужественные – очевидно примет и его будущий, вот уж действительно благодарный читатель. Ради объективности нужно добавить и другое. Разумеется, зоркая память Самуила Эстеровича сохранила также многочисленные проявления подвига, верности, человеческого благородства... Дело только в том, что автор нигде не подчеркивает это особо. Вообще С.Эстерович менее всего стремился обобщать, «выделять тенденции». Да, его тенденцией была Правда!

Читатель, в частности, легко заметит: автор не следует, как нередко бывает, какой-то схеме в оценке того или иного народа. Подобно всем евреям, С.Эстерович с нетерпением ждал прихода Красной Армии, однако беспристрастный летописец фиксирует: в конце войны волна антисемитизма уже захлестнула Россию. Мемуарист не раз благодарно вспомнит поляка, которому обязан жизнью, но одновременно проходят перед нами лица других поляков – к примеру, рабочих из авторемонтной мастерской: они бурно радуются, глядя, как евреев ведут на смерть. С.Эстерович резко говорит об участии литовцев в уничтожении евреев, но примечателен такой эпизод. Когда во время отступления немцев Эстеровичи бежали из лагеря Х.К.П. (там содержались со своими семьями рабочие-евреи, занятые на ремонте немецких автомашин), к ним прямо на улице подошел незнакомый литовец – сам предложил укрыть их. И опять-таки спас жизнь! Наконец, как уже понял читатель, С.Эстерович вовсе не склонен идеализировать и собственный народ...

Иногда мне казалось: ему суждено было так много пережить и выжить в годы войны прежде всего для того, чтобы поведать об этом потомкам. Что ж, тем более естествен наш особый интерес к автору, его судьбе. С. Эстерович был достаточно открыт, исповедален в своих воспоминаниях; очень важные штрихи к портрету мемуариста сообщила мне его дочь. Самуил («Муня» – так звали его близкие) родился в Вильнюсе в 1897 году в «умеренно зажиточной семье» торговца Лейбы Эстеровича. Получив образование в Петербурге и Германии, он и сам стал к началу Второй мировой войны «преуспевающим деловым человеком». При советской власти, рассказывает Перелла Эстерович, ее отец «подвергался преследованиям как «буржуй», предприятие и банковские счета были национализированы, а он не мог найти себе работу, которая защитила бы от депортации. Большую часть квартиры заняли коммунистические чиновники, он был на грани высылки, когда Германия напала на своего бывшего союзника Россию».

Отныне испытания обрушивались на Самуила Эстеровича – одно за другим. Но, кажется, сама судьба всегда берегла и хранила его. К некоторым тяжелейшим нравственным дилеммам, связанным с этим, автор мучительно возвращался в течение десятилетий. Когда-то его спасла работа в автомастерской: там выдавали специальные удостоверения, своего рода «разрешения на жизнь». Легко ли однако было ощущать себя живым? Уже в начале немецкой оккупации в Понарах расстреляли мужей двух сестер Эстеровича (у них не было «охранных грамот»). Потом погибла и его мать. Считая, что евреев убивают только в Литве, Эстерович с невероятными трудностями переправляет сестер Эмму, Анну и племянницу Шелу в Белоруссию; «в день, когда они добрались, – пишет Перелла, – их загнали в синагогу и сожгли». Кто знает, может быть, именно эти постоянные душевные терзания, попытки найти хоть какой-то смысл в трагических парадоксах истории, стремление передать будущему груз фактов, сомнений, мыслей – может быть, именно это, в конце концов, разбудило в нем талант летописца...

Что было в жизни Самуила Эстеровича после войны? Некоторое время он работал в Вильнюсе экономистом и, как заметила дочь, «имел трагикомические проблемы с социалистическим планированием». Потом, «не желая жить при

коммунистической власти», семья Эстеровичей репатрировалась в Польшу. Почувствовав на себе польский антисемитизм, они бежали в Италию: там Перелла получила степень доктора химии, а ее отец работал в «Джойнте» – был инспектором лагерей беженцев, защищал беспомощных людей (таких, как вчера, он сам) «от воров и эксплуатации». Дорога, как известно, – удел евреев. После Италии – США. Эстеровичи попадают в Нью-Йорк, затем Перелла, выйдя замуж, переселяется в Калифорнию, куда почти через два десятилетия убеждает переехать и родителей.

...Я снова пытаюсь представить Самуила Эстеровича в этот, самый последний, период его жизни. Преследовали утраты: недавно он потерял жену. Наконец-то по совету дочери начал писать воспоминания. Конечно, ему трудно было побеждать стиль, почти забытый поток русской речи. Гораздо легче оказалось войти в прошлое – оно ведь никуда не исчезало, было с ним всегда. О чем он думал тогда? О жестоком веке, об истории, которая мало чему учит людей? Разумеется, вспоминал Вильнюс, где успел побывать снова незадолго до смерти.

Самуила Эстеровича не стало в 1985-м. Перелла дописала и отредактировала его воспоминания, перевела на английский, издала их в США небольшим тиражом.

Что добавить еще? В мою жизнь записки Эстеровича вошли больше двадцати лет назад. Тогда мой друг профессор Ирена Вейсайте передала фрагменты воспоминаний в вильнюсский альманах «Еврейский музей», который я редактировал.

Прошли годы. Но я все еще вдумываюсь в «наивные» вопросы, заданные Самуилом Эстеровичем: как человеку сохранить в себе человеческое, как жить и – выжить.

БАУРЖАН ТОЙШИБЕКОВ
Казахстан

Максимы

Остановить можно часы, но не время.

Горькая правда: то, что не следует говорить другим потому, что она горькая, и следует говорить себе потому, что она правда.

Чем несменяемое власть, тем она невменяемое.

Худшее в богатстве то, что оно слишком часто делает человека живым придатком неживых вещей.

Тот, кто учит, должен служить олицетворением того, чему он учит.

Если точка опоры и нужна человеку, то не для того, чтобы перевернуть мир, а для того, чтобы перевернуть себя.

Демократия – это сила права, а тирания – это право силы.

Чувство долга есть царь среди чувств, а мысль о долге есть царица среди мыслей.

Самое великодушное прощение – это понимать, что нет в мире виноватых, а следовательно, некого прощать.

Писательство – это превращение крови, пота и слёз в чернила.

НАТАЛЬЯ РОСКИНА
Москва, Россия

Оборотни
Повесть (в сокращении)

Невообразимая, но совершенно правдивая история

Само слово «дубленка» мне всегда почему-то было противно. В шестидесятых годах этот вид одежды стал, как писалось, в «Литературной газете», престижным, а как мило, казалось бы, по-прежнему, в шубке. «Запахнулась атласная шубка,/ Не сердись на меня, голубка...» Как поэтично: «Но с русским именем и в шубке меховой». Как внушительно: «За барскую шубу, за астму...» Но этого уже не было слышно, а слышалось повсюду другое: «Где достать дубленку?» – «Шубу продать и дубленку купить, только где?»

Возможно, это слово по созвучию напоминает мне «бля» или же «блевать», а может быть, оно пугает тем, что скрывает в себе «дубль»: оборотень, двойная личина, то мехом наружу, то мехом внутрь. Словом, нечистая сила. Уж куда страшнее!

И все-таки это слово не так страшно, как слово «валюта», прочно связанное с дубленкой, так как иначе чем на валюту, дубленку не купишь. Валюта же полно рифмуется с Малютой Скуратовым, воплощая все то, от чего честный человек должен не то что сторониться – бежать без оглядки, как всегда бежали русские люди при виде опричника. После всех мучений нашего века, гитлеровских и сталинских, после судов и расстрелов «за капиталы», «за валюту», за спрятанный хлеб», «за хранение литературы», долго известно было, что лучше вообще ничего не иметь ни дома ни в голове. Но потом стало известно, что и это не спасает. Однако на валюту взгляд все же остался такой, что зеленые доллары – это что-то вроде пресмыкающихся. Для преступников это, а не для честных людей. И всякий разумный и нормальный гражданин, кому своя шкура дороже дубленки, к ним не прикаснется.

Ну, а теперь я перехожу к совсем простой житейской истории, поначалу совсем даже и не страшной, хотя в ней действуют валюта и дубленка.

Действие происходит летом 1969 года. Перед этим как раз наша страна обнаружила, что у нее есть интерес к свободно конвертируемой валюте. А вообще отношение к валюте менялось так же, как на протяжении моей жизни менялось мнение о полезности лимонов, яиц, интеллигентов, совместного обучения и прочее и прочее. (Только о свежем воздухе, кажется, никогда не говорилось дурного). По временам очень хотелось ее получать, а по временам отвращение к чужой идеологии побеждало. (Вот и сегодня такой момент и живем спокойно). А тогда иностранные граждане могли посылать свободно конвертируемую валюту своим родственникам, которых за это допускали в магазины, созданные первоначально для совзагранработников – вместо долларов, ужасных зеленых долларов, им выдавали бумажки, именуемые «сертификатами», – а можно было заплатить и иностранной монетой, кассы принимали, только давай. Сыпались звонкие монеты, советская власть радовалась, да и люди могли кое-как приодеться и друзей приодеть. Все это было как-то прилично, так как вокруг по-прежнему мало что можно было купить, но все же в результате у многих московских женщин завелись английские сапожки «Аляска», и им было тепло и хорошо.

Среди этих женщин была и я. Доллары подарил мне мой дядя, американский профессор, гостивший в Москве по приглашению Академии Наук, причем во Внешпосылторге, фирме, которая ведает этими магазинами и делами, мне сказали, что сделать так можно, разрешается. Только, – пояснили во Внешпосылторге, – не надо это особенно афишировать. Я, правда, не поняла, как именно афишировать, в какой среде; но сомнения, что не надо афишировать, у меня не возникло.

Были и другие странности. Вот, например, в одном магазине теплый шотландский шарф стоил тринадцать долларов, а в другом – что-то около восьми. На мой вопрос администраторша ответила: «Цены конкурентные». Для нашей торговли это что-то небывалое, а я думаю, слово «конкурентный» даже незнакомо преподавателям торгового техникума. Вскоре конкурентность ликвидировали. Тогда я не думала, что вдруг возьмусь описывать валютные магазины со всеми их странностями. Это вообще не настолько интересно, чтобы вести дневник посетителя валютного магазина, но история, которую я собираюсь описать, меньше всего связана с торговым делом.

Возможно, что читатель со мной согласится, что история эта достойна рассмотрения, а потому и не посетует, что я ввожу его в такие подробности, которые, быть может, сами по себе его и не заинтересуют.

Однажды, придя в магазин, я прочитала объявление. Покупки на наличные доллары могут отныне делать только иностранцы, от советских же граждан принимаются только сертификаты. Это ущемляло материально (сертификаты выдавались не по курсу доллара и рубля, а по какому-то условному курсу, и с них снималось еще 36%), но никакой политической угрозы я тут не увидела. Поэтому мы с дочкой тут же поехали на Кутузовский проспект, в магазин «Аметист», где, как нам сказали, доллары от советских граждан еще принимались. (План, вероятно, недовыполнили). У меня было двести долларов, но купить было нечего: магазин был пуст товарами, зато народу толпилось много. Моя двадцатилетняя дочка огляделась и сказала: «Пойдем-ка отсюда». У нее возникло явное ощущение чьего-то лишнего присутствия. Но потом она увлеклась и стала мерить дубленки. Я не возражала. Во-первых, я чувствовала себя совершенно уверенно, в своем праве, не боялась ничьего присутствия. Во-вторых, доллары хотелось потратить. В-третьих, у нее действительно не было ничего зимнего. Дубленки, правда, были только мужские, но продавщица любезно объяснила, что легко переделать петли и переставить пуговицы. В общем я купила дочке эту простецкую болгарскую дубленку и заплатила шестьдесят долларов. В других отделах магазина и вовсе ничего подходящего не увидели. Купила я еще маленький предмет женского туалета, именуемый в торговых кругах «Пояс-трусы» – кому, зачем, потом расскажу. Стоил он совсем дешево, доллара три.

Выйдя из магазина, мы отчетливо поняли, что за нами следят. Никакая уверенность в законности наших поступках не спасала нас от мерзкого чувства, что за нами «идут». Долговязого, неопрятного парня с гнилыми зубами мы заметили еще в «Аметисте». Теперь к нему присоединился второй, невысокий, задастый. Дочка предложила зайти рядом в «Русский сувенир», чтобы посмотреть, пойдут ли они и туда. Когда-то Чехов писал, что стоит только встретиться трем русским интеллигентам, как разговор обязательно зайдет про тюрму. «Русский сувенир» стоит на Кутузовском, чтобы

сделать вид, что в центре внимания общества находится не тюрьма, а хохлома. Двое мерзких парней тут же оказались у нас за спиной, и длинный заорал для чего-то: «Платки есть?» Мы вышли, вышли и они. Прошли еще несколько десятков метров. Наконец, длинный забежал вперед, вынул из кармана руку с красной книжечкой, о которой с детства я слышала недоброе, и сказал тоже слышанное с детства: «Пройдемте». Один мой приятель-литератор, кончивший юридический институт, учил меня, что я не должна никому показывать свои документы, прежде чем как следует не разгляжу документы того, кто у меня их требует. Я была довольна собой, что вспомнила это именно в нужную минуту, остановилась, вынула из сумки очки. Но длинный угрожающе сказал: «Милиция!» – и мы двинулись за ними, ничего не успев разглядеть в его книжечке. Да и что мне в их именах? Парни встали справа и слева, мы перешли Кутузовский проспект и вскоре оказались возле двери с надписью: «Штаб народной дружины». «И ветром развеваемые шарфы / Дружинников мелькают при луне». Длинный открыл своим ключом маленькую комнатку и дочка моя отшатнулась в ужасе: на полу кишели тараканы. Я ей шепнула: «Брось, тараканы тут еще самые милые».

– Ваш паспорт.

– Пожалуйста.

– А почему на нем нет штампа с места работы?

– Я литератор, член профкома литераторов, работаю по договорам – штамп у нас не ставится.

– Так не бывает! (Это задастый встрял. Помощник).

– Раз у меня так, значит, бывает.

– Откуда у вас валюта?

– Оставил родственник.

– А как его фамилия?

– Рабинович. (Задастый захохотал).

– А в какой гостинице он останавливался?

– В «России».

– А когда это было?

– Год назад. Сотрудница Внешпосылторга сказала мне, что это разрешено.

– А в каком окошечке сидит эта сотрудница?

На этом вопросе я поняла, что парни – охلامоны; ничего они не знают, не знают даже такой простой вещи, что во Внешпосылторге нет вовсе окошечек, а стоят столы и стулья. Какие-то случайные люди! Все, конечно, разъяснится, как только дело посмотрит понимающий человек. Я, впрочем, не была так наивна, чтобы думать, будто понимающие люди, сидящие на этой работе, решают дела разумно и справедливо – нет, но надежда была у меня на авторитет моего дяди в высоких сферах. Покойный дядя мой был знаменитый ученый-атомщик, организатор так называемого Пагуошского движения – международной формы объединения ученых в борьбе за мирное использование атомной энергии. Правда, по иностранному радио я слыхивала такие, к примеру, слова: «Один из самых последовательных антикоммунистов, Юджин Рабинович...», – но не они определяли отношение высоких официально-научных кругов к моему дяде. Определяло другое: он принадлежал к числу тех общественных деятелей, которые видели единственную надежду мира – в сближении, в переговорах. И вот я самодовольно размышляю: конечно, племянницу какого-нибудь бизнесмена можно и прикокошить на месте, но вряд ли племянницу Юджина Рабиновича. Его толстые книги, трехтомный «Фотосинтез» и фундаментальная «Химия Урана» изданы в Москве в русском переводе (даже и гонорар заплатили, причем отчасти в валюте!), и советские ученые печатаются в чикагском «Бюллетени атомных ученых», который он создал и редактирует всю жизнь, во имя своей любимой идеи, международного сотрудничества. (Кстати, в этом «Бюллетене» был впервые опубликован «Меморандум» А.Д. Сахарова).

И впрямь. После нескольких еще вопросов парень с гнилыми зубами меняет тон. Он предлагает подписать «Объяснения», и я ставлю свою фамилию, хотя грамотность записи невысока. Но по сути все изложено верно: валюта у меня от моего родственника такого-то. Вежливо и даже с оттенком смущения гнилозубый говорит: «Теперь самое неприятное: я должен задержать...» И у меня, и у дочки упало сердце, мы решили, что нас не выпустят. Но нет – задержать только вещи и оставшиеся деньги. На время, только до выяснения, вам все непременно возвратят. После легкого шока, что мы отсюда не выйдем на свободу, я без сожаления отдаю пакет с дублировкой,

пояс-трусы» и магазинные чеки, а также, по требованию молодых людей, высыпаю из сумочки доллары и центы. Двое охломонов внимательно следят за тем, чтобы в сумочке ничего не застряло, но руками не лезут. Вообще, если не считать ржання по поводу фамилии Рабиновича, можно считать, что никакого оскорбления личности не было. Соответственно, и мы не оскорбляли, и более того: мы не захохотали, узнав фамилии наших новых друзей: Червяков В.И. и Сиволапов А.Д. Гнилозубый, видно, ведущий операцию – Червяков. Задастый, помощник, – Сиволапов. Фамилия Рабинович происходит, без сомнения, от слова ребе, учитель; о происхождении фамилии Червякова и Сиволапова судить не берусь. Это не моего ума дело. Спасибо, что узнала их, и то, как потом выяснилось, была большая удача. Фамилии стали нам ясны из документа, который они подписали и мне вручили:

ПРОТОКОЛ

«Мы, н/п сотрудники ОБХСС Червяков В.И. и Сиволапов А.Д. изъяли у Роскиной Натальи Александровны... (далее точное описание и стоимость вещей и точный подсчет долларов и центов...). Причина задержания: выяснение путей приобретения валюты».

Ниже шла дата – 25 июля, подписи и типографские пометы: отпечатано в количестве столько-то экземпляров по заказу московской таможни.

Я стала рассматривать протокол, и он сразу показался мне каким-то несерьезным. Магазинный чек «Аметиста» и то выглядел внушительнее. Жеребец Сиволапов поспешил ко мне: «Вас, может быть, смущает отсутствие печати? Имейте в виду, что мы – единственное учреждение в Советском Союзе, чьи бланки действительны без печати». – Это какое учреждение? – переспросила я, хотя Червяков сразу назвал милицией. Но ясного ответа не получила. Сиволапов стал обсуждать, как эту мужскую дубленку переделать на женскую: «Отдать в мастерскую, только чтоб не украли». Тем временем Червяков упикивал нашу дубленку в шкаф, приговаривая: «Вот видите, все будет в запортом шкафу. Мне ведь неохота из-за вас в тюрьму садиться!» «Да уж кому охота!» – отвечала я. Но все же сделала еще попытку: «Ведь мы находимся буквально в двух шагах от Внешпосылторга. Загляните туда, так все знают лично

– и меня, и моего дядю. Вы убедитесь, что у меня все законно».
– Нет, – отвечает Червяков, – не можем. Тут есть одно обстоятельство... В общем, вам позвонят. Ну, дней через десять, самое позднее – через две недели. Да вы не беспокойтесь, вам все вернут. – А куда позвонить? –

–Нет, вы никуда не можете позвонить, но вам позвонят непременно, обязательно, вам все объяснят и все возвратят.

И под эти уверения, путаясь ногами, чтоб не давить тараканов, мы с дочкой выходим на свет божий, и моя умная дочка сразу же говорит, что никогда в жизни нам ничего не вернут. Я же, в намерении самоутвердиться, возвращаюсь в «Аметист» и захожу к директору.

Директор магазина, очень старенький и вежливый, принимает мой рассказ с полным сочувствием. «Дружиннички орудуют, – никакого сладу с ними нет». Директор говорит, что они не имеют права ничего отбирать, но тем не менее пробавляются около вверенного ему магазина. Помочь мне он, разумеется, не в силах. Тогда я захожу во Внешпосылторг, где все тоже клянут пресловутых представителей закона, сомневаются в их представительности, с сомнением вглядываются и в «протокол». Магазины – в их ведении, поэтому я прошу внешпосылторговское начальство помочь мне, ведь я действовала с их ведома. На мне они, можно сказать, выполняли план. Они же говорят, что рады бы помочь, – если их спросят, они, конечно, будут меня выгораживать, но самим им некуда звонить, они так же не знают этого, как и я. С такими сведениями я возвращаюсь домой и звоню адвокату.

Мне ясно, что мой телефон прослушивается, однако я рассуждаю так: нельзя по телефону говорить то, что ты хочешь скрыть, но то, что уже известно «им» – отчего же не сказать. Ошибка грубая! Ошибка в том, что «они» приняты за какую-то абстракцию. Между тем, одни «они» отбирали мою дубленку, а совсем другие «они» прослушивали мой телефон. По-видимому, своими телефонными рассказами я дала им возможность скоординировать действия, использовать ситуацию в своих целях. Стало известно и то, что я нервничаю, жду новых неприятностей.

В детстве моем существовал такой термин «страх управдома». Теперь, кажется, он вывелся, – термин, а не страх.

Столкновение с представителем власти остается травматичным для большинства людей, независимо от их социальной принадлежности.

В этом духе я и высказываюсь в разговоре с А. Хотя она и опытный адвокат, ничего конкретного она мне посоветовать не может. Все дела с валютой туманны, законы неопределенны, тут больше инструкций, чем законов. Действия представителей закона были незаконны, это-то сразу ясно: например, без понятых у меня вообще ничего не имели права отбирать. Но бог с ними – мне важно только иметь уверенность в законности моих собственных действий. А такую уверенность никогда не почерпнешь у адвоката – ему ли не знать, как легко все вывернуть наизнанку! Мехом наружу, мехом внутрь...

А. неопределенно говорит, что надо перейти в наступление, надо требовать возвращения вещей и денег, но я решаю подождать. Мне же сказали: «Вам позвонят». Ну, и куда спешить?

Приезжаем. Я подаю в окошечко дежурного по отделению милиции паспорт, в него вложен «протокол». Дежурный удивленно это рассматривает и говорит:

– Я вас не вызывал». – Но как же так? мне только что звонили... – Одну минутку.

Дежурный выходит из своей будки-комнатки, идет куда-то по коридору, вскоре возвращается и сообщает мне номер комнаты, где меня ждут. Приятельницы садятся на скамью около этой комнаты.

Двое. Выглядят попримечнее, чем Червяков и Сиволапов. Такие советские костюмы, галстуки. У старшего неприятно маленькие руки и маленький рот, но это уж, пожалуй, придирки. Ни гнилых зубов во рту, ни тараканов на полу нет. Лица приветливые, весь тон такой, что желают мне добра.

– Что же вы не одна пришли?

– Это мои подружки, они были у меня, когда вы позвонили.

– Так не годится.

– Но ведь я же просила вас перенести разговор на завтра, говорила, что мне сегодня не удобно.

– Скажите им, чтобы они ушли.

– Нет, уж вы сами.

Главный вышел из комнаты и сказал женщинам:

– Идите домой.

Но те ответили: «Мы посидим».

– Вернется ваша подружка, не беспокойтесь.

– Ничего, мы подождем.

Досада была на его лице, когда он вернулся в комнату, видно, началось все не так, как надо, неправильно.

Тут он вынул из внутреннего кармана и показал мне, не раскрывая, кожаную кни-жечку, уже не алого, а бордового цвета из хорошей кожи, на которой значилось «Комитет государственной безопасности». И произнес, чтобы не было сомнений: «С вами беседуют сотрудники государственной безопасности». На это я, дивясь своей находчивости, ответила: «Очень приятно». «Меня зовут Владимир Сергеевич, а вот – Геннадий Геннадиевич». В самом начале беседы он, по-видимому, обратил внимание на то, что Геннадий Геннадиевич выглядит бездельником, и сказал ему: «Ты пиши, пиши». Геннадий Геннадиевич нацарапал пером строчки и потом бросил, пера в руки не брал и роль его в разговоре была ничтожная – лишь изредка он делал нужное выражение лица. Ученик он был, практику проходил, наверно.

Не дожидаясь вопросов, я стала рассказывать, что валюта у меня оказалась вполне законным путем, но Владимир Сергеевич перебил меня: «О валюте мы поговорим потом. Сначала расскажите, какие у вас связи с иностранцами».

Я стала называть своих родственников в США. Кроме дяди – два его сына, один историк, другой физиолог (но общественная жилка возобладала в нем, и он стал заниматься проблемами слаборазвитых стран и тоже увлекся Пагуошским движением). Подыгрывая, Владимир Сергеевич делал вид, что впервые узнает от меня, кто они такие и чем занимаются. Он предлагал мне вспомнить, как я нашла дядю после долгого перерыва в переписке (1937-1958) – через одного американца, с которым подружилась на Конгрессе славистов. И с кем я еще знакома. Когда я называла каких-то старушек, приехавших из Франции, Владимир Сергеевич не скрывал скуки, когда упоминались молодые мужчины-американцы, он углублял разговор. Я рассказывала спокойно, зная, что все эти мои дружбы и родственные отношения были в свое время прослежены КГБ. Сколько раз их слабо тренированные агенты

обнаруживали себя даже перед моим неопытным взором! Мало того, что я этому делу не обучена, я и по натуре обделена наблюдательностью; но ведь их грубая работа прямо лезла на глаза. То лифтерша прибегает в ужасе: я с американцами вошла в лифт, а двое побежали вверх по лестнице, чтобы засечь номер квартиры. То соседка обратит внимание: какой-то тип стоит и курит на лестнице, ждет, кто когда выйдет и куда пойдет. То прямо приходят к моим друзьям домой, спрашивают, предлагают действовать совместно». В телефоне вечно шуршит планка, письма приходят только распечатанные, а другом раз в них найдешь и то, чего не ждешь. Однажды дядя послал мне коробочку шариковых карандашей, тогда все ими увлеклись, и под оберткой я обнаружила письмо какой-то женщины из Лондона к какому-то мужчине в Москву. Письмо было без конверта, и я его прочитала – женщина благодарила мужчину за книгу о русском балете. Я пошла на московский почтамт и написала заявление. Мне сказали: «Если б вы знали, какие неприятности вы нам причиняете!» Словом, если бы я хотела скрыть что-то из своих отношений с иностранцами, то я бы приложила усилия и сделала их конспиративными. Но я не видела в этом никакой необходимости. Поэтому сейчас я рассказывала только то, что уже было известно КГБ, и не понимала, к чему они клонят.

– А вы знаете, что среди американцев очень много агентов ЦРУ?

– Конечно, знаю.

– Откуда вы это знаете?

– Как откуда? Из наших газет. Да и дядя мне об этом говорил.

Правда, дядя мне это говорил. Он сетовал на то, что культурный и научный обмен, с таким трудом организованный главным образом по настоянию пагуощев, используется совсем для других целей. Только дядя полагал, что среди американцев, едущих в СССР, девять процентов имеют задание ЦРУ, а среди советских граждан, едущих в США – девяносто процентов связаны с КГБ. Не знаю, как уж считать эту разницу в процентном отношении, принципиальной или нет. Да я в это и вдаваться не хочу.

Мои ответы удовлетворяли Владимира Сергеевича, и он сохранял приветливый тон. Только когда я упомянула о своем

знакомстве с Эндрю Филдом, он обнаружил себя. Эндрю Филд был в Москве «на стаже» в один год с моим двоюродным братом Сашей. По его просьбе, я привела его к Ахматовой, которой он посвятил изящное английское стихотворение. Эндрю – поэт и способный литературный критик (с его предисловием вышел один из сборников Абрама Терца). Но, к сожалению, в характере у него не было тех качеств, которые делают приемлемой жизнь иностранца в Восточной Европе. Он не был ни терпим, ни тактичен, ни вынослив в нервном отношении, он не видел никаких причин обуздывать свою вспыльчивость, так что его пребывание в советчине кончилось грубым скандалом в таможене, после чего Филд, чудом избежав нашей тюрьмы, вернулся на родину и стал во весь голос кричать о своей ненависти к нашему режиму. Мои родственники, надо сказать, не одобряли Филда. Они носились со своей идеей культурного обмена и считали, что подобное поведение «обменщиков» может погубить дело. Для меня лично приезд моих американских родственников всегда был огромной радостью, но я вполне отдавала себе отчет, что никто из моих близких никогда не сможет поехать в США на казенный счет и что все это огромная потёмкинская деревня. Мне тоже Филд в конце концов надоел. Когда мы с дочкой сидели в гостях у Саши в его, надо полагать, хорошо оборудованной микрофонами комнатке университетского общежития, туда вошел Филд и сразу напустился на меня: «Почему в советских газетах пишут неправду?» – только этого он, видите ли, не понял. «Катись-ка ты от меня подальше, ученый!» – вот что мне бы хотелось сказать ему вместо ответа.

– А-а, вспомнили! – маленький рот Владимира Сергеевича исказился злой гримаской, когда я назвала имя Филда. Я успела подумать, что их учат этой перемене лиц в специальной школе. «Присылал он вам потом какие-нибудь книги?» – Нет, что вы, – ответила я вполне искренно. Я подарила Филду прижизненное издание Федора Сологуба, которым он занимался, он же, не желая остаться в долгу, пытался подарить мне повесть Владимира Тендрякова: «Берите, не стесняйтесь, она мне совершенно не нужна». Но я все-таки не взяла и теперь с чистой совестью отвечала правду Владимиру Сергеевичу.

По моим представлениям, нервный Филд был самым опасным из моих знакомых иностранцев, и когда Владимир

Сергеевич вдруг выстрелил в меня фамилией какого-то американского атташе, я ужасно удивилась: «Атташе? Да боже упаси...» Владимир Сергеевич снисходительно заметил, что я, по-видимому, человек искренний.

Перед Геннадием Геннадиевичем лежал лист бумаги, на котором он так ничего дельного и не начертал. Перед Владимиром Сергеевичем мои «Объяснения», писанные грамотеем Червяковым. Кроме того, на столе лежала коричневая книга, названием вниз. Побеседовав о моих родственных связях, Владимир Сергеевич еще раньше перевернул ее названием вверх, и я увидела, что это уголовный кодекс. Сейчас он раскрыл его и протянул мне. «Так вот, Наталья Александровна, должен вам сообщить, что Вы совершили уголовное преступление». И он показал мне статью 88, где было сказано: нарушение правил о валютных операциях карается сроком от трех до восьми лет.

Убедившись, что я испугалась, Владимир Сергеевич сказал: «Но мы можем пойти вам навстречу и не возбуждать уголовного дела. Вы сейчас дадите нам подписку, что будете сотрудничать с нами...»

Н-да... Ну и ну...

Слыхала я, конечно, про такое, но трудно представить себе было, что именно со мной это может произойти. Сразу такая малодушная мысль: боже мой, почему именно я, почему именно мне... Какая тоска... Позднее я получила диагноз «рак» – вот так же тянуло под ложечкой.

Когда дядя стал часто приезжать в СССР и у меня останавливаться, и знакомить меня со своими коллегами, и приглашать на всякие заседания и банкеты, многие думали, что у меня непременно должны начаться какие-нибудь неприятности. Если же нет – тогда это подозрительно... Это наводит на всякие размышления... По всем нашим прежним обычаям такое сойти благополучно не могло. Но ведь я-то верила, что мы живем в другую эпоху, чем мои родители. Когда дядя приехал в Ленинград на конгресс физиков в 1930 году, и мама, и тетя встретились с ним, но тетя – та сильно нервничала, говорила, что муж убьет ее. Муж ее был очень крупный инженер, технический директор Металлического завода имени Сталина. А когда, после тридцатилетнего перерыва, дядя приехал снова – мамы не было в живых, тетя же встретиться с

ним не решилась. Муж ее умер, но теперь ее волновала судьба двух сыновей – оба инженера, бог его знает... И ужасно страдала моя бедная тетя от этого поступка. Огорчился и дядя. Правда, вспоминая родственную встречу 1930 года, он посмеивался. Муж тети не пришел на нее вообще, женщины же вели себя странно. У них был храбрый и одновременно таинственный вид, будто они и в самом деле пошли на решительный шаг, поминутно они следили, чтобы окна и двери были плотно закрыты, но беседа была пустая, одна из кузин спросила: «А что теперь носят в Европе?»

Когда меня спрашивали: «У вас никогда не было неприятностей из-за дяди?» – я отвечала с вызовом: «Никогда, никаких неприятностей». Вызов в том был, что пора, дорогие граждане, освободиться от страха. Никто за вас этого не сделает».

И вот – пожалуйста. Чем все кончилось.

– Но при чем же тут валютные операции? Я не покупала валюту и не продавала. Доллары подарил мне дядя, и я принесла их в наш магазин.

– Нет, это именно валютная операция. Дядя не имел права оставлять вам доллары, он мог их только послать через банк.

– Но мне сказали во Внешпосылторге, что родственники могут оставить наличную валюту,

– Мы знаем, что вы консультировались с юристом, и он вам сказал, что вы ни в чем не виноваты. Но это не так.

Консультировалась – по телефону. Значит, от меня уже не скрывают, что подслушивали. Это убеждает меня в серьезности происходящего.

Владимир Сергеевич вздыхает. У него такой вид, что, мол, он и рад бы не называть меня преступницей, но это невозможно, потому что закон для него священен. Именно такое выражение преданности закону написано на его незначительном лице.

– Что же, значит придется мне отвечать по закону.

– Но мы можем избавить вас... Сейчас вы подпишете...

– Нет, подписку я не дам. Лучше уж в тюрьме посидеть!

– О, Наталья Александровна! Вы говорите так только потому, что не имеете никакого представления о тюрьме.

И Геннадий Геннадиевич тоже делает такое выражение лица – мол, наивность какая.

– Ну, не имею представления, так получу его.

– Наталья Александровна! Да что вы! Да может быть, вы как-то неправильно настроены, может быть, у вас есть какие-то предубеждения против нас? ведь теперь в органах работают совсем другие люди, юристы с высшим образованием.

И Владимир Сергеевич как бы показывает мне себя со стороны, себя и Геннадия Геннадиевича.

У него на лице – довольство собою, и Геннадий Геннадиевич тоже улыбается удовлетворенно, как ученичок, получивший пятерку.

– Нет, предубеждений у меня нет никаких. Но я не гожусь. (Какие предубеждения, смехота просто! Да с детства я знаю, кто вы такие, с вашим высшим образованием! Слушали вы мои телефонные разговоры, слушали, а ничего вам не пошло впрок).

– Тогда может быть вы как-то неправильно представляете себе, что от вас потребуется? Может быть, думаете: через забор лазить, с биноклем где-нибудь выстаивать? Нет, все будет гораздо проще: вы мне позвоните, я вам позвоню, встретимся, поговорим, посидим где-нибудь

в кафе с рюмкой сухого вина... Никто об этом не узнает – мы будем вас оберегать, это и в наших, и в ваших интересах.

– Я чего-то не понимаю. Вы мне только что объяснили, что мне полагается от трех до восьми лет. Раз полагается, что же говорить о какой-то работе?...

– А мы можем вас избавить от наказания. Вот Оксмана же мы пожалели!

– Что же, Оксман дал вам такую подписку?

– Наталья Александровна! Здесь мы задаем вопросы, а не вы. Вы совершили уголовное преступление, и вы, и ваш дядя совершил уголовное преступление...

Мой дядя! Типичный ученый, рассеянный до умопомрачения, пишущий стихи, переводивший Ахматову на английский, Есенина – на французский, Гете – на русский... Нашли уголовника!

Где родина моя? На свете
Лишь к переменам я привык,
И Данте, Пушкин или Гете
Равно приходят на язык.
И ныне я живу, не зная,
Богаче я или бедней

Того, кто жил не покидая
Убогой улицы своей.

Так писал дядя. Под влиянием Ахматовой, которая хвалила его стихи (отчасти, разумеется, из вежливости), он опубликовал свою книжечку стихотворений (Евгений Раич. «Современник». Париж, издательство «Рифма», 1965), это одно из моих любимых. Ахматова при мне спросила его, не собирается ли он увезти меня в США? Дядя сказал то, что не раз повторял и мне: «Что там делать?» Он склонен был отрицать осмысленность эмиграции для людей моего склада. «Кому там читать стихи? С кем говорить о стихах?» (Да и сама Ахматова была достаточно последовательна в этом вопросе). Дядя хорошо меня понимал, поэтому к его мнению стоило прислушаться. Дело совсем не только в стихах. Да, по-прежнему, как и в молодости, меня по-настоящему занимают несколько проблем русской культуры, но стихи уже не на центральном месте, что естественно. Полгода – от доклада Хрущева до венгерских событий, полгода в 1956 году я прожила в ладу с действительностью, радостно. Патриотизм – великое чувство, в котором я нуждаюсь больше, чем в чем-либо другом, но вряд ли во мне может родиться израильский или американский патриотизм, и дядя хорошо это знал. Он восхищался моими друзьями, каждый из которых был ему симпатичен и интересен, и если он говорил: «Таких друзей у тебя там не будет» – я думаю, он знал, что говорит, хотя и не совсем понимаю, отчего это так. Но это – к слову. Сейчас я думаю о той гадости, которую они могут устроить дяде, я даже обдумываю телеграмму, которую пошлю ему, как только выйду из отделения милиции. К счастью, я вовремя остановилась и не сделала этого. Я бы только зря его встревожила, но скорее всего, не остановила бы, он бы все равно выехал. Несмотря на внешнюю мягкость, он был твердым, целеустремленным, упорным человеком – это доказано всей его биографией.

Когда дядя приехал впервые после смерти Сталина, в 1960 году, на Шестую пагуошскую конференцию в Москву, с ним приехала его жена. Она сказала, что ей «так посоветовали». «На всякий случай». «Если с ним что-нибудь случится...» На родину ее совсем не тянуло, и она приехала в роли телохранительницы своего знаменитого мужа. Но дядя над этим смеялся. Он был удивительно спокойным и уравновешенным человеком, какими

бывают только ученые-натуралисты. В семье сохранился рассказ из его отрочества, как он гостил у родных на Украине, где был вишневый сад и маленький консервный заводик. Каждую осень варенье с этого заводика отправлялось по железной дороге, и каждую осень начальник станции и помощник начальника станции получали по ящику в подарок. Но забытым оказался второй помощник начальника станции, о существовании которого просто не знали. Он послал донос в полицию, что в вишневый сад прилетает по ночам немецкий цеппелин и что там хранится склад оружия. Дело происходило в 1914 году, и в дом немедленно нагрянул отряд конной полиции. Все было поднято на ноги, перевернуто вверх дном. Но моего дядю, тогда мальчика, интересовало одно: почему лошадь урядника как-то странно была одним копытом-по дерну. Дядя не мог оторваться от этой лошади. Так же точно спокоен он был и в 1960 году, когда подвергся обыску нашей таможни – думали, что он вывозит рукописи.

Перебрал Владимир Сергеевич, сам чувствует. Дядю больше не упоминает. Я пытаюсь вернуться к началу:

– Мне сказали, что вещи и деньги мне вернут.

– Об этом, во всяком случае, забудьте!

– Во Внешпосылторге мне сказали, что я поступала по закону.

– Подумаешь, какая-нибудь сотрудница получит замечание.

Владимиру Сергеевичу говорить об этом скучно, настолько этот вопрос ясен. И он задает другой, более интересный:

– Как вы относитесь к Анатолию Кузнецову?

Эй, оперативники! Не слушали вы вчера Би-би-си! Со спокойной совестью я отвечаю:

– Резко отрицательно!

На лице Владимира Сергеевича удовлетворение. Он явно работает по позавчерашней инструкции.

– А как относятся к нему в литературной среде?

– Вот этого я не могу вам сказать. Я ни с кем об этом не говорила. Я живу замкнуто, работа у меня кабинетная, с людьми не связанная...

– Ну-у-у, Наталья Александровна! Я вас не понимаю! Я бы дня не мог прожить без общения с товарищами по профессии!

– Вот я и говорю, что непригодна для работы в разведке!

Слово «разведка» я употребила только, чтобы польстить Владимиру Сергеевичу. Но реакция его была неожиданная: «Тссс!» – зашипел он и кинулся к дверям. Мои приятельницы сидели по-прежнему на скамье, и он подумал, что они могут услышать это сакраментальное слово – «разведка». Он упрашивал их уйти домой или хотя бы погулять. Они неохотно отошли от двери. Провинциальный детектив! Однажды я возвращалась домой от Ахматовой со своей американской кухней. Когда мы вошли в лифт, двое (как потом рассказала лифтерша) кинулись бежать за нами по лестнице. Я жила тогда на восьмом этаже. Лифтерша приняла их совсем за других, закричала: «Куда вы, к кому?» Один спустился поспешно, да прямо ей в лицо – свою книжечку красную. Раскрытую. Она успела увидеть только, что – майор. Вот я и думаю: если такие шишки, как майоры, за мной по лестнице бегали, то уж наверно и Владимир Сергеевич не ниже майора. А какая жалкая работа! Не хочу, конечно, сказать, что кто-нибудь квалифицированный уговорил бы меня дать подписку, но поговорить-то можно бы и поумнее... Право же... Не Анатолием Кузнецовым проверять...

Эх, Наталья Александровна, нам ведь виднее, пригодны вы или нет. Давайте сейчас и покончим с этим неприятным делом. Будете спокойно жить, воспитывать дочку, ходить в ИМЛИ... Ведь не в самом же деле под суд вас отдавать. Нам же самим это неудобно – литератор!

Уловив, видимо, иронию у меня на лице, Владимир Сергеевич на этом мотиве не настаивает.

– Я не вижу, за что меня судить. Я же не знала, что вы не согласны с Внешпосылторгом!

– Незнание законов – не оправдание. Вы пойманы с поличными!

– Да что значит – «поймана», когда я ни от кого не скрывалась? Чего было меня ловить?

Два часа длился разговор. Владимира Сергеевича дома заждались.

– Может быть, вы устали, хотите подумать? Отложим до завтра?

– Нет, до завтра я ничего не надумаю.

– Хотелось бы завтра и покончить с этим делом: пятница. И Геннадий Геннадиевич завтра в командировку уезжает. А?

– Я думаю, обойдемся и без Геннадия Геннадиевича.

– Запишите мой телефон, подумайте и позвоните.

– Нет, мне ваш телефон не нужен. Я вам не позвоню.

Скоро выяснилось, что это моя ошибка грубая. Телефон непременно надо было записать.

– Ну, хорошо, я вам сам позвоню. В понедельник, с десяти до одиннадцати.

И Владимир Сергеевич, и Геннадий Геннадиевич подают мне на прощанье руки – видно, уже видят во мне своего товарища по профессии, без которого и дня прожить нельзя. К стыду своему, и я подаю, через силу, подаю руку.

– Содержание нашей беседы вы не должны никому передавать. Даже дочери. Да, никому. А что вы, кстати, скажете своим подружкам, которые тут ждут?

– А вы мне скажите, что им сказать, я это им и скажу. Владимир Сергеевич задумался ненадолго, потом сказал внушительным тоном:

– Так скажите: не только вещей не отдали, а я не знаю, как ноги унесла.

Я, разумеется, не стала скрывать от женщин, ждавших меня, характер разговора. По их словам, я была «белая», еле стояла на ногах. Сейчас, конечно, кажется странным, что я вполне поверила угрозам. Одна из моих приятельниц, более близкая, струхнула. Другая (не от того ли, что чужая?) уверяла: «Да это они только пугают вас!» И вспоминала разные подобные случаи: «Вот у нас на работе вызывали одну женщину ...» Боже, я сама слыхала десятки подобных историй, да ведь это было когда-то, с кем-то, а то – сегодня, со мной...

Но у меня уже возник план действий. Я решила, что пойду к секретарю по организационным вопросам Союза писателей В.Н. Ильину. Когда-то в литературных кругах циркулировала история одной поэтессы. Как вызвали, почему-то в райисполком, требовали рассказов про знакомых молодых писателей, приставали с угрозами, с вопросами, словом вербовали. Она пришла к Ильину, и он избавил ее от этих вызовов. Правда, это было довольно давно, и с тех пор больше рассказывали про то, как Ильин мучил подписантов. Охоты идти к нему с просьбой не было, но и другого выхода я для себя не видела.

Приятельницы проводили меня до дому, посидели со мной. Ночь я почти не спала, обдумывала, что я скажу Ильину. Я – не член Союза писателей, но, по существующей традиции, к нему часто обращаются и члены семей писателей, особенно погибших на войне. Мой отец, литературный и театральный критик, ушел добровольцем в московское ополчение и погиб осенью 1941 года. Обычно у Ильина просят квартиру, или помочь в каких-то еще бытовых делах. Но искать защиты от госбезопасности у комиссара госбезопасности? А если нет, то где ее искать?

Помните – «В круге первом»? Студентка Муза, которую запугивают, вынуждая дать ту самую «подписку», потом отпускают «подумать», заверив, что вызовут снова... Она, впервые в жизни, пишет фальшивое письмо своим родителям – ведь ей запретили с кем бы то ни было делиться этими делами... Ее душевное состояние показалось мне описанным удивительно правдиво: жуткую угнетенность вызывает контакт с этой силой.

Секретарше Ильина я сказала, что дело у меня очень важное и срочное, и она мгновенно провела меня в кабинет. Разговор с ним тоже был ошеломляюще кратким: Ильин все понимал с полуслова, и в одну минуту ему было ясно все.

– Вещей мне не вернули, а вместо этого вызвали для беседы, содержание которой я не имею права разглашать...

– Предложили сотрудничество?

– Да.

– Подписку дали?

– Нет. Но мне сказали, что полагается от трех до восьми лет.

– Что? За дядин подарок?

И он только махнул рукой.

Номер отделения, где все это происходило, моя фамилия – ни о чем он не переспрашивал, ничего не записывал. В кабинет вошел С.В. Михалков – и Ильин встал, сказав мне: «Я все понял, приходите ко мне в понедельник в одиннадцать».

А Владимир-то Сергеевич с девяти до одиннадцати звонить собирался. Но я ушла из дома еще задолго до десяти. Бродила по улицам, оглядывалась: следят или нет; похоже, что и нет, а все же спина чувствует слезку. На редкость противное чувство!

Ильина не было на месте ни в одиннадцать, ни в двенадцать. Мне почему-то сразу показалось, что он занят моим делом, и

по-видимому, я была права. Он пришел злой и резко расшвыривал свои бумаги по столу.

– Я не смог ничего для вас сделать. Они отрицают, что был такой разговор. Расскажите мне все сначала, и поподробнее.

Я рассказала все еще раз.

– Как же вы могли, взрослая, разумная женщина, не узнать их фамилий!? Что это значит – Владимир Сергеевич, Геннадия Геннадиевич... Фамилия, звание, должность, и без этого не начинать разговора.

– Но ведь дело происходило в помещении милиции. Впрочем, я и на улице не сумела разглядеть документы, когда меня остановили у магазина... Они свои книжечки из рук не выпускают, а я плохо вижу...

Тут я поняла, какую промашку допустила, не взяв телефона Владимира Сергеевича.

– Скажите, а может быть все-таки за вами что-то есть? Может, вы мне не все рассказали?

– Никакой своей вины за собой я не знаю.

Внезапно он перебил себя:

– А почему, собственно, вы отказываетесь сотрудничать?

Этого вопроса от комиссара госбезопасности я ждала. И ответила:

– Ну – как вам сказать – просто – я – не могу.

Он встал, поднялась и я.

– Ну, вот что. Позвонят вам – идите на встречу. Но – стоять насмерть! Если вас арестуют, пусть ко мне придет ваша дочь.

С этим я и ушла. Черно было у меня на душе, когда я вошла в свою пустую квартиру. Легла, думала что-то вялое, неопределенное. Не могу сказать, что реально я ждала ареста – нет, все же не верилось. Слишком крупно надо было задумать тогда провокацию не только против моего дяди лично, но и вообще сорвать всю пагуошскую конференцию. У пагуощцев был так называемый Постоянный (организационным) Комитет, и дядя был его членом с американской стороны. Надо было сказать, значит, что Юджин Рабинович – уголовный преступник; одно дело Владимир Сергеевич мне это говорит, а другое дело на весь мир объявить. Дядя был очень известный человек, и не только в научных кругах. Как-то раз, в конце пятидесятых годов, мы с маленькой еще дочкой пришли на

утренник в Большой театр (места были хорошие, в первых рядах партера). Сосед поднялся, поклонился и сказал:

– Хэлло! – Я ответила:

– Хэлло, вы американец?

– Боже, откуда вы узнали?

– Русские не говорят хэлло и не здороваются с незнакомыми!

Разговорились, в антракте вместе пошли пить лимонад. Молодой человек был аспирант по детской психологии. Я сказала: «У меня есть дядя в Америке, я не видела его почти тридцать лет – мне три года было, когда он приезжал, и я помню оживление в доме и звяканье чайных ложечек. А теперь вот жду его в Москву.

– А кто он, как его фамилия?

– Биохимик и биофизик, Юджин Рабинович. Парень вскочил:

– Юджин Рабинович? Боже мой, я никогда не думал, что мне будет честь сидеть рядом его племянницей!

Если же не верила в реальность ареста, то чего так уж сильно перетрухнула? – спросит читатель. Теперь-то хорошо спрашивать, теперь-то видно – зря перетрухнула. А тогда... И весь день сидела у телефона, в голову даже не пришло убежать, спрятаться, пересидеть где-нибудь в секрете месячишко... Об одном мечтала – чтобы друзья по телефону не названивали, зря не дергаться на звонок. И – телепатически уловили, не звонили. Первый же звонок был назавтра – Ильин.

– Наталья Александровна? Звоню вам по поручению Комитета государственной безопасности. Мне поручено передать вам, что никаких претензий к вам не имеется. В беседе вы произвели хорошее впечатление. Что же касается того предложения, которое было вам сделано, то, собственно, уже в процессе разговора стало ясно, что вы не подходите, так что предложение это снимается. Ну, а вот вещи, которые у вас забрали, то ведь вы знаете, этот вопрос надо разбирать с ОБХСС, спрашивать с них, Комитет ваших вещей не забирал... В общем, живите спокойно. Была без радости любовь, разлука будет без печали...

Два дня после этой беседы я приходила в себя – отсыпалась, приучалась есть, а то в рот ничего не могла взять четыре дня. И пошла к Ильину – поблагодарить.

Нервы комиссара госбезопасности сильно расшатаны долгим сиденьем на Лубянке, поэтому когда я внезапно вошла в кабинет, он сильно вздрогнул:

– Что случилось? Что?

Ждал, видно, что так легко меня в покое не оставят. (И год, и два спустя встречая меня в Доме литераторов, Ильин всегда спрашивал: все ли в порядке, не беспокоят ли меня наши общие друзья). Я сказала, что просто пришла сказать спасибо. Ильин был тронут. Сладко чувствовать себя спасителем!

– А ведь вы им очень понравились, – сказал он. – Вы были в этом платье? Про Ильина всегда рассказывали, что он жалеет женщин, которые живут без мужей, справляются сами, что ему не чужды рыцарские чувства.

– Да, конечно, для сотрудничества вы не годитесь. Надо быть актрисой, а-вы... вы не актриса.

Заговорила я и о другом – а как же все-таки вещи и деньги, что делать дальше? Но Ильин сказал:

– Это уж без меня, с ОБХСС я контактов не имею. Наверное, надо на Петровку идти. А впрочем, это вообще ерунда, тряпки. Главное – они-то уж думали, что вы у них на крючке, а я вас с крючка – снял!

Ильин был в прекрасном расположении духа, доволен своей удачей, и весьма выразителен был его жест, когда он показал, как именно берут на крючок и как снимают с крючка.

Правда, конечно, главное было именно в этом. И я готова была бы забыть про дубленку и доллары, но какое-то чувство незавершенности всего этого сюжета оставалось, и я не могла быть до конца уверенной, что дело закончилось.

Прошло лето, в Москву стали съезжаться друзья, все обсуждали, как быть. Большинство считало, что надо переходить в наступление, только не знали, на каком фронте и каким оружием. Знакомая адвокатесса советовала идти на Петровку 38, и я решила послушаться ее совета. Взяла паспорт, протокол, долго томилась дома и по дороге – ноги отказывались идти. Не мой это маршрут. Но дошла все же. Любезный милиционер повернул меня, оказывается, с этого входа мне не положено. Зашла откуда-то сбоку. Показала окошечко «Бюро пропусков» свой протокол. Дежурная смотрит на него и швыряет обратно из окошечка: – Протокол не наш.

– То есть как не ваш?

- Мы у вас обыска не делали.
- Да у меня и не было обыска вообще!
- Ну, неважно, обыск – не обыск», – все.

И не пустили меня вообще войти в эту знаменитую Петровку. Я вернулась к симпатичному милиционеру. Ему сую протокол свой, бумажку чудную. Посмотрел он – пожал плечами и ничего не сказал.

С чувством облегчения я вернулась домой. Слава богу – я все от себя зависящее сделала. Как будто пришла к зубному врачу, зуб рвать, а он говорит: сегодня не рвем. Зуб и болит, а все же радостно, что сегодня рвать не надо, а там уж видно будет. Но адвокатесса ужасно удивилась: как это вообще можно не впустить на Петровку? А если человек хочет сделать заявление?

Спрашивала я у дежурной в окошечке, нельзя ли мне по телефону позвонить, но так как сама не знала – кому, то и никакого телефона мне не дали.

Тогда наша знакомая адвокатесса и говорит: надо идти в прокуратуру Киевского района. Прокурору надо показать эту филькину грамоту, протокол, пожаловаться на незаконные действия дружинников.

В мрачное, полутемное здание прокуратуры я вошла легко, там пропусков не требуется. Села ждать приема у дежурного прокурора. Но тут адвокатесса моя тоже сплеховала, не дала мне точных формулировок – на что я жалуюсь. Надо было, видно, иметь в руках подготовленный текст заявления. Я же начала рассказывать, как все было; и стоило мне произнести слово «валюта», слова «иностранец», магазин «Аметист» и т.д., как глаза дежурного прокурора, толстой бабы в голубой кофте, засверкали злобой. Мысленно она говорила мне: «Я тебе отобью охоту по прокуратурам ходить!» – А вслух она закричала: «Кто имеет право на валюту, тот это знает! У вас правильно ее изъяли! Валюту, поступившую незаконным путем, мы изымаем. А в некоторых случаях и возбуждаем уголовное преследование!»

Вот тут я и в самом деле рада была, что ноги унесла. Но заметила, что и тут сделала свою обычную ошибку: не узнала фамилии дежурной прокурорши, которая вела прием. А она-то мою фамилию записала в книгу перед началом разговора. Так что теперь я еще больше нервничаю – вдруг она и в самом деле

начнет против меня уголовное преследование. Но знакомая адвокатесса утверждает, что это нереально.

– Что ж, на протокол даже и не взглянула? – спрашивает меня адвокатесса про прокуроршу. – Ну и ну!

Эх, адвокатики вы наши бесправные! Только и можете, что дивиться.

А ведь директор «Аметиста» рассказывал мне, как лихо баловались вокруг его магазина дружинники, как грели руки на этой самой валюте! Вряд ли я первая с жалобой пришла. В общем, пустыми оказались все адвокатские советы: и Петровка, и прокуратура. Тогда я решила последовать просто совету умного человека. Надо обращаться к тем, кто связан с дядей делами. Я написала письмо, которое привожу в точности, по копии:

«Вице-президенту Академии наук СССР, Председателю Пагуошского комитета академику М.Д. Миллионщикову.

Глубокоуважаемый Михаил Дмитриевич!

Обращаюсь к вам по неожиданному поводу, связанному с пребыванием в нашей стране члена Организационного комитета Пагуошского движения профессора Юджина Рабиновича (США).

Когда профессор Рабинович был в Москве по приглашению Академии наук в прошлый раз, он, с ведома и разрешения фирмы «Внешпосылторг», передал мне оставшиеся у него доллары для покупок в магазинах этой фирмы – частично для него, частично для меня. 25 июля этого года я в ожидании его очередного приезда в СССР, купила ему в магазине «Аметист», торгующем на валюту, меховое пальто. При выходе из магазина я была задержана сотрудниками ОБХСС Червяковым В.И и Сиволаповым А.Д., которые мне сказали, что с 1 июля советские граждане не имеют права расплачиваться иностранной валютой (об этой новой инструкции я, накануне вернувшись из санатория, не знала). Мне было предложено сдать купленные вещи и валюту, – как сказано в протоколе, – «для выяснения путей приобретения валюты». При этом сотрудники ОБХСС заверили меня, что если мои объяснения подтвердятся и валюта действительно получена мною от родственника – иностранного гражданина, то все будет возвращено мне через две-три недели.

Я просила задержавших меня сотрудников указать мне, куда я в дальнейшем могу обратиться по этому вопросу, однако в этой информации мне было отказано. «Вы будете извещены, – заявили мне. С тех пор прошло два с половиной месяца, я не получила никакого извещения, ничего не знаю о судьбе вещей и денег и все мои попытки что-либо узнать ни к чему не привели.

Позволяю себе обратиться к Вам с просьбой помочь мне исчерпать этот крайне неприятный инцидент до приезда проф. Рабиновича на Пагуошскую конференцию в СССР (он прилетает в воскресенье, 19 октября)».

Мне понравилось, как составлено это письмо – кратко, точно. Оставлены в стороне те, кто как бы закончил свои отношения со мной, заявив, что претензий не имеет. Наврано, правда, будто пальто предназначалось дяде, но какая разница, кто из членов семьи будет его носить – дядя, я или моя дочь. Противное слово «дублинка» не употреблено. Словом, текст меня удовлетворял. Но все же нескоро я собралась пойти в Президиум. Все откладывала. И дотянула так, что уже неделя до дядиного приезда осталась.

Миллионщиков занимал крупное положение в нашей стране – кроме всех своих научных чинов, он был еще председателем Верховного Совета РСФСР. Именно поэтому ему ничего не стоило узнать, куда мне надо обращаться.

Но именно поэтому меня и не тянуло в его кабинет. Как ни смешно все думала, что само оно как-то расхлебается.

Ну, пока я все не иду, не иду, пусть читатель почувствует, что время медленно тянется, я расскажу пока маленькую новеллу – я обещала вначале – про «пояс-труссы».

В фирме «Внешпосылторг», как во всяком учреждении, царили хаос и хамство. Эти два ха отравляли каждое мое посещение этой фирмы, но вот появилось третье ха – это очень милая девочка с интеллигентным тонким личиком и глазами, которые обычно считают фиалковыми. Она женственна, артистична, в обеденный перерыв вяжет. Я тоже только что научилась вязать, увлеклась. Весь ее вид являет удивительный контраст с сотрудниками фирмы, которые, как рассказывает мне Третье Ха, на своих собраниях обычно высказываются так: раньше за иностранных родственников – что? – расстреливали, ссылали, а им, видите ли, сертификаты выдавай, да они еще и недовольны, если их обсчитаешь. И явно так выходило, что

раньше было разумнее, вежливее, понятнее. И вот среди этих горилл – моя Х. (Х. – первая буква ее фамилии, которую я не хочу называть). Я сразу к ней, конечно, расположилась, сразу спросила: хотите, куплю вам мохера? Не было тогда женщины в Советском Союзе, которая не вздрогнула бы при слове мохер, прямо какое-то безумие охватило нацию. Мохер – слово, пожалуй, еще более неприличное, чем дубленка, – спорило с ним в частотности. Вошли в моду и разговоры о том, как хорошо вязанье успокаивает нервы, но успокоить их можно было только с помощью валютного магазина, где только и продавались нитки для вязанья. Я-то знаю, что посещения вообще любого магазина, а тем более валютного, раздереживает нервы так, что потом никаким вязаньем их не успокоишь, но большинство женщин со мною не согласны.

Итак – сидит такая девчущечка миленькая, тонюсенькая, выписывает «подарочные сертификаты», а сама на свой рубль, на самую твердую валюту в мире, мохера купить не может. Я ей сразу – на кофту. И потом пустяки еще какие-то покупала ей – то французскую губную помаду, то японский термос. Обменялись, конечно, домашними телефонами, обсуждали по телефону откровенно – что имеет смысл покупать, что не имеет. Когда мне приходил перевод, она мне звонила, и хаос и хамство уже не имели надо мной власти, потому что Х. оформляла мне все быстро и приветливо. Подарков от меня она не принимала – возвращала стоимость всего, мною купленного, в советских рублях, и судя по тому, что приезжала она ко мне на собственной «Волге» (муж водил) – она не нуждалась. И не только я, многие клиенты «Внешпосылторга» пожалели, когда Х. сказала нам, что переходит на другую работу. По ее словам, она получила юридическое образование и работала здесь не по специальности. Свой новый телефон она мне аккуратно записала, и мы договорились продолжать нашу бескорыстную дружбу.

Временное это, странное заведение «Внешпосылторг» всегда казалось чем-то хитрым, но полупреступным, вроде НЭПа. Ведь плохо вяжется с нашей идеологической борьбой вся эта помощь заграничных родственников, вся эта дубленка, адресованная преимущественно (заметно было) евреям, прибалтам, украинцам. В очереди за сертификатами так резко

выделялись получатели «подарочных» среди открытых и честных совзагранработников. Я пишу это в дни, когда получение «подарков частных лиц» прикончено, – но и раньше деятельность фирмы сопровождалась неустойчивостью, слухами о переменах, о подорожании цен, удешевлении сертификатов и т.п. Удобно, что всегда можно было позвонить и узнать от знакомого человека все поточнее. Были и такие случаи: при выходе из магазина меня останавливали, спрашивали, откуда деньги, пугали своими красными книжечками, но всегда отпускали; однако я пугалась, звонила Х. – расспрашивала, все ли у меня и в самом деле законно. И она, с ее юридическим образованием, всегда меня успокаивала официально – их инструктировали, от родственника можно принять доллары.

Можно, конечно, задуматься: а стоило ли вообще брать деньги у дяди, чтобы вечно из-за них нервничать, вязаньем успокаиваться? Не лучше ли жить похуже, но поспокойнее? Но ведь тоже и зло берет: почему я должна жить похуже, если можно – получше? Ведь не бог знает чего я хотела? Ну, хотела, чтобы зимой быть одетой тепло, летом – легко, более или менее красиво. Дядя ко мне относился на редкость сердечно, и мне совсем не тягостно было принимать его помощь. И больше скажу: в тысячу раз приятнее было принимать помощь от дяди, брата покойной мамы, чем.. ох, даже и говорить неохота, чем другой раз приходится зарабатывать литератору в нашей стране. Поздно обсуждать, правильно ли я выбрала эту профессию, но если понимать ее всерьез, она не кормит, не поит, не одевает.

Итак, Х. Она уже не служит во Внешпосылторге, но дружба не признает служебных границ, поэтому, придя из магазина, где я впервые увидела объявление о том, что наличная валюта не принимается больше от советских граждан, я сразу же звоню Х., и она сообщает мне, что в магазине «Аметист» заплатить долларами можно. И, вполне естественно, что как только я возвращаюсь домой после встречи с Червяковым и Сиволаповым, то кидаюсь ей звонить. Вот и про пояс-трусы – они были куплены в «Аметисте» именно для нее. Купить там было почти нечего, и когда я увидела этот предмет крошечного размера, стала думать: кто же есть у нас такой тоненький, такой стройненький? Ей и куплю.

Х. благодарит за заботу и, как всегда, успокаивает меня. Но сейчас мне уже нужно не просто успокоение, а юридические обоснования. Я прошу ее сказать мне, кто именно инструктировал работников «Внешпосылторга», где зафиксированы мои права и т.д. Тут выясняется, что она так же мало понимает, как и мы все. Звоню я ей и еще, и еще раз, прошу что-то узнать, она обещает, но ничего не узнает. Последний разговор наш прерывается трижды – он прослушивается настолько явно; что мы это обсуждаем вслух. «Ну, да это у всех так», – говорит Х. Она советует мне не сидеть, как виноватая, а действовать, действовать. Но как? Ей тоже это неясно, неясно и то, почему на бланке протокола значится «московская таможня» и кому таможня подчинена.

А на следующий день меня вызывают к Владимиру Сергеевичу.

После этого я – из автомата – пытаюсь связаться с Х. Но она уже не подходит к телефону. Раздраженные голоса ее домашних отвечают мне, что она в ванной, что она вышла, что сегодня она вернется поздно. На работе отвечают, что она уехала в отпуск.

Что произошло? Пытались ли ее втянуть в ловушку вместе со мной, или же она была намечена как ловушка для меня?

Страх, что она из-за меня пострадала, заставлял меня звонить снова и снова. На работе стали отвечать, что она больше здесь не работает. – Куда же она перешла?

– Не знаем, она нам не сказала. Наконец, по домашнему телефону трубку взяла сама Х. Но я не заговорила с ней – мне достаточно было, что она дома, не в тюрьме. Мало ли что могли приписать ей – незаконные сделки, валютные операции, экономический шпионаж... И я положила трубку на рычаг, не сказав ей ни слова.

Больше я о Х. не слышала и никогда ее не встречала. Однажды, невзначай, спросила одну из сотрудниц Внешпосылторга: «А как поживает Х.?»

– Раньше она к нам часто заходила, а потом пропала, и сейчас не заходит никогда. Мы даже не знаем, где она работает.

Причастность Х. к операции «дубленка» несомненна, но была ли она оборотнем или же пострадала от оборотней – не знаю. Она еврейка – кажется, это была единственная еврейка во «Внешпосылторге». Если бы я сочиняла детектив, я обязана

была бы знать все. Но мой детектив диктовала мне жизнь, и эту сюжетную линию до конца не довела.

Прошел последний срок, осталась неделя до дядиного приезда. Я доехала, троллейбус меня довез и ноги донесли, до Президиума Академии наук. Секретарша Миллионщикова сказала мне, что он сейчас принимает итальянскую делегацию и принять меня не может. Тем легче – заготовленное письмо лежало у меня в сумочке, я отдала его Валентине Петровне и ушла в другой отдел. Пагуошская конференция должна была начаться в конце октября в Сочи. Дядя предложил мне тоже туда поехать, иначе мы бы совсем почти не повидались бы с ним. Переписка наша была интенсивной, но я ничего не писала ему о своих неприятностях и вот теперь шла в иностранный отдел Академии наук отдавать деньги на билет. По дороге я встретила помощника Миллионщикова по Пагуошскому движению, молодого наглого человека с характерной фамилией Почиталин. Генеральский сынок, выпускник переводческого отделения Иняза, явный работник органов по всем своим замашкам, Игорь Почиталин катался по всему миру то от одной «организации», то от другой. Сначала он был маленьким переводчиком при советской делегации Пагуоша, потом вытеснил старого еврея Белицкого и стал не только переводчиком, но и организатором, помощником Миллионщика; но каково же и вовсе было всеобщее удивление, когда он оказался в списке советской делегации, среди ее полноправных членов – ученых с правом голоса! Обращение Почиталина со мной было дипломатическое, а именно – менявшееся в зависимости... На этот раз Почиталин прямо-таки подбежал ко мне и рассказал («под секретом от корреспондентов!»), что мой дядя уже назван как президент следующей Пагуошской конференции, имеющей быть через год в США. Официальные выборы состоятся в последний день сочинской конференции.

Я не рассказала Почиталину, зачем я заходила к Миллионщику, но все происходящее отчасти касалось и его. Доллары попали ко мне не непосредственно от дяди, а через Почиталина, который передал мне их в незапечатанном конверте, добавив: «Вам письмо от дяди, содержание письма мне неизвестно». Я решила не отяжелять свои объяснения фамилией Почиталина и говорила только о деньгах, которые

дядя мне оставил, какая в конце концов разница. Но не поручусь, что Почиталин не был тайным участником беседы моей с Владимиром Сергеевичем.

И вот в самолете, возвращаюсь из Сочи, я и рассказала дяде, куда девались посланные им деньги.

Дядина реакция меня поразила: в ответ он рассказал мне, что и его, оказывается, пытались завербовать. Какой-то молодчик из ЦРУ пришел к нему, предлагал, чтобы дядя писал ему отчеты после своих поездок в Москву. Разумеется, шантажа никакого не было, и страха никакого дядя не испытал и степень давления совершенно иная была, и кончилось все тем, что дядя просто спустил его с лестницы. Но все же...

Как только мы вернулись с аэродрома домой, я набрала телефон, продиктованный мне секретаршей Миллионщикова и приятный низкий голос предложил мне тут же приехать, Я же не знала, кто он и куда надо ехать! Оказалось, ехать надо на улицу Огарева, дом 6, в Министерство внутренних дел СССР, к начальнику одного из управлений.

Дядя проводил меня и хотел остаться внизу ждать, но я храбро и гордо сказала, что это лишнее. Перевозник Павел Филиппович оказался грузным благообразным человеком в очень крупном чине; а сбоку, на диване, сидели молча двое в штатском и тоже слушали мой рассказ. Я подробно описала все, как было изложено в моем письме к Миллионщику, вызова в КГБ не касалась, соответственно ничего не говорила и о роли Ильина. Ведь задерживали меня нештатные сотрудники ОБХСС, у них и надо было требовать вещи и деньги. Рассказывать было приятно, так как Перевозник слушал живо и оживленно реагировал на интересные места, например, как на полу ползали во множестве тараканы – прямо ахнул; и когда я рассказала, как меня не пустили на Петровку 38, с негодованием обратился к сидящим на диване штатским: «Черт знает что!» – Я подлила масла в огонь: а если мне надо заявление сделать? – Такое чувство было, что уж этих-то двоих штатских тут же направят на изживание наших временных отдельных недостатков, и с этой работы они уже не сойдут. Слушали меня неторопливо, внимательно. Наконец, я протянула Перевознику свой протокол, который никто не хотел у меня брать, в прокуратуре даже и взглянуть не пожелали. Перевозник передал

протокол штатским и они вышли из кабинета, а мы с ним продолжали уютно беседовать. В его кабинете я чувствовала себя защищено, как человек, пришедший от вице-президента Академии Наук. Перевозник расспрашивал меня о дяде, я посоветовала ему прочитать вышедшую у нас в русском переводе книгу Р.Юнга «Ярче тысячи солнц» – в ней Юджин Рабинович упомянут не раз. Он был участником Манхеттенского проекта, то есть американской атомной бомбы, а потом – автором так называемого доклада Франка, то есть протеста ученых против сбрасывания бомбы на Хиросиму.

Возвращаются штатские мужчины, протокола в руках у них уже нет (я его так больше и не увидела). Как-то кивают, знак какой-то подают Перевознику, и он говорит мне внушительно:

– Ну, вот, Наталья Александровна. Должен вас огорчить. Вас просто обокрали!

– Как – обокрали?!?

– Да просто так! Сотрудников таких у нас нет, протокол фальшивый... Это были самые обыкновенные грабители!..

Маленькую паузу я выдержала.

– Нет, товарищ комиссар, это не были грабители.

– Почему вы думаете? – Перевозник насторожился, напрягся весь.

– А потому, что после этого эпизода меня вызвали для беседы сотрудники КГБ.

– Но почему же вы это связываете?

– А потому, что на столе у сотрудника госбезопасности лежали мои объяснения, записанные Червяковым!

– Ну, и что же дальше?

– Дальше? Содержание нашей беседы я не имею права вам рассказывать (Перевозник улыбнулся), я даже родной дочери не рассказала (он снова сделал серьезное лицо), но так как меня шантажировали, уверяли, что я совершила уголовное преступление (Перевозник махнул

рукой), то я обратилась – по общественной линии – к человеку, которому сочла возможным довериться, так как сам он комиссар госбезопасности (Перевозник изобразил почтительность), правда, уже в отставке, и он это дело погасил. Но при этом ему было сказано, что деньги и вещи находятся в ОБХСС, и вот я пришла к вам...

Ну, тут атмосфера в кабинете изменилась. Такой переполох возник у них, что скрыть от меня не сумели. Все заволновались, заерзали, заметались. Знакомит меня Перевозник со штатскими: капитан Красуля; начальник валютного отдела московской милиции, и лейтенант Рыжков.

Совсем недавно я читала в «Вечерней Москве» про капитана Красулю, про то, как ловко ловит он валютчиков. Но с виду он немножко неуклюжий даже. Очень симпатичный. И Рыжков симпатичный, красивый парень. А уж Перевозник-то до чего симпатичный! Все они чем-то похожи друг на друга – как бы простоватые, но очень надежные.

– Немедленно берите машину, поезжайте с женщиной на Кутузовский проспект и все выясните! – говорит Перевозник, я вижу, что ему и в самом деле не по себе. Черт его знает, какой еще международный скандал может выйти.

– Не могу, товарищ комиссар, я сейчас очень тороплюсь, у меня в двенадцать часов встреча в «Арате», надо брать, без меня все завалят... – говорит Красуля, совсем как в детективах Аркадия Адамова. Но Перевозник и слушать не хочет:

– До двенадцати еще целый час!

И дальше так они со мной и держались – что очень трудное дело им поручено. Расспрашивали, как выглядит из себя этот Червяков? Ну, длинный, зубы гнилые. Я думаю, читатель бы и сам его нашел, если бы понадобилось.

Перед зданием МВД сосредоточились машины, и в одну из них мы сели, приехали на Кутузовский. Штаб дружины был заперт. Красуля подергал, подергал дверь – и пошел с Рыжковым с черного хода, но меня попросили остаться в машине. Выйдя, Красуля слегка смущенно сказал: «Это делал уголовный розыск...» Сели в машину, поехали – Красуля извинился, что не может довезти меня до дому, спешил кого-то «брать». Но по дороге успели немножко поговорить. Я спросила, как все-таки с валютой – имел право дядя подарить мне доллары или же не имел? «Конечно, имел право. Подарок – это форма сделки, причем законная форма. Лучше было оформить в нотариальной конторе дарственную, но это не обязательно; только что если б была у вас дарственная, они ничего не могли бы вам сделать...»

А вот кто это они? Оборотни? Так они и при дарственной что хочешь сделают... Разве нечистая сила нотариальной бумаги испугается?

– Ну, ладно, – говорю, – мне главное, что я сделала все правильно. Едем мы, едем и вдруг Красуля тепло так, дружески обращается ко мне:

– У нас только к вам одна просьба, совершенно личная. Не рассказывайте, пожалуйста, обо всем этом своему дяде. У него может представление сложится совершенно превратное о нашей жизни...

(Зачем же, я родной дочери, и то ничего не рассказываю! Да и вообще это нам привычно: литераторы же мы! Нам ли не знать, что вот расскажешь правду – а впечатление сложится превратное, а с три короба наврешь – и как раз впечатление правильное сложится. Это мы понять можем).

Попрощались, записали они мне все свои телефоны, приглашали звонить, обещали позвонить и сами, как узнают что-нибудь.

На том и расстались, и не привелось мне больше встретиться с симпатичным Красулей.

Прошло два дня, звонят с Петровки: «Говорит старший лейтенант Невельский. Мне поручено ваше дело, я вместо Рыжкова. Расскажите мне, пожалуйста, как выглядит Червяков?»

Еще раз описываю Червякова и Сиволапова, еще раз выслушиваю упреки, что не узнала фамилии Владимира Сергеевича и Геннадия Геннадиевича. Ильин-то ведь не выдал их мне! Свои источники и свои сведения Ильин держал при себе.

– Простите, но мне кажется, вы преувеличиваете трудности этого розыска, ведь я вам сообщила номер отделения милиции, число и даже час, когда проходила беседа. Меня в комнату провел дежурный по отделению милиции, так неужели он не знает, кто у него комнату занял?

Невельский выслушал мою тираду без энтузиазма.

– Кстати, сегодня в «Литературной газете» вы можете прочитать про моего дядю: «Юджин Рабинович. От ресурсов природы – к ресурсам мысли», и во врезке о нем подробно, кто он такой. И фото.

Невельский с достоинством ответил:

– Какой бы я был оперативный работник, если бы не знал, кто такой ваш дядя?

Прошло еще несколько дней, и я сама позвонила Невельскому. Он начал удовлетворенно:

– Ну, что ж, нашли их. И тех двух нашли, и этих двух.

Ах ты, какая удача! И, значит, тех нашли, которые мехом наружу, и тех, которые мехом внутрь. Ну, и дальше что?

– Наш министр товарищ Щелоков вызвал этого вашего... Червякова, песочил его целый час.

– Да? За что же?

– А за то, что раз он вещи забрал и протокол выписал от имени ОБХСС, то должен был и вещи в ОБХСС отдать, а тут приехали из КГБ, говорят, давайте нам, ну и отдали...

Про фальшивый протокол уже ни слова, про то, что таких сотрудников в милиции нет – тоже ни слова.

– Но вещи-то мои где?

– Да лежат где-то... Куда же денутся... Надо было в девятидневный срок все решить: если КГБ уголовного преследования против вас не возбудил, то или вам все вернуть, или изъять в административном порядке, и тогда вы могли бы в течение двух недель обжаловать

постановление об изъятии. А теперь им никакой прокурор санкции задним числом не даст, вот они и крутятся, не знают, как выкрутятся...

– Значит, могут и не отдать ничего?

– М-м-м... Практически... да, могут.

– К кому же мне теперь обращаться?

– Вашим делом занимается инспектор госбезопасности... ой, фамилию его я забыл. А телефон я

записал, но потерял эту бумажку... Но вы легко все это можете узнать через того человека, который вам помогал.

Через Ильина, то есть.

– Нет, к нему я обращаться больше не буду. И в госбезопасность тоже обращаться не собираюсь. Вы мне скажите, какие вы-то меры принимаете.

– Наш министр Щелоков написал представление председателю Комитета госбезопасности Андропову, и не исключено, что уже завтра ответ Андропова будет лежать у Перевозника на столе.

И еще поучал меня Невельский, что советские люди – так боятся КГБ, что прямо готовы все бросить и бежать, лишь бы с ними не иметь дела. Так и говорил, так и шпарил по моему прослушиваемому телефону. А фамилии инспектора, однако, не назвал. Долго мы беседовали, все разъяснял он мне мои права и обязанности должностных лиц.

Всё, больше мне никто не звонил и я никому не звонила. И в глаза больше не видела ни своей дубленки, ни Владимира Сергеевича, ни в «Вечерней Москве» чего-нибудь про капитана Красулю. Единственный, кого я встречала – это Ильин. Ильину рассказала все подробно: и как Перевозник сказал, что протокол фальшивый, и как министр Щелоков писал представление Андропову. Ильин был в восторге. Хохотал. Воскликнул: «Ну, и опростоволосились же!» Ведь и его обманул Владимир Сергеевич – сказал, что к моим вещам госбезопасность не имеет никакого отношения. Поэтому Ильин был полон злорадства и презрения к Владимиру Сергеевичу, который так грубо завалил всю операцию: «Вы даже и понять не можете, что такое – представление одного министра другому! Это такой втык, что дальше ехать некуда! Да сегодня весь Комитет, сверху донизу, в лихорадке! Все трясутся за свои места!» И Ильин потряс ручки своего кресла.

Теперь он, между прочим, рассказал мне, что когда он отправил меня домой ждать звонка КГБ («Если вас арестуют, пусть ко мне придет ваша дочь»), он поехал в ЦК, через ЦК добился приема у Андропова и на завтра Владимир Сергеевич сидел в кабинете Ильина, дрожа от страха.

– Мы готовы перед ней извиниться, – говорил он. Но Ильин, по его словам, сказал: «Не надо, я ей позвоню сам, при вас». И позвонил мне, сообщил, что ко мне «нет претензий». Словом, Ильин в моей истории предстает, как человек, способный добиться своего – один. Прочие все оказались бессильны. Я сказала Ильину, что поражена – оказывается, в нашей стране невозможно, даже с помощью Миллионщикова, добиться осуществления своих прав. Ильин ответил: «Почему, бороться можно и дальше. Только нервы надо иметь хорошие. А у вас – так, нервишки...»

Правда, нервишки мои сильно сдали. Ощущение, что два мощных министерства переламывают меня своими жерновами, меня угнетало. Я долго не могла работать, видела во всем

слежку и провокации. А может и было в самом деле кое-что еще. Один случай, по крайней мере, приведу.

Дочка моя уехала перед весенней сессией на неделю на юг. Сiju я одна в квартире и своими обнаженными нервами чувствую, как кто-то стоит на площадке у меня под дверью. Распахнула резко дверь и вижу одного знакомого, которого не видела уже давно. Когда-то, пятнадцать лет назад, познакомились в Гаграх, в доме творчества. Он – сотрудник ТАСС, переводчик, но когда-то работал в нашем посольстве в Лондоне, всю войну там провел. Уж наверно, разведчик. Не здороваясь, сразу спросила прямо: «С поручением пришли?» Не возмутился, не обиделся, просто сказал: «Нет».

– А почему без предупреждения?

– Я ваш телефон потерял.

– Так разве нельзя в справочном узнать?

– А разве можно?

И тут что-то промелькнуло у него в глазах, отчего я твердо уверилась: с поручением.

– Это вы-то, вы знаете, что 09 можно набрать? Ну, заходите, уж раз вы пришли.

Зашли в комнату, сели.

– А вы что такая нервная?

Я возьми, да и прямо скажи:

– Меня хотят завербовать.

– Чего ж вам-то нервничать? Пусть тот и нервничает, у кого задание такое.

– Ну, знаете...

– А что? Вот, к примеру, у вас есть пишущая машинка. Хотите – продадите ее, хотите не продадите. А не продадите, так чего же вам бояться? Насильно ведь никто не заставит.

– Неужели же кто-то добровольно согласен?

– Почему же нет? Конечно. Одному деньги нужны, другому хочется за границу поехать...

(Вот и сразу бы так, товарищи из КГБ. Мол, мы вас уважаем, вы нас уважаете, можно поехать за границу за казенный счет... А то повадились дубленки воровать! Нет, теперь уж вам не верю. Поздно!)

– Но я совершенно не подхожу для этой работы!

– Верно. Не подходите. Во-первых, вы очень много говорите. Во-вторых, вы не любите лгать... Надо не только

уметь, надо любить лгать, чтобы это удовольствие доставляло. Так что сразу видно каждому – вы не подходите. И вот как раз этим-то вы и подходите.

– Но я не хочу!

– А вот с этим ничего, действительно, не сделаешь. Насильно работать не заставишь.

Так и не знаю, старый товарищ, поклонник приходил проведать – или же оборотень. Вербовщик.

Еще год прошел, вся эта дубленка стала понемногу забываться. Во мне побеждала незлобивость – в конце концов, не виноват же Червяков, что у него такие зубы, Владимир Сергеевич ведь готов бил извиниться, а Перевозник и Красуля вообще оставили по себе самые наилучшие воспоминания.

И Ильин сказал: «Да забудьте вы все это, ну, подумаешь, пощупали через вас шубу...»

И вдруг – получаю я повестку в прокуратуру Киевского района к следователю Гудковой. Повестка,

как все такие миленькие голубенькие бумажки, приходит в пятницу вечером, а вызов на понедельник – утро. Бежим с дочкой на улицу, чтобы из автомата (мы теперь ученые) позвонить знакомой адвокатессе. Хоть мы и уверились, что юридические знания очень мало пригождаются в жизни и мало стоят сами по себе, все же – кому звонить? Мой читатель уже знает, что где появляется адвокатесса, там будет невпопад. И точно. Она говорит: «Эти парни попались на чем-то другом, и вот вас вызывают, как свидетельницу. Это все сначала называются так – свидетели, а потом вы можете превратиться в потерпевшую». В потерпевшую! Господи! Да мне только бы обвиняемой не оказаться!

А опытные люди мне сказали, что никакого отношения эта повестка не имеет к истории с дубленкой. В каком районе Внешпосылторг? В Киевском? Ну, вот, там и проворовался кто-то.

И – точно. Следователь Гудкова поначалу накинулась на меня, считая, что моя подпись поддельная, что я – подставное лицо, и много у нее, видно, было еще версий относительно меня, но очень скоро она сменила тон – совершенно, как Червяков. Опыт общения с оборотнями мне помог, и меня уже не удивило, когда она стала меня спрашивать про дядю. Жаль было только время терять, и дочка ждала меня, беспокоилась.

Да, поворовали во Внешпосылторге, оказывается крупно, но меня, случайно, как раз не обокрали. А то была бы еще одна история. Кое-кто получил там восемь лет, но я только рада, что не из-за меня.

Потом мне рассказали, что такую же повестку в Киевскую прокуратуру получила и Надежда Яковлевна Мандельштам, тоже получавшая деньги во Внешпосылторге. И она, при всей ее храбрости, разнервничалась – но решила по вызову не являться.

Ну, вот и все, и больше нечего рассказать. Потом я заболела астмой, не могла переносить шерсть и перестала вязать из мохера. А потом мохер вышел из моды, а потом и вовсе исчез из продажи. Читателю, может, это и неинтересно, но я люблю довести до конца все сюжетные линии, особенно те, которые могу.

Ну, сейчас мой читатель непременно воскликнет: «Кафка! Кафка!» А ничегошеньки подобного. Совсем и не Кафка. Причем тут Кафка? Чего раскафкались-то?

Кафка был великий писатель, он занимался вопросами жизни и смерти, добра и зла. А меня во всю мою жизнь только и интересовал один вопрос: где, бля, дубленка? Я больше ни о чем и не спрашиваю. Где дубленка и пояс-труссы, в госбезопасности лежат или во внутренних делах? А может, симпатичный Перевозник перевозит их туда-сюда? Вот и все мои интересы. А мрачный Кафка, который писал в своем «Процессе» – «Мое дело не кончилось и не кончится никогда», – он здесь ни при чем. Не впутывайте.

Москва
1971

ИРИНА РОСКИНА
Иерусалим, Израиль

Хорошо ли мне в Израиле? *Отрывок*

И еще одна фотография – это следы брошенного камня в бронированном окне трамвая, на котором мы ехали. Я, конечно, знаю, что это часто происходит, но не думала, что при свете

дня. Мы сидели спиной к этому окну, чуть ближе к началу вагона, – спинки наших сидений видны на фотографии, сделанной Володей, когда состав после нашей конечной отогнали поближе к нашему дому – на тупиковый путь. Когда мы приехали на нашу конечную, здесь нас уже встречало много полиции, вызванной охранником или вагоновожатым – не знаю. Они тоже фотографировали окно, как будто это улика, по которой можно поймать преступника. Те, кто в Шуафате сидели напротив нас, лицом к этому окну, говорят, что камень был большой, не с какое-нибудь куриное яйцо XL, а всерьез большой, сантиметров 20 в диаметре. Почему-то было два щелчка, как будто два выстрела, и те, кто не видел камнеметателя (те, кто видел, объяснили подкачившему к нам охраннику, находившемуся, как обычно, с нами в вагоне, что араб был близко, но уже убежал) решили, что стреляют внутри трамвая, и быстро попадали на пол – в основном женщины в длинных юбках. Я тоже думала, что стреляют, но как идиотка не бросилась на пол, а стала смотреть налево вглубь вагона: кто, мол, стреляет, – хотя при этом крепко схватила Володю за руку, что дает ему теперь право говорить, что я трусиха. Еще бы не трусить!

А потом трамваи стали забрасывать камнями почти каждый день, или по несколько раз в день, и мэр города отдал распоряжение не сообщать об атаках в новостях, чтобы не пугать еврейское население.

Поехала вчера в город. Нужны были пакеты для пылесоса (в старости хочется жить в чистоте). Ну, и в парикмахерскую – там рядом (в старости хочется выглядеть прилично), и на рынок (в старости хочется питаться полезным). И как-то я запозднилась, а на вечер у меня были планы: в семь часов смотреть трансляцию гала – концерта конкурса Чайковского по французскому музыкальному каналу Медичи. Не знаю, почему меня так на этот конкурс потянуло. С 1958 года я его не смотрела, а тут вдруг прямо оторваться не могла. Может быть, ностальгия. Я была на стороне Маслеева, хотя, конечно, все мои



русскоязычные знакомые за Дебарга. Я изменилась – поправела – за эти почти шестьдесят лет. Тогда – в 1958 году в советской России – только и мечтали, чтобы американец победил, душечка такой Ван Клиберн. А сейчас я переживаю за русского. Я думаю француз этот – Дебарг – очаровательный, но разве трудно быть таким милым в Париже? В Париже-то фасады домов и все прочее только и подсказываю тебе: жизнь прекрасна, искусство вечно. А в Улан-Уде что? Я, правда, там не была, но мне кажется, не Париж. Да и с питанием вряд ли там в детстве Маслеева благополучно было, вряд ли качественные продукты свободно, как в Париже, можно было достать.

В общем, я торопилась и ужасно обрадовалась, вскочив в подошедший трамвай. Но он несколько остановок проехал и остановился у улицы «Праведник Семен».

Такой водитель хороший – не промолчал, а все нам объяснил, пассажирам: в Шуафате волнения, год ровно прошел с убийства еврейми арабского мальчика, они отметить хотят, неизвестно поедем ли мы дальше, полиция велела стоять. Народ – а шесть часов, полно в трамвае народу – зашумел: хоть проезжай еще одну остановку, там на «Пригорке амуниции» автобусов до черта, в любую сторону добраться можно, а тут ни одного. Водитель говорит: «Не могу, приказ свыше», – и на небо перстом указывает. В общем многие вышли, неизвестно куда пошли, а я решила ждать: морковь, кабачки, огурцы, помидоры, зеленушка по мелочи, куда я с такой сумкой пойду?

Стала мужу звонить, объяснять, что задерживаюсь, чтобы он не волновался. Идиотка, напугала его до смерти, он стал меня уговаривать взять такси. А тут как раз водитель в окно высунулся, кричит: «Приказ сверху, отправляемся, возвращайтесь скорее в трамвай». Муж говорит: «Ты мне звони, если что». А я думаю: «Мальчика, между прочим, жалко». Так и подумала: «между прочим». И очень мне стыдно стало, что я про человеческую смерть могу так «между прочим» подумать. Но ведь это меня довели.

Проехали благополучно. Улицы Шуафата были пустынные, только на перекрестках усиленные отряды полиции. Утром, правда, прочла в новостях, что два трамвайных состава были повреждены в результате камнеметания, но человеческих жертв не было. И еще одну заметку прочла. Про то, что к северу от Иерусалима, рядом с КПП Каландия – от моего дома рукой подать – застрелили арабского террориста, напавшего на армейский джип. Мне, главное, жалко того, кому стрелять пришлось. Вряд ли он по живой цели стрелять любил. Но это ранним утром. А они еще с вечера ужасно шумели. Совершенно мне концерт испортили! Очень шумно было: стрельба, крики. Пришлось даже окно закрыть. Нас теперь предупреждают, что могут усилиться беспорядки, я, пожалуй, буду поменьше из дому выходить.

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ
Б. Вашингтон, США

Юрий Трифонов. Отсвет личной драмы

Написала в заглавии «драмы», а подумала – «трагедии». 28 августа 2015 года исполнилось 90 лет со дня рождения замечательного, но сегодня почти забытого писателя, – Юрия Трифонова (1925-1981). Как написать о нем? Как рассказать? Наверное, больше всего в этом рассказе поможет фильм, снятый по его повести «Долгое прощание» режиссером Сергеем Урсуляком. Фильм, кам мне показалось, – а я для этого перечитала повесть еще раз, – ничуть ей не уступающий, а даже углубляющий, проясняющий и делающий более объемным ее

содержание. Фильм был снят в 2004 году. Смотрела – и словно пелена спадала с глаз, словно проявлялась переводная картинка, так отчетливо я увидела то, о чем это и почему называется «Долгое прощание».

В свое время читала эту повесть Трифонова, появившуюся в 1971-м году в толстом журнале вслед за предыдущими «московскими повестями» - «Обмен» (1969) и «Предварительные итоги» (1970), сразу вызвавшими споры, пересуды и читательский интерес. Вроде бы и «Долгое прощание», как и первые две, сосредоточено на обычной жизни («Обмен» даже упрекали в «бытовизме», ибо в центре конфликта лежал обыкновенный квартирный обмен), разве что героиня повести – начинающая актриса и начинающий писатель... Не было у меня тогда и мысли об «автобиографичности» повествования, о том, что писалось произведение по следам незаживающей раны. Да и что я тогда знала о личной жизни писателя Юрия Трифонова? Очень хорошо запомнилась «очередь за подушками», в которой героиня стоит в конце повествования. Печальный итог жизни актрисы. И вот сейчас, много лет спустя, благодаря редкостной по поэтичности и проникновению в самую суть сюжета картине Урсуляка, я поняла. «Долгое прощание» – позднее прощание с молодостью и неперегоревшей любовью, любовью, омраченной тяжелой драмой.

Но по порядку. О чем повесть Трифонова?

Молодая вктриса Людмила (Ляля) Телепнева замужем за начинающим писателем Гришей Ребровым, живущим в семье жены. Оба на старте, обоим «не фартит». Ляле не дают ролей, Гришу не печатают. Мягкая сердцем Ляля, однажды пожалев бездарного драматурга Николая Демьяновича, над которым смеются ее собратья-актеры, втягивается в связь, в итоге сделавшую ее премьершей в театре. Николай, хоть и бездарен, но обладает «мертвой хваткой» и знает, чего требуют от драматургов идеологи. Этой «мертвой хватки» не хватает Грише. Гриша весь день занимается в библиотеке, читает исторические сочинения, он слаб, беспомощен в решении житейских вопросов. Но он тонок, он умеет любить...

Урсуляк рассказал о любви этой молодой пары с помощью черно-белых кадров зимней Москвы, трамваев, снега, собаки, приютившейся на остановке, а потом едущей в трамвае вместе с таким же «побитым» Гришей. А как хороша безмолвная сцена ,

когда двое любящих смотрят друг на друга сквозь замерзшее окно! О любви этих двоих говорит музыка Моцарта, Баха и Вивальди, звучащая в картине. Ну и конечно, стихотворение «Снег идет» Бориса Пастернака, прочитанное голосом режиссера и становящееся лейтмотивом фильма, утверждением чего-то, что стоит над бытом, над страшным временем, над поворотами судьбы...

Актриса Полина Агуреева так играет Лялю, что ей не только веришь, но и оправдываешь ее во всем. О да, она обманывает Гришу, но она хочет ему помочь с помощью «сильного» Николая. Она видит разницу между ними, один – талантливый, потенциально большой писатель, другой пишет «заказные» пьесы на злобу дня, «д... средней руки». Но ей приходится лавировать в этой жизни, где, не будь Николай Демьяновича, у нее не было бы ролей, где у нее болен отец, а сад, посаженный отцовскими руками, отбирает и вырубает милиция, где мать в вечной борьбе с зятем и дочерью и пишет письма «в инстанции».

Чего стоят мытарства Гриши со справками! Справки – это знамение времени, знамение советского быта. Недаром Урсуляк не пропустил этой линии ни в романе Гроссмана «Жизнь и судьба», где героиня все той же Полины Агуреевой никак не может раздобыть себе справку с места жительства, ни в повести Трифонова, где несчастный Гриша (alter ego Трифонова) на трех своих «неверных» работах так и не получает от администрации справку для домоуправления. А без такой справки он как тунеядец может быть выселен из Москвы. Краем уха слышала, что закон о «тунеядстве» снова хотят принять в России. Что ж, реставрация так реставрация. В сталинщину, однако, было кое-что покруче.

В повести этот момент смазан. Николай Демьянович привозит Лялю на день рождения некоего Агабекова. Затем пропадает, Ляля остается у всемогущего «начальника», который лезет к ней с объятиями, но она вырывается и убегает. Так в книге.

Но не так в фильме, не убоившемся восстановить подлинную картину.

Дом, куда кондовый драматург привозит Лялю, принадлежит Лаврентию Берии. Это его очки, его цепкий взгляд, направленный на новую жертву. Звучат грузинские песни, Лялю

тоже просят спеть – и отказаться нельзя. Актриса Полина Агуреева поет свою собственную песню на стихи Цветаевой «Моя маленькая». Чудесная песня, прекрасно исполненная! Но ни Бог, ни иконка, ни ангел, в ней упоминаемые, не могут спасти Лялю от дьявольщины, от насилия. Драматург советует ей по телефону «вести себя хорошо», Лаврентий Павлович, встретив сопротивление, угрожает: «В противном случае...», а бедная жертва, поняв, что попала в западню, только и может, что выдать из себя улыбку и спросить: «А Николай Демьянович очень вас боится?»

Страшная сцена. Страшны рыдания несчастной женщины под окнами ближайшего помощника советского самодержца.

А ведь надо жить дальше, нести этот груз на себе, не сломаться...

Реальная жертва насилия ушла из жизни в возрасте 43-х лет. Говорю о Нине Нелиной-Нюренберг, первой жене Юрия Трифонова. Была она оперной певицей, колоратурным сопрано, обладая прекрасными внешними и вокальными данными, была взята в Большой театр, пела Розину в «Севильском цирюльнике»... Красивая молодая солистка понравилась Берии. В 1956 году в Большом театре был обнародован список актрис, которых возили к Лаврентию Павловичу. Как это могло случиться? По какому праву? Кто смел горе и трагедию этих несчастных женщин сделать достоянием общества! К ранам внутренним кто посмел добавить еще и позор разглашения?! Вообще эта сторона сталинщины еще недостаточно известна.

Когда-то в Перестройку читала книгу Ларисы Васильевой, рассказывающую о наложницах Берии, сластолюбивого слуги Главного сатрапа. Страшные, ужасающие истории, искалеченные женские судьбы. Но палач и развратитель, губитель человеческих душ, ушел от ответа, ушел от суда. За все ответили невинные жертвы, получив, кроме искореженной судьбы и надломленной психики, еще и сплетни и злоязычие окружающих.

Нина Нелина ушла из Большого, сначала пела в Госконцерте, потом уволилась и оттуда.

Первый брак Юрия Трифонова, длившийся 15 лет, был не слишком удачен. Молодые любили друг друга, но часто ссорились, тяжесть быта несла на себе жена, она же воспитывала дочку.

А Трифонов с начала 1950-х по начало 1960-х, целое десятилетие, где-то пропадал. Обычно это десятилетие писательского молчания объясняют литературными причинами. После повести «Студенты» (1950 год, писателю всего-навсего 25 лет), удостоенного Сталинской премии третьей степени, он ищет себя, ищет свою тему... Трифонов уезжает из Москвы, уезжает от семьи, только в Туркестан за эти годы он ездил восемь раз (!). Нет, не клеилась его тогдашняя жизнь, и не была ли трещина в семейных отношениях проложена той страшной ночью в квартире человека со змеиным прищуром?!

В фильме, как, впрочем, и в повести, Гриша Ребров уезжает. Жизнь с Лялей у него не сложилась, начинался какой-то иной период, приведший его к успеху и известности. Гришин прототип, писатель Юрий Трифонов, в 1970–е создал свои лучшие произведения – повести «Другая жизнь», «Дом на набережной», «Старик», роман «Время и место».

Мне показалось, что в Грише Реброве режиссер Урсуляк увидел не только молодого Трифонова, но и себя, ведь линия его собственной жизни – с ее зигзагами – поразительно напоминает трифоновскую. В актере Андрее Щенникове очень большое сходство и с молодым Сергеем Урсуляком, и с Трифоновым. В фильме столько нежности и любви, что становится ясно: режиссер привнес в картину свои воспоминания, свою боль. Несколько раз звучат в фильме слова Достоевского, что человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья. Молодые годы, с их первой любовью, – несмотря на все принесенные ею разочарования – бесконечно притягательны для всех.

Трифонов ушел из жизни 55-и лет, очень рано. Не сомневаюсь, что тяжелым грузом на его совести лежала смерть его первой жены. Перед ее роковым отъездом на отдых в Друскининкай, они поссорились, а на ее телефонный звонок оттуда, с просьбой чтобы он приехал, он не отозвался. Нина Нелина умерла 26 сентября 1966 года. Официальная причина ее смерти – инфаркт миокарда. Но ходили слухи, что она наложила на себя руки, приняв большое количество снотворного.

Любовь, смерть, судьба...

Один из последних рассказов писателя из цикла «Опрокинутый дом» (1981) называется «Вечные темы». Помню

этот рассказ как сейчас. Писатель встречается за границей своего бывшего редактора, когда-то отвергнувшего его рассказ со словами: «Опять у вас вечные темы!» Этот старый, истрепанный жизнью человек рассказывает писателю о своей судьбе – несчастная любовь, смерть близкого человека... Увы, никуда от них не денешься – ни в жизни, ни в литературе – от этих вечных для человеческого рода «вечных тем»!

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ
Б. Вашингтон, США

Совесть мучила его еще очень долго

*Интервью с Ольгой Трифионовой-Тангян, дочерью Юрия
Трифонова*

Ирина Чайковская. Дорогая Ольга, после опубликования в журнале мой колонки «Юрий Трифонов. Ответ личной драмы» один читатель возмутился, что я в ней написала, что любимый и почитаемый мною Юрий Трифонов – «сегодня полузабытый писатель». Как вам кажется, знает сегодняшняя российская молодежь это имя? А западная? Как обстоят дела с изданием его книг?

Ольга Трифионова-Тангян. Знаете, Ирина, одна моя московская знакомая написала мне, что Юрий Трифонов стал теперь классиком. Классик – это автор, чьи произведения проходят в школе, в институте, чье имя на слуху, но которого не обязательно читают на досуге молодые люди. В таком смысле «полузабытыми» можно считать многих русских писателей. В Германии, где я сейчас живу, также мало читают своих классиков. В школе проходят Гете и Шиллера, но молодежь увлекается иными книгами. При этом в Европе достаточно много любителей русской литературы и музыки. Например, известный немецкий политик Маттиас Платцек в интервью газете «Невское время» от 3 октября 2015 года, говоря о русско-немецких отношениях, признавался в своей любви к прозе Юрия Трифонова и музыке Дмитрия Шостаковича. Что же касается российских изданий, то, судя по информации в

интернете, книги Трифонова достаточно регулярно выходят и хорошо продаются.

И.Ч. Хочу обратиться к вам и к вашей судьбе. В ваших очень информативных и необыкновенно искренних воспоминаниях «Испытания Юрия Трифонова» рассказано о семейной трагедии писателя и его первой жены, вашей мамы, певицы Нины Нелиной. Как складывалась ваша жизнь после раннего ухода из жизни матери? В год ее смерти, 1966, вам было только 15 лет. Юрий Валентинович писал тогда в письме: «Я остался один со своей молчаливой Алей». А с кем остались вы? Судя по воспоминаниям, вы были «маминой дочкой»...

О.Т. Фраза «Я остался один со своей молчаливой Алей» – из рассказа «Самый маленький город». Болгарские друзья моего отца журналист Вырбан и писатель Банчо Банов решили поддержать нас после смерти моей мамы Нины Нелиной, с которой они были хорошо знакомы. Они прислали нам приглашение и организовали наш приезд в Болгарию на празднование Нового 1967 года. Мы с отцом жили в пустой и неуютной гостинице. На Новый год болгары уезжают из Софии, город пустеет. Холодно и много снега. Было непонятно, чем нам заниматься. Я была молчаливой, но и отец был не особенно разговорчивым. Большую часть времени он лежал на кровати (у него была депрессия), а я вырезала из болгарских журналов фото артистов, которые я тогда собирала, и время от времени спрашивала: «Папа, зачем мы сюда поехали?» Отец не знал, что отвечать. Потом его друг Вырбан повез нас на своей маленькой машине в «самый маленький город» Болгарии – Мелник, откуда и произошло название рассказа.

Моя мать Нина Нелина умерла 26 сентября 1966 года в возрасте 43 года. Мне тогда было 14 лет. Как теперь понимаю, у меня было шоковое состояние. Я плохо помню, как все происходило. Мама уехала на лечение в Друскининкай. Я провожала ее на вокзал. По этому поводу она написала объяснительную записку для школы. Помню, как в день смерти мамы, о чем я тогда еще не знала, я стала гладить косынку и прожгла утюгом большую дырку. И меня пронзила острая боль. Возможно, я почувствовала уход мамы из жизни. Потом похожее я ощутила в момент смерти отца. Видимо, детям что-то передается. Помню, как ехала вместе с отцом в такси на похороны. Смотрела в окно и увидела афишу нового фильма

«По тонкому льду». Мне показалось, что это название имело отношение к жизни мамы. А потом провал в памяти, ничего не помню. Не помню сами похороны, кто присутствовал, что говорили. Мне уже позже рассказывали, как все было. Моя бабушка Полина устроила отцу сцену с обвинениями в его адрес, хваталась за гроб, ее оттаскивали, давали лекарство. Но сама я ничего не помню. Примерно через неделю после похорон мы с бабушкой стали получать мамины письма из Друскининская. Она писала нам, что ей там все нравилось, присила нас беречь себя, делать по утрам зарядку.

После смерти мамы я продолжала жить с отцом на Песчаной улице у метро «Сокол». В первое время к нам без конца шли люди. В основном, друзья отца – Лев Гинзбург, Борис Слуцкий, Константин Ваншенкин. Приходил бесконечный поток писем и телеграмм с выражением соболезнований. Однажды в дом буквально ворвался режиссер фильма по роману отца «Утоление жажды» Булат Мансуров. Он порывисто обнял отца прямо в коридоре, и так они молча стояли. Ваншенкин мне позже рассказывал, что отец находился в отчаянном состоянии. Он приезжал к нему почти каждый день. Иногда вместе со своей женой Инной Гофф. Они сидели вместе и почти не разговаривали. Иногда отец плакал. Стоило Ваншенкину вернуться к себе домой на метро «Университет», как Трифонов звонил ему и просил снова приехать. И Ваншенкин опять ехал к нему на другой конец Москвы.

Тогда я все силы тратила на то, чтобы поддерживать отца и бабушку с дедушкой, которые жили по соседству. Это плохо получалось, так как бабушка с дедушкой были непримиримы к отцу, обвиняя его в равнодушии, черствости к жене. Бабушка только повторяла: «Убийца! Угнал Нелюсю на тот свет». Странно, что тогда я не думала ни о себе, ни о маме, а только об отце и стариках. Старалась им как-то помочь. Мое тогдашнее состояние Ваншенкин передал в своем стихотворении «Дочь Трифонова»:

...Еще не знали многие – до стона!
...Звонкам обычным не было числа.
Дочь, поднимая трубку телефона,
Всем говорила: – Мама умерла...
Ей было лет четырнадцать в ту пору,

И поражало сразу, что она,
Ища в отце привычную опору,
Была, возможно, более сильна.
Та детская пугающая сила,
Таящаяся в недрах естества,
С которой она произносила
Немыслимые, кажется, слова.
Сидели средь табачного угара,
Внезапных слез и пустяковых фраз,
И вздрагивал, как будто от удара,
Отец, ее услышав, каждый раз.
1983

На моей маме Нине Нелиной отец женился очень рано и скоропалительно. Он сразу влюбился, женился, и уже через несколько месяцев появилась на свет я. Наша семья шесть лет прожила вместе с родителями мамы, художником Амшеем Нюренбергом и Полиной Мамичевой-Нюренберг – моими бабушкой и дедушкой – в Доме художников на Верхней Масловке. Нюренберги отдали молодым две комнаты, а сами переехали в большую, но холодную мастерскую. Потом одну комнату они совсем подарили молодым, чтобы Трифонов мог ее сдать государству и получить для себя и нашей семьи отдельную квартиру. Сами бабушка с дедушкой продолжали жить с соседями. Бабушка была трудным человеком, но ради своей дочери она готова была пожертвовать всем.

Мама была на два года старше отца. Трифонов был ее вторым мужем. Первый раз она вышла замуж в 18 лет за своего сокурсника по вокальному отделению в Гнесинском училище, очень красивого молодого певца-тенора Владимира Чекалина. Моя бабушка недолго любила маминых мужей, но с Трифоновым она мирилась ради меня. Она вообще считала, что мама должна была заниматься только своей артистической карьерой, а не тратить время на пустяки, в том числе, на детей. Дед Нюренберг вначале был рад и горд тем, что его зять – известный писатель, лауреат Сталинской премии. Он вел с ним бесконечные беседы об искусстве и литературе. Его отношение к отцу полностью испортилось после смерти мамы. В рассказе «Посещение Марка Шагала» Трифонов кратко охарактеризовал отношение тестя: «сначала меня любил, потом возненавидел».

Рассказывали, что на похоронах моей мамы отец дал обещание не жениться до того момента, пока я не стану взрослой. В целом он сдержал свое обещание. В 1968 году он познакомился с редактором серии «Пламенные революционеры» Политиздата Аллой Павловной Пастуховой. У них завязались близкие отношения, которые они оформили в 1970 г., но в 1979 г. развелись. Жили они на два дома. Отец часть времени проводил у нее, они вместе ездили в отпуск. Но в основном он все же жил со мной на Песчаной улице у метро Сокол. На нашу дачу в Красной Пахре она только приезжала в гости. Лето мы проводили втроем – отец, Клавдия Бабаева и я. (Бабаева была вдовой расстрелянного помощника Серго Орджоникидзе, подруга матери Трифонова по лагерю, которая взялась помогать ее сыну, проводя лето на даче. Я опубликовала ее дневник и свой очерк о ней в интернете.)

Пастухова была не только редактором, но и литературным критиком. Она сама хорошо писала, знала французский язык. Очень любила Чехова и стихи Бодлера, которые давала мне читать. Но главное – она была выдающимся редактором и сумела привлечь в свою редакцию многих талантливых писателей. В ее серии печатались Войнович, Аксенов, Искандер, Окуджава. Трифонов издал под ее редакцией исторический роман «Нетерпение», который получил высокую оценку Генриха Бёлля.

Мне кажется, что отец женился на Пастуховой, устав от слишком экстравагантной жены – красавицы и оперной дивы. Моя мать обладала взрывным характером, была резкой на язык и не щадила самолюбий. Это, конечно, осложняло ее работу в Большом театре, отношения с друзьями и даже с отцом. Возможно, отцу захотелось найти не столь яркую творческую личность, а более или менее обычную скромную женщину. Надеялся обрести «тихую пристань» и работать. Но и у Пастуховой оказались свои особенности. Она все время обижалась и тоже устраивала сцены, хотя тихие, не такие бурные, как моя мама.

Пастухова так уважала отца как писателя, что всегда называла его «Трифонов», а не «Юрий», что мне казалось странным. Он обращался к ней: «Алла». Однажды в ответ на ее критику он возразил: «Алла, но я все же Трифонов». Видимо, он перенял ее манеру. Она мне рассказывала это со смехом.

В большой степени второй брак Трифонова скреплялся рабочими интересами. Это был творческий союз, настоящий литературный дуэт. Этот период был самым продуктивным в жизни Трифонова. В 1969-1972 г. он издал одну за другой свои «московские повести», в 1973 – роман «Нетерпение». Все отмечали, что в «московских повестях» Трифонов переродился, но забывали отметить, что переродился он под влиянием своей второй супруги Аллы Пастуховой. Считаю это в высшей степени несправедливым. Она сама мне говорила: «Каждую его строчку я пропускала через себя». Могу засвидетельствовать их кропотливую совместную работу над рукописями.

Ошеломительным успехом повести «Дом на набережной» в первом номере «Дружбы народов» за 1976 г. Трифонов тоже во многом обязан Алле Пастуховой. Вместе с ней Трифонов сократил повесть в три (!) раза, сделав ее, с одной стороны, более емкой и концептуальной, а с другой – проходимой для цензуры. Изъятые же места составили основу неоконченного романа «Исчезновение», опубликованного посмертно.

Через полтора года после публикации «Дома на набережной» и полгода после «Старика», где по-прежнему чувствовалось участие Пастуховой, отец оставил ее, что явилось для нее большим ударом. А многие друзья-писатели, которые раньше перед ней заискивали, добиваясь издательских договоров, ее забыли. Она впала в жесточайшую депрессию, отчего почти полностью ослепла. Никого не хотела видеть, ничего не хотела менять в жизни. О Трифонове она не желала ни слышать, ни говорить. Один раз она мне сказала: «Я понимаю твою маму».

После бурной славы, которую принесла Трифонову повесть «Дом на набережной» и постановка «Обмена» в Театре на Таганке в 1977 г., на него обрушилась толпа поклонниц. Он отдал предпочтение молодой, но уже известной актрисе театра и кино, которая все лето 1977 года ездила к нам на дачу, вызывая любопытство соседей. Для красивой дамы это было интересным, но коротким приключением. Она ничего не хотела менять в своей жизни, и они расстались. Отец немного погоревал, но вскоре стал оказывать внимание следующей претендентке.

В 1975 году я вышла замуж за Андраника Тангяна, и мы уже с мужем и родившейся дочерью Катей продолжали жить вместе

с отцом до конца 1977 г. и в Москве, и на даче. Осенью 1977 г. отец два месяца читал лекции в Америке, а в канун 1978 г. на даче представил моей семье участницу своего семинара в Литинституте Ольгу Романовну Березко (урожд. Мирошниченко), с которой уехал в Москву встречать Новый Год. Я ждала второго ребенка, мы с мужем стали жить отдельно, хотя еще и следующее лето 1978 г. провели все вместе на даче уже с моими двумя детьми. Летом 1979 г. отец построил мне отдельный домик на своем участке, в августе женился на Ольге Романовне, и мы до его смерти в марте 1981 г. уже вместе не жили. Отец стал мировой знаменитостью, круг его общения сильно изменился, изменились и приоритеты. Он много ездил за границу, встречался с иностранными корреспондентами и издателями. На старых друзей и мою семью у него оставалось все меньше времени. Мы виделись все реже и реже.

В целом, с отцом я прожила почти вдвое дольше, чем с матерью. Моя бабушка по линии отца, Евгения Лурье, сразу после смерти мамы определила мою роль: «маленькая хозяйка большого дома». Сама она растила двух внуков – Машу и Женю – детей дочери Татьяны Трифоновой. На меня у нее не хватало сил. У отца дела шли неважно, денег было мало, так что о помощнице в Москве не было и речи. На меня легло все домашнее хозяйство, хотя надо было и заканчивать школу, потом учиться в МГУ и заниматься своей семьей. Так что мне кажется, что меня нельзя назвать «маминой» дочкой.

И.Ч. Что Вы можете сказать о семье ваших бабушки и дедушки со стороны матери? Знаю, что ваш дед – известный художник Амшей Маркович Нюренберг. Посмотрела его работы – то, что увидела, необыкновенно самобытно, выразительно и красочно. Умер ваш дедушка в 91 год, но при жизни у него было всего две персональных выставки. Не мало ли?

О.Т. У моего деда Амшея Марковича Нюренберга (1887-1979) была удивительно интересная судьба, о которой он написал мемуары «Воспоминания, встречи, мысли об искусстве», изданные частично в 1969 г., а в 2010 – в полном объеме под названием «Одесса – Париж – Москва». Эту книгу можно также загрузить с его персонального сайта.

Дед родился в Елисаветграде (ныне Кировоград, Украина) в семье торговца рыбой с десятью детьми. В своей семье он стал первым художником, но позже у него появились последователи: младший брат Давид Девинов-Нюренберг, его племянник, заслуженный художник России Виталий Орловский, внучатая племянница Елена Варшавчик. И, наконец, две его правнучки, мои дочери. Старшая – Катя Тангян (р.1975) – стала педагогом, кандидатом искусствоведения, вторая – Нина Рёмер (урожденная Тангян, р. 1978) – профессиональной художницей.

По счастливому стечению обстоятельств, на 15-летнего Нюренберга обратил внимание елисаветградский инженер-немец Беренс, который финансировал его образование в Одесском художественном училище в классе Кириака Костанди. В то время в Одессе начала формироваться группа новаторов искусства, которую сейчас называют Украинским Авангардом начала XX века. Многие из них – одесситы Исаак Малик, Сандро Фазини (старший брат писателя Ильфа), Теофил Фраерман и Амшей Нюренберг – отправились искать счастья и образовываться в парижских академиях. В Париже Нюренберг делил ателье с Марком Шагалом, с которым подружился на всю жизнь, жил бедно и вернулся в Одессу в 1913 г. с подозрением на туберкулез. В Одессе Нюренберг стал одним из организаторов авангардистской группы, которую сейчас называют «Одесскими парижанами». Художники устраивали сезонные выставки наподобие Осенних и Весенних салонов в Париже. Их работы покупали коллекционеры, о них много писали в прессе.

В 1915 году Нюренберг приехал в Москву навестить своего друга, художника Виктора Мидлера. Тот дружил с бабушкиной сестрой и познакомил Нюренберга с его будущей женой. Дед сразу влюбился и женился. Полина Мамичева была красива. Особое восхищение вызывал цвет ее глаз – светло-голубой, прозрачный. Ее глаза и в старости не выцвели. Она была очень предана своим близким. Но характер у нее был трудный, она всегда сражалась за правду и «срывала маски». Настоящая староверка. Вначале Полина Мамичева мечтала о карьере балерины, но под влиянием мужа стала писать картины в стиле кубистов и выставлять их на одесских выставках. В одесском обществе «Независимых художников», как они себя называли по примеру Салона Независимых в Париже, она была

единственной женщиной. Ее «Натюрморт с зеленой бутылкой» (1918) стал в последнее время часто упоминаться как ранний образец русского кубизма.

Мой дед не был членом партии, но в Революцию поверил и сразу стал на сторону Советской власти. В этом не последнюю роль сыграло его еврейское происхождение: при царизме евреи были дискриминированы, а Советская власть провозгласила интернационализм и равные права для всех национальностей. Сразу после революции Нюренберг некоторое время был комиссаром искусств в Одессе, отвечая за сохранение культурных ценностей, а в 1920 г. окончательно перебрался с женой-москвичкой в Москву. Он работал в Окнах РОСТА Маяковского, преподавал во ВХУТЕМАСе французское искусство. Дед много рисовал Ленина, однажды с натуры, когда организовал его визит во ВХУТЕМАС. Гипсовый бюст Ленина стоял у него дома на подоконнике. И даже свою дочь он назвал Нинель, что в обратном порядке читалось как Ленин. После возобновления дипломатических отношений с Францией в 1926 году был послан Луначарским в Париж «культурным послом» для чтения лекций о новом советском искусстве. В Париж Нюренберг отправился вместе с женой Полиной и дочкой Нелей. Снова посещал Марка Шагала, так что моя мама в детстве тоже его видела. Бабушка потом говорила, что им не надо было возвращаться в Россию. Но в Москве их ждали дела, большие планы, родня.

Мне кажется, большая часть жизни Нюренберга и Мамичевой в Москве была омрачена страхами. Они скрывали ото всех, даже от меня, тот факт, что одесский коллекционер Яков Перемен увез их ранние работы в 1919 году в Палестину (их обнаружили лишь в 2006 г. и выставляли в Израиле, Америке и Украине). Нюренберги старались не упоминать имя Шагала, когда в России начались нападки на авангард, на французское искусство, на импрессионизм. Потом была война, после войны борьба с безродными космополитами. Все это Нюренберг выдержал. Страшным ударом явилась для него смерть единственной дочери – Нелечки. Но он и тут выстоял, благодаря работе. А бабушка после смерти дочери не хотела жить, но жила, чтобы помогать деду и мне. Дед тогда заканчивал свои мемуары, я – школу.

Дед всю жизнь занимался любимым делом. И был большим оптимистом, говорил в 91 год: «Когда вижу солнце, не хочу умирать». Интересовался самыми разными людьми. Мог сказать незнакомому человеку: «У Вас очень интересное лицо. Могу ли я написать Ваш портрет?». Мало, кто отказывался от такого предложения. Больше шестидесяти лет он прожил в браке с моей бабушкой. До конца дней она называла его: «мой мальчик», а он ее: «моя девочка». Мне кажется, что мой дед Нюренберг был мужественным и счастливым человеком. Поэтому его картины часто кажутся мне радостными, праздничными.

И.Ч. Обратила внимание, что большое количество работ Амшея Нюренберга хранится в Нукусе, в известном музее крамольных художников, собранном Игорем Савицким подале от всевидящего глаза столичных политцензоров от искусства. Там хранится 60 картин, и 102 картины хранятся в музее Кировограда, на Украине. Понятно, что, хотя и написано, что в Третьяковке хранится много его работ, как и в Русском музее, все они – в запасниках. Думаю, что в Нукусе и в Кировограде они висят, как их автору и положено по заслугам, – в залах.

О.Т. Что касается моих контактов с Нукусским музеем (Узбекистан), то дело было так. После смерти Нюренберга в 1979 году мы с друзьями Нюренберга устроили в память о нем выставку в МОСХе на Беговой. Туда пришло несколько художников и специалистов, среди которых был и Игорь Савицкий, который в то время активно собирал коллекцию для своего музея. Мы с ним познакомились, и он несколько раз приезжал к нам домой отбирать работы деда. Я навсегда запомнила этого замечательного человека, подвижника и энтузиаста. Несмотря на тяжелую болезнь – он всюду ездил с отводной трубкой из желудка – он неустанно посещал семьи художников, спасая многие работы от уничтожения, а художников от нищеты и забвения. Я очень рада, что теперь Нукусский музей носит имя его основателя. Как там висят работы Нюренберга, я не видела, но они точно не забыты, и в 1988 г. часть из них экспонировалась на выставке нукусского музея в московском музее Востока.

Кировограду как родному городу Нюренберг незадолго до смерти сам передал свои работы и часть архива; к нему в Москву приезжали сотрудники городского музея. В настоящее

время его директором работает молодая и очень энергичная Татьяна Ткаченко. В 2009 она организовала большую персональную выставку Нюренберга с приглашением прессы и телевидения, а один зал музея полностью посвятила «художникам-землякам», где работы Нюренберга висят в постоянной экспозиции.

Кстати, другом моего деда с 16 лет был известный «художник-земляк», член Бубнового валета Александр Осмеркин. Они продолжали дружить и в Москве. Но картины Осмеркина большей частью хранятся в другом музее. В Кировограде остался дом дяди художника, который был известным архитектором (в отличие от моего деда, Осмеркин происходил из образованной и зажиточной семьи). В этом доме сейчас находится персональный музей А.Осмеркина. В 2009 году я посетила Кировоград и осталась в восторге от этого старинного города и его музеев.

Как вы правильно отметили, около 70 работ Нюренберга хранятся в запасниках Третьяковки. В других ведущих музеях также есть большие собрания его работ: в музее им. Пушкина, музее Маяковского, музее Востока. Также на Украине – в Киевском национальном музее, в Одесском музее и других, а некоторые оказались в центральном российском художественном хранилище – РОСИЗО. Отдельные работы разбросаны по всей стране. Например, картину Нюренберга «В день первого дебюта» (1955), где изображена дочь художника и моя мама Нина Нелина, я передала в дар Музею Большого театра. Во всех музеях, которые я посещала, я встречала людей, которые лично знали Нюренберга, рассказывали мне о нем. Он был очень общительным человеком.

Хотя многие картины Нюренберга хранятся в запасниках, музеи предоставляют их на разные выставки. В 2010 году в московской государственной галерее «Ковчег» была устроена персональная выставка двух братьев-художников – Амшея Нюренберга и Давида Девинова-Нюренберга из собраний Третьяковки, Музея им. Пушкина, Музея Маяковского и Музея Востока. В связи с празднованием 70-летия Победы в мае этого года была открыта выставка «Искусство в эвакуации» в московском Институте Русского Реалистического Искусства. На ней были представлены четыре работы Нюренберга периода его

эвакуации в Ташкент из музея Востока. Так что нельзя сказать, что картины Нюренберга не доступны публике.

И.Ч. Вот какой вопрос. Дед у вас был из еврейской семьи, бабушка староверка. Чье влияние в большей степени вы испытали на себе? А ваша мама? Кем она себя считала? Знаю, что при поступлении в Большой театр ее заставили сменить фамилию Нюренберг на звучащую по-русски. И из Нинели Нюренберг она стала Ниной Нелиной. Как она к этому отнеслась, вы не знаете?

О.Т. Еще в юности на Украине дед испытал на себе, что значило быть евреем: существовала черта оседлости, он не мог учиться в Художественной академии, потребовалось содействие мецената Беренса. Вернувшись в родной Елисаветград в 1919 году, он узнал от родителей о еврейском погроме в городе, когда было убито и искалечено много друзей. Погром коснулся и его близкого друга, в будущем перебравшегося во Францию и ставшего известным художником-анималистом под именем Жак Констан (настоящее имя – Иосиф Константиновский). На глазах Константиновского были убиты его отец и брат, после чего тот убежал из дома. В том же году он вместе с женой навсегда покинул Родину.

Еврейские мотивы занимали в творчестве деда далеко не последнее место, особенно в графике 1920-30х гг., посвященной украинским местечкам, еврейским ремесленникам и портретам стариков, за которые его даже называли «московским Рембрандтом». Эти рисунки Нюренберг бережно хранил и в конце жизни собрал в папку под названием «Юдаика». А картиной маслом «Жертва еврейского погрома» он особенно гордился, так как она была выставлена на Осеннем Салоне в Париже 1927 года. Еврейская тематика заметно присутствовала и в его антивоенной серии 1941–45 гг., которая была выставлена в московском Центральном Доме Литераторов (ЦДЛ) сразу после войны.

У моей бабушки Полины Мамичевой, дочери московского купца, владевшего магазинами фруктов на Сretenке, после революции возникли проблемы с происхождением «из бывших». К тому же семья придерживалась старообрядческой веры. До конца жизни у нее над кроватью висела икона старообрядцев 18 века, полученная ею в подарок от матери. Полина была экстравагантна. Иногда она заявляла с вызовом:

«Я – купеческая дочь!». Но в основном ей приходилось держать язык за зубами. А в коммунальной квартире, где они жили, она даже конспиративно окликала мужа не «Амшей!», а «Алексей!». Меня это всегда смешило. Я тогда ничего не понимала. Никаких национальных и старообрядческих влияний я на себе не ощущала.

Моя мама считала себя полукровкой, но это не сильно осложняло ей жизнь. И в школе, и в Гнесинском училище, и в Большом театре она всегда привлекала к себе внимание красотой, живостью характера, прекрасным голосом. Когда в 1946 г. маму брали в Большой театр, ей сказали: «У нас – русский театр» и попросили поменять фамилию. Это было как бы условием контракта. Ее это нисколько не смутило, так как многие артисты имели псевдонимы.

И.Ч. Меня давно мучил вот какой вопрос. Трифонов был тоже из смешанной семьи – еврейки и русского. После того как в 1937-1938 году его родители были репрессированы, он жил вместе с бабушкой-еврейкой Татьяной Александровной Лурье-Словатинской. С нею он был в эвакуации в Ташкенте. Между тем еврейской темы у него нет нигде. Почему? Этот вопрос его не волновал? Или он понимал, что произведения с этой темой непроходимы? Ничего об этом не знаете?

О.Т. Во времена молодости моих родителей национальный вопрос не была столь острым. К тому же Трифонов рос в среде большевиков, которые считали себя интернационалистами. Многие вещи они воспринимали как мелкобуржуазные, отжившие свой век. Например, моя бабушка Женя (Евгения Лурье) учила меня, что о деньгах говорить неприлично. Про национальность тоже говорить было неприлично. Она подчеркнула это своим примером: когда в 1957 году в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, она на улице подходила к участникам и пожимала им руки в знак солидарности, что сейчас выглядело бы достаточно неуместно. Также нелепой кажется сейчас и вера большевиков, что дети будут воспитываться не дома, а в коммунах. Моя мама все подобные высказывания называла одним словом – «ханжество», как это описано у Трифонова в повести «Обмен».

Однажды я присутствовала на выступлении подруги бабушки Жени, прошедшей с ней ГУЛАГ, переводчицы с итальянского языка Цецилии Кин. И помню, как эта хрупкая

старушка вдруг преобразилась и грозно крикнула в зал: «Мы все тут – марксисты!» Я растерялась, т.к. совершенно не считала себя марксисткой. Такой же непримиримой и нестигаемой марксисткой была и бабушка моего отца – Татьяна Словатинская. На самом деле, ее имя и фамилия были вымышлены в большевистском подполье. Как Сталин или Молотов. В действительности, и имя, и фамилия у нее были еврейские. Однажды моя тетка Татьяна Трифонова поинтересовалась у бабушки, какое у нее настоящее имя. На что та строго ответила, что не помнит и не хочет вспоминать. Другая подруга бабушки Жени по ГУЛАГу, Клавдия Бабаева, к которой я была очень привязана, напротив, была яркой антисталинисткой. Она приезжала навестить бабушку Женю в Серебряный бор и провоцировала Словатинскую разговорами о том, что Сталин был маленького роста, весь в оспе, неказистый. Она его встречала когда-то в ЦК-овском санатории. Словатинская, чей зять был расстрелян в период сталинских репрессий, а дочь и сын отсидели сроки в лагерях, в знак протеста молча выходила из комнаты и по нескольку дней с ней не разговаривала.

Касаясь семьи и характера моего отца, хочу добавить следующее. К своей бабушке Татьяне Словатинской он относился сдержанно. Она была совсем не похожа на добрую и ласковую бабушку из детских книжек. Была строгой и суровой. Но и осуждать ее было нельзя, условия жизни ее ожесточили, сделали такой сухой. Но она выполнила обещание, которое дала зятю и дочери, когда их арестовывали: «Детей я сберегу». И она слово сдержала – спасла Юрия и Татьяну, помогла им получить образование. Свою мать отец очень любил и боялся потерять так же, как он потерял раньше отца. О возможной смерти матери он с нескрываемым страхом писал задолго до того, как она умерла. В частности, в романе «Студенты» и в повести «Обмен». От матери он многое перенял – интеллигентность, тактичность, культурные интересы, литературные способности, чувство юмора, знание иностранных языков. Но было что-то и от отца – донского казака Валентина Трифонова. Это – волевые качества, упорство, упрямство и даже жесткость в принятии решений. В молодости он был физически крепким и не раз пускал в ход кулаки. Трифонов не был таким мягкотелым интеллигентом, как многие из его героев. Это было обманчивое

впечатление. Иначе он не мог бы так успешно «пробивать» свои вещи в печать. Борис Слуцкий точно охарактеризовал это качество своего друга как «флегматичный напор».

Конечно, Трифонов очень далеко отошел от большевистских представлений о жизни, посмеивался над ними. Название романа «Нетерпение» созвучно понятию «нетерпимость», против которой Трифонов всегда протестовал. Но полностью отрешиться от воспитания, среды, семьи он не мог. Ведь не случайно тема большевиков, их морального превосходства над обычными обывателями и их мелкими интересами возникает у него во всех книгах. Было бы странно, если при таком отношении к жизни он стал бы углубляться в тему национальной принадлежности.

У отца было много друзей-евреев. Это я поняла позже, в молодости я просто не задумывалась над их национальностью. И все же, мне кажется, что еврейская проблематика в произведениях Трифонова присутствовала. Но, как всегда, он касался ее не прямо, не называя ничего своими именами. В частности, в одном из спортивных рассказов он описывал, как один из членов Советской делегации на Олимпийских играх стал напевать ему одесскую песенку: «Школа танцев Соломона Пляра. Школа бальных танцев, вам говорят...» Не был ли это намек на его национальность? А чем был вызван интерес Трифонова в поездках по Германии к теме концлагерей и оставшихся нацистов, как и у его друга Льва Гингзбурга, автора антифашистской повести «Потусторонние встречи»? Но этот вопрос требует отдельного исследования.

И.Ч. Юрий Валентинович женат был трижды, его третья жена Ольга Мирошниченко-Березко, хранительница его музея, пропагандистка его творчества. В каких вы с ней отношениях? Общаетесь ли с их сыном, Валентином?

О.Т. Как я уже говорила, с третьей супругой моего отца, Ольгой Романовной Березко (урожд. Мирошниченко, она же писательница и директор Музея Дома на Набережной Ольга Трифонова), я познакомилась в канун 1978 года. Мне сразу было дано понять, что дальше жить вместе с отцом мы не будем. Мы стали жить отдельно, и контактов было крайне мало. Ольга Романовна проявила незаурядные хозяйственные способности, на даче начались непрерывные ремонты и стройки, а в Москве – хлопоты по получению новой квартиры и

обустройству быта. Они с отцом ездили за границу, ходили на приемы и встречались с новыми знакомыми. Полностью занятая этой деятельностью, Ольга Романовна не проявляла интереса к моим детям и не способствовала их и моему общению с Валентином. Между нашими домами на даче был воздвигнут глухой забор. Овдовев, Ольга Романовна взяла на себя все хлопоты, связанные с литературным наследием отца, и стала активно пропагандировать его творчество. Благодаря ей, его книги регулярно выходили даже в трудные 1990-е годы. Мне из-за границы не очень просто вмешиваться в этот отлаженный механизм. Как учат информатики: «Never touch the running system» («Никогда не трогай работающую систему»).

И.Ч. Чем вы сейчас занимаетесь? Думаете ли еще писать об отце и матери?

О.Т. Сейчас я живу в Дюссельдорфе вдвоем с мужем, так как наши трое детей разъехались по другим городам. На общественных началах я работаю в Akademie-Galerie – музее Дюссельдорфской художественной академии. Это занятие мне нравится, так как я люблю искусство, мой дед был художником и обе дочки закончили эту академию. У музейных работников есть привилегии – свободный вход в музеи и на выставки во многих странах мира. А кроме того, благодаря музею, у меня сложился свой круг немецких знакомых.

Конечно, у меня есть желание написать историю моих родителей. Тем более, что часто читаю о них совершенно несуразные вещи. Продолжаю заниматься архивами Нюрнберга. Моя бабушка Полина Мамичева оставила большое эпистолярное наследие, где много неожиданных и парадоксальных рассуждений. Она часто писала очень резко, но обладала проницательным умом. Еще я хотела бы написать о том, как мы с мужем и тремя детьми перемещались по миру. Но все это требует много времени. Возможно, этот труд завершат наши дети. И они тоже начнут рыться в архивах. Пока у них не возникло такого желания, но и у меня оно появилось не сразу.

И.Ч. Как вы относитесь к экранизациям романов отца и к спектаклям по ним? «Дом на набережной» был поставлен Таганкой. Лично меня этот спектакль потряс. В роли Глебова я видела Золотухина, перевернувшего мои представления об его актерских возможностях. Могу сказать, что и фильм Урсуляка по повести «Долгое прощание» не только оставил сильное

впечатление, но и дал толчок к мыслям о семейной трагедии писателя, лежащей, как кажется, в основе повести и фильма.

О.Т. Спектакли «Обмен» и «Дом на набережной», поставленные на Таганке Юрием Любимовым, были очень удачны. Надо учитывать, что сыграло роль содружество двух мастеров – Трифонова и Любимова. Трифонов сам писал пьесы по своим повестям, а Любимов славился неординарными сценическими решениями. Мне кажется, что артисты у Любимова были скорее статистами, выразителями идей драматурга и постановщика, чем самостоятельными личностями. Хотя, пройдя школу в таком театре, многие стали великолепными исполнителями. Почему-то в спектакле «Обмен» мне больше всего запомнился второстепенный персонаж – маклер, очень смешно сыгранный Семеном Фарадой. Как всегда, очень оригинальны были декорации художника Давида Боровского. При том, что повести Трифонова статичны, в этих спектаклях много динамики. Немного мешала излишняя плакатность. Трифонов был тоньше, он избегал всякой нарочитости. Любимов же был более политизирован, что в Советском Союзе работало очень эффективно.

Что касается фильма С.Урсуляка «Долгое прощание», то тут у меня больше замечаний, хотя фильм сделан тонко, с большой любовью к творчеству Трифонова. Но весь сценарий сосредоточен на любовном треугольнике и появлении четвертого влиятельного лица. По сути, получается нечто вроде «Служебного романа». Не могу себе представить, чтобы сам Трифонов мог написать такой сценарий, мог так сузить и упростить содержание своей повести. Ведь повесть не о том, изменяла ли Ляля своему супругу и с кем, а о том, как происходило взросление героя и становление его как творческой личности. «Долгое прощание», как часто у Трифонова – многозначное понятие. Это прощание не только с Лялей (со своей первой любовью), но и со своей молодостью, наивностью, неприспособленностью. Это – автобиографическое прощание с самим собой. А в фильме это совсем не прописано.

Мне бы очень хотелось, чтобы был снят фильм по написанному самим Трифоновым сценарию «Бесконечные игры». К сожалению, этот фильм никогда не был поставлен. Видимо, тема считалась слишком камерной, бытовой. Но опять

же, все зависит от того, как сделать. А мне бы очень хотелось увидеть в этом фильме моего молодого отца с его безумной увлеченностью спортом и неумением общаться с любимой женщиной, неприязненные отношения с тещей, Дом художников на Верхней Масловке и старый стадион «Динамо» поблизости. Мне все это так знакомо. А «бесконечные игры» в моем представлении – это невозможность остановить убегающее время.

И.Ч. Последний вопрос очень деликатный. Ваша мама, как кажется, стала жертвой бесчеловечной сталинской системы, когда всеильный нарком, прислужник главного сатрапа, мог претендовать на любую понравившуюся ему женщину. До сих пор в России об этих женщинах, жертвах насилия злодея-сластолюбца, говорят разве что шепотом. Почему, как вы думаете, в людях нет возмущения, негодования против его преступлений? Почему, как правило, во всем винят несчастную жертву и она, должна оставаться в одиночестве, на пару со своей сломанной судьбой?

О.Т. Когда мама умерла, я была подростком, и, как вы понимаете, никто мне о Берии не рассказывал – ни отец, ни бабушка с дедушкой. Однако позже до меня дошел слух, что после разоблачения сталинизма в Большой театр поступил большой список певиц и балерин, которых привозили в особняк Берии, где значилась и моя мама. Вот и все. Потом это обросло подробностями. Насколько я могу судить, жизнь моей мамы эта неприятная история не поломала и на отношения с отцом не повлияла. Поэтому особенно драматизировать этот эпизод не стоит.

На самом деле, конфликты у матери с отцом происходили совсем на другой почве. Главная проблема состояла в том, что оба были творческие личности. И оба очень рано стали успешными. Сразу после окончания Гнесинского училища, не имея высшего музыкального образования, Нелина в 23 года была принята в четыре оперных театра Советского Союза – во Львовскую и в Киевскую оперы на Украине, в Музыкальный театр им.Станиславского и в Большой театр в Москве. Она обладала яркой внешностью и красивым сопрано. Проработав 1945 год в Киеве, она предпочла перейти в Большой театр, где была солисткой 11 лет. Ее сольный дебют в роли Розины в «Севильском цирюльнике» Россини, который она готовила под

руководством Валерии Барсовой, блестяще прошел в 1948 году. В журнале «Смена» была напечатана большая статья о Нелиной под заголовком «Самая молодая Розина». Перед ней открывались хорошие перспективы.

Трифонов в 25 лет стал самым молодым лауреатом Государственной премии, полученной им за роман «Студенты». По роману был поставлен спектакль «Молодые годы» в театре им. Ермоловой. Его приглашали на бесчисленные встречи с читателями, о нем передавали по радио, писали в газетах.

Но в 1960-е годы оба переживали творческий кризис. У отца был 10-летний застой после публикации первого романа, он ездил в командировки в Туркмению, собирая материал для романа «Утоление жажды», публиковал спортивные очерки и рассказы, но по большому счету ему не писалось. У мамы испортился голос, она из Большого театра перешла в Филармонию. Ездил с концертами по стране, уставала. Оба нервничали и не щадили самолюбия друг друга. Теща настраивала дочь против мужа, свекровь «не одобряла» невестку. Отец сумел преодолеть кризис, нашел в себе силы начать все заново. Мама не смогла. Она была слишком экспансивная, невыдержанная. У отца были крепче характер, крепче нервы. Но он признавал, что не смог поддержать маму, оставил ее наедине с самой собой, эгоистически махнув на все рукой. Почему она оказалась одна в Друскининкае? Почему он не приехал, когда она попросила его об этом по телефону? Совесть мучила его очень долго, создавая ту почву, на которой выросли его лучшие произведения.

ЧАСТЬ 2
ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА.
ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА И
КУЛЬТУРА



ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ
Филадельфия, США

Пение

Ирине Чайковской

Сегодня среда иль опять воскресенье?
хотя все равно что за день или час –
Только бы длилось высокое пение:
Анна Нетребко и волной Хворостовского бас.

Это они поднимают на гребне
чувств, и звуков, и мыслей, и слов,
это они зовут к воскресной обедне,
сдвинув быта тяжелый засов.

Это в доме, когда и темно, и тихо, и пусто -
видишь и слышишь кромешную тьму –
Хворостовский вдруг запоеет в тишине
по-земному весомо и густо,
и Анна небесною трелью ответит ему –
или мне?

Филадельфия, ноябрь 2015

2.1. ИСТОРИЯ

ЛЕВ БЕРДНИКОВ
Лос-Анджелес, США

Творители и лживцы *Эссе*

Невероятные истории о волке, запряженном в сани, об олене, на голове которого выросло вишневое дерево, о восьминогом зайце, о коне, привязанном к маковке колокольни, – знакомы нам с детства и связаны с именем «самого правдивого человека на свете»: легендарного барона Мюнхгаузена. Одних только книг о его всевозможных приключениях насчитывается сегодня свыше шести сотен; о нем ставятся пьесы; снимаются кинофильмы. В литературе появлялись и появляются многочисленные «клоны» Мюнхгаузена (достаточно назвать Тартарена из Тараскона, астронавта Йона Тихого и капитана Врунгеля).

Сей популярнейший литературный герой имел своего вполне реального прототипа. Им был барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (1720-1797) из городка Боденвердера, что неподалеку от Ганновера (теперь здесь создан его мемориальный музей). Примечательно, что добрый десяток лет он прослужил в России, куда последовал в свите немецкого принца Антона Ульриха Брауншвейгского; принял участие в Русско-турецкой войне 1735 – 1739 гг. и отличился при взятии Очакова. В официальных бумагах сохранились отзывы о нем как об офицере бравом, исполнительном и весьма находчивом. В 1750 г. Мюнхгаузен вышел в отставку в чине ротмистра и, навсегда покинув Московию, окончательно обосновался в родном Боденвердере. Образцовый семьянин, хлебосол и записной остроумец, он потчевал многочисленных гостей не только горячим пуншем и отменной снедью, в коих знал толк, но и удивительными рассказами о своих приключениях. Слушать его байки съезжалась публика не только с предместий Ганновера, но и со всей Германии.

Уже при жизни Мюнхгаузену суждено было снискать всеевропейскую славу. Произошло это исключительно благодаря борзописцам от словесности. Воспользовавшись репутацией барона как отчаянного вряля, они приписали ему такие неслыханные подвиги, о коих всамделишный Мюнхгаузен не мог даже и помыслить. А все началось с того, что в 1785 г. в Лондоне вышло издание его земляка из Ганновера Рудольфа Эрика Распе (1737 – 1794) под заглавием «Рассказы барона Мюнхгаузена о его необычайных путешествиях и походах в России». Книга сразу же стала бестселлером и была сметена с прилавков читателями в первые же недели. Исследователи установили широчайший круг источников, творчески переработанных Распе для сего сочинения. Это и комедии Древней Греции, и фацетии времен Ренессанса, и немецкие фавлю XVI века, и популярные в XVIII веке сборники анекдотов, и т.д. Из сих разрозненных и разнородных историй автор сотворил единый литературный сплав, объединенный колоритной фигурой рассказчика-выдумщика.

В 1786 г. в Геттингене (хотя на титуле для конспирации значится Лондон) печатается на немецком языке издание «Удивительные путешествия на воде и суше, походы и веселые приключения барона Мюнхгаузена, как он сам их за бутылкой вина имеет обыкновение рассказывать». Автором этого варианта был профессор Готфрид Август Бюргер (1747 – 1794). В его изложении произведение увеличилось на треть и приобрело новую окраску. Существенно, что литературный Мюнхгаузен, от лица которого здесь ведется речь, не просто измышляет и фантазирует – он доводит до гротеска и абсурда способность человека солгать, прихвастнуть. А потому рассказанные им небылицы – это не ложь в собственном смысле слова, ибо на самом деле они-то и разоблачают ложь, выставляя ее в самом неприглядном и комическом виде. Не случайно Мюнхгаузен назван автором «карателем лжи».

Речь пойдет здесь не столько о восприятии Мюнхгаузена и его удивительных «приключений», сколько о так называемом «синдроме Мюнхгаузена» в России. Термин этот принадлежит к области психиатрии и, понятно, к самому легендарному барону непосредственного отношения не имеет. Люди, одержимые сим синдромом, стремятся привлечь к себе внимание собственными вымыслами, подчас самыми фантастическими, которые они

выдают за реальность. Считаем возможным применить этот термин и к сфере русской культуры. Это тем более уместно, что подобные персонажи существовали в России до появления не только рассказов о Мюнхгаузене, но и самого их прототипа.

Еще одно предварительное замечание. Стихотворцу и филологу XVIII века В.К. Тредиаковскому принадлежит знаменательное высказывание: «По сему, что поэт есть творитель, еще не наследует, что он лживец...». Как мы покажем, сам образ рассказчика невероятных историй существовал в русской культуре XVIII – начала XIX века в этих двух ипостасях: «творитель» – «лживец». Сознаем, что такое разграничение несколько схематизирует культурный процесс рассматриваемой эпохи. Подчас в одном явлении и даже у одного и того же лица или героя свойства тривиального лжеца и вдохновенного художника (изобретателя «остроумных вымыслов») соседствуют, и выявить их в чистом виде бывает порой затруднительно. Тем не менее, такая, на первый взгляд, грубая градация обладает известной точностью и подтверждается конкретным историческим материалом.

Невероятное и неправдоподобное берет свое начало в фольклоре всех народов мира. А в русском народном творчестве издавна существовал специальный жанр: «небылица в лицах» или «небывальщина». Пронизанные шутовским, скоморошьям началом, небывальщины были исполнены всякого рода несообразностями, вызывающими комический эффект:

*«Медведь летит по поднебесью,
В когтях же он несет коровушку...
На дубу свинья да гнездо свила,
Гнездо свила да детей вывела».*

Как отметил фольклорист Б.Н. Путилов, «вероятность восприятия небылиц в параметрах достоверности начисто исключается». Сказитель из народа (бахарь, скоморох) и не претендовал на правдоподобие, руководствуясь известной русской пословицей: «Не любо – не слушай, а лгать не мешай».

Любопытные образчики фантазмагорических историй, рассказываемых в стародавние времена, приводит историк А.О. Амеликин в своей статье «Российские Мюнхгаузены» (Вопросы

истории, № 4-5, 1999). Так, из XVI века до нас дошел сказ, как один крестьянин спасся тем, что крепко ухватил за хвост огромную медведицу, которая якобы вытащила его из глубокой пучины. Некий заезжий иноземец слышал от поселян и историю о том, что зимой на Днепре слова путешественников замерзают, а весной оттаивают. Другой рассказчик самым серьезным тоном убеждал собеседников, что владеет чудодейственным растением, из семени которого вырастает ягненок пяти пядей вышиною. Удивительно, что эти и им подобные байки часто принимались на веру иностранными визитерами, воспринимавшими экзотическую Московию как страну чудес, где и «небывалое бывает»...

Впрочем, наблюдались и примеры обратного свойства: когда россияне сами оказывались ошеломленными рассказами выходцев из-за рубежа. В 1761 году из Лондона в Петербург прибывает Федор Александрович Эмин (1735-1770), определяется преподавателем в Сухопутный кадетский корпус и уже через два года печатает собственные сочинения и становится одним из самых плодовитых и читаемых российских писателей. Его романы (Непостоянная Фортуна, или Похождения Мирамонда. – Спб., 1763. – Ч.1-3; Приключения Фемистокла... – Спб., 1763; Награжденная постоянность, или Приключения Лизарка и Сарманды. – Спб., 1764 и др.), назидательно-моралистические «Письма Эрнеста и Доравры» (Спб., 1766. – Ч.1-4), а также компилятивные труды по истории составили 19 томов, и большинство из них многократно переиздавались в XVIII веке.

Плодом бурной фантазии этого литератора стала сама его жизнь, о коей он давал различным лицам самые противоречивые сведения, меняя их в зависимости от требований текущего момента. «Все попытки установить подлинную биографию Федора Эмина, – пишет по сему поводу Г.А. Гуковский, – были безуспешны; он создал о себе столько легенд, так запутал вопрос о своем происхождении, что отличить выдумку от правды крайне затруднительно».

Существует по крайней мере четыре варианта биографии Эмина. Согласно одной из версий, он родился в Константинополе. Отец его, Гусейн-бек, был губернатором Лепанта, мать – невольницей-христианкой. Получив превосходное домашнее образование, он продолжил обучение в

Венеции. По возвращении же из Италии, узнав, что отец его сослан, Эмин организовал его побег и вместе с ним нашел приют у алжирского бея. Там Эмин принял участие в алжиротунисской войне, где проявил такую отвагу и доблесть (он, между прочим, конвоировал плененного тунисского бея), что был удостоен звания «кавалерийского полковника». Отличился на поле брани и Гусейн-бек, получивший после войны должность губернатора Константинской и Бижийской провинций; однако вскоре он умер от ран.

Эмин вернулся в Константинополь, а оттуда, дав обещание матери принять христианство, направился в Европу торговать пряностями. В пути на его корабль напали морские пираты. Эмин попал в плен, откуда сумел бежать в португальскую крепость, объявил там о своем желании креститься и был отправлен в Лиссабон. Здесь, по именному распоряжению короля, он обучается догматам христианской религии под руководством самого кардинала. Но, убедившись, что ему более по сердцу православие, он отказывается от обращения в католичество и отбывает из Португалии в Туманный Альбион. Прибыв в Лондон, он незамедлительно является к русскому посланнику А.М. Голицыну, принимает крещение и отбывает в Россию.

Когда в 1768 году грянула русско-турецкая война, в условиях которой турецкое происхождение нашего героя говорило не в его пользу, Эмин мимикрирует и изменяет собственную биографию. Просветитель Н.И. Новиков в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (Спб., 1772) приводит, со слов того же Эмина, совершенно иные данные о Федоре: родился тот якобы в Польше или в пограничном с нею русском городе; некий иезуит обучил его латинскому языку и другим наукам, а затем взял с собой в заграничное путешествие. Поколесив довольно по Европе и Азии, странники прибыли в Турцию, где Эмин был взят под стражу. Чтобы избежать «вечной неволи», он принял ислам и несколько лет вынужден был прослужить янычаром, не оставляя при этом надежды вернуться на родину. Познакомившись по случаю с капитаном английского корабля, он упросил взять его с собой в Лондон. Там-то Эмин и принял «природную свою христианскую веру».

Другому лицу Эмин поведал, что родился в венгерском городке Липпе, на самой турецкой границе; отец его венгр, а

мать поляка; обучался он в иезуитском училище, где слыл одним из лучших учеников. Сохранился также рассказ одного «достойного веры» человека, что Эмин, дескать, родом был из местечка, находившегося неподалеку от Киева; учился в Киевской академии, где весьма преуспел в риторике, грамматике, философии, богословии и латыни; что жил наш герой в бурсе, но, имея склонность к путешествиям, оставил Малороссию, и «слышно было», что он находился в Константинополе. Вот такие версии...

Для нас не столь уж существенно, какая из биографий Эмина более всего соответствует действительности. Важно, как оценивали фантастические обстоятельства его жизни современники. И в этом отношении весьма показательны слова проницательного Н.М. Карамзина, назвавшего жизнь Эмина «самым любопытнейшим из его романов». Хотя романы не пользовались у законодателей русского классицизма (В.К. Третьяковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова) высокой репутацией, сам Эмин был их ревностным популяризатором. «Романы, изрядно сочиненные, и разные нравоучения и описания земель в себе содержащие, – говорил он, – суть наиболее полезные книги для молодого юношества и приключению их к наукам. Молодые люди из связно-сплетенных романов основательнее познать могут состояние разных земель, нежели из краткой географии... Роман и всякого чина и звания людям должен приносить удовольствие».

Биография Эмина, обрастая все новыми и новыми подробностями, служила основой и фабулой для многих его романов. Автор упорно отождествлял себя с героем собственных книг. Обращает на себя внимание книгопродавческое объявление, которое поместил Эмин об одном своем романе в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 6 июня 1763 года: «Продается книга Мирамондово похождение..., в которой сочинитель описывает разные свои [курсив наш – Л.Б.] приключения и многих азиатских и американских земель обыкновения».

Катаклизмы, выпавшие на долю героя его романа, стремительно сменяют друг друга, держа читателя в постоянном напряжении. Эмин ловко и к месту вводит в повествование конкретные детали быта и нравов иных стран и народов (Египта, Португалии и др.) и даже дает медицинские

рецепты (кускуса, например). Он заботится о достоверной подаче фантастического, приправляя текст скрупулезными описаниями вполне реальных фактов и событий. Так, он живописует разрушения, вызванные землетрясением в Лиссабоне 1755 года, сообщает подробности противостояния иезуитов и королевского Двора в Португалии и т.д. Эпизодами из жизни писатель наполняет и сочинения иных жанров: так, в книге «Краткое описание древнейшего и новейшего состояния Оттоманской Порты» (Спб., 1769) он распространяется о том, как вступил «по нужде» в янычары.

Ясно, что неправдоподобные повествования о жизни «творителя» Эмина воспринимались как плод остроумного вымысла, рассматривались в ряду произведений словесности, а потому они обретали в русской культуре эстетический статус.

Однако, Эмин вымышлял не только в «изустных рассказах» и творимой им литературе, но и в трудах по истории. Речь идет прежде всего о его «Российской истории жизни всех древних от самого начала России государей...» (Т.1-3. Спб., 1767-1769), обратившей на себя внимание книголюбцев обилием ошибок и неточностей. Труд сей наполнен ложными ссылками на показания историков и на никому не известные летописи. Чтобы подтвердить свои, часто весьма спорные, утверждения и голословные факты, Эмин ссылается на выдуманные им источники, для вящей убедительности указывая при этом несуществующие том и страницу. Что это как не «синдром Мюнхгаузена» – Мюнхгаузена от науки, стремящегося ошеломить читателя глубиной знаний и широтой эрудиции, оставаясь на деле недобросовестным дилетантом? Исторические анахронизмы, искажение географических имен и понятий дополняет представление о научной «ценности» «Российской истории...», вызвавшей уничтожающие сатирические стихи литератора М.Д. Чулкова в журнале «И то и сию» (1769):

*«Кто цифров не учил, по летописи строит
И Волгою берега Санктпетербургски моет, -
Дурак.
Кто взялся написать историю без смысла
И ставит тут Неву, где протекает Висла, -
Дурак.»*

Как историк Эмин снискал себе сомнительную славу «лживца», и именно поэтому сей труд, в отличие от других его сочинений, ни разу не переиздавался и был вскоре благополучно забыт.

ЕЛЕНА ПАЦКИНА
Москва, Россия

**Василий Ключевский. История не учительница, а
надзирательница...**

Воображаемый разговор с историком²

Василий Осипович Ключевский (1841–1911) родился в селе Вознесенское Пензенской губернии в семье священника, окончил Пензенскую духовную семинарию, но, отказавшись от духовной карьеры, поступил на историко-филологический факультет Московского университета и в 1865 году окончил его. С 1867 г. преподавал историю в различных учебных заведениях. В 1872 защитил магистерскую, а в 1882 – докторскую диссертации. Ключевский обладал необычайно широким историческим кругозором: темы его лекций – от начала Руси до XVIII века. Был признанным главой московских историков, отличался блестящими ораторскими способностями; на его учебниках воспитывалось множество гимназистов и студентов. Его деятельность нашла широкое признание при его жизни: с 1890 г. он – действительный член С.-Петербургской академии наук по русской истории, а с 1908 – почетный академик по разряду изящной словесности. Умер в Москве.

Медиум: Глубокоуважаемый Василий Осипович, Вы всю жизнь занимались русской историей. Скажите, пожалуйста, чему нас может научить история?

² Все ответы в воображаемых диалогах построены автором с использованием точных цитат из высказываний его героев.

В. К. – История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков.

М. – Если история не учит, стоит ли тратить время на изучение того, что уже прошло?

В. К. – Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.

М. – Однако, говорят, что опыт – тоже неплохой учитель. Может, надо не учиться, а просто жить?

В. К. – Жизнь учит лишь тех, кто её изучает.

М. – Иногда приходится видеть людей весьма ученых, которые, тем не менее, очень неважно разбираются во всем, что не касается их предмета. Что Вы об этом скажете?

В. К. – Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, то есть умение пользоваться знанием как следует.

М. – Кстати, о науке – сейчас многие серьезнейшие вопросы решаются с помощью статистики: власти таким образом узнают общественное мнение по всем вопросам; начальство СМИ судит о материалах по рейтингам и так во всем. Ваше мнение на этот счет?

В. К. – Статистика есть наука о том, как, не умея мыслить и понимать, заставить это делать цифры.

М. – Это правда. Но цифры не объяснят нам, почему, обладая огромными природными богатствами, Россия пока отстает по уровню жизни от Запада.

Иногда слышишь мнение, что русские люди очень талантливы, но ленивы. Как Вы считаете?

В. К. – В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много.

М. – Да, мы до сих пор не можем вывести в России пресловутый средний класс, и никто толком не может сформулировать, кого туда относить. У нас сплошные крайности. Видимо, нам просто не хватает умных людей.

В.К. – Надобно не жаловаться на то, что мало умных людей, а благодарить Бога за то, что они есть.

М. – Мы благодарим, но иногда недостаточно, а потому часто умные люди не умеют приспособиться к суровым рыночным условиям и едва сводят концы с концами. Что бы Вы, с Вашим опытом, могли им посоветовать?

В.К. – Простейший способ не нуждаться в деньгах – не получать больше, чем нужно, а проживать меньше, чем можно.

М. – Конечно, Вы правы, но не всякий сумеет так построить свою жизнь. Вот я, например, по профессии журналист, а не аскет. Кстати, что Вы думаете о нашей прессе?

В.К. – Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает, и знать то, что не понимает.

М. – Увы, трудно не согласиться. Но теперь хочу спросить о другом: наши власти уже много лет ищут «русскую идею», которая бы помогла возрождению России. Вы не посоветуете, где её искать?

В.К. – Великая идея в дурной среде извращается в ряд нелепостей.

М. – Тогда, может быть, лучше не искать. А что Вы думаете о некоторых верующих в Бога, но довольно агрессивных по отношению к другим конфессиям и вообще не толерантных людях?

В.К. – Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в черта.

М. – Бывает и так. Как историк, Вы знаете наше прошлое. А что Вы думаете о будущем?

В.К. – Наше будущее тяжелее нашего прошлого и пустее настоящего.

М. – Печальный прогноз. Но, может, «мир спасет красота», как считал наш великий классик? Что Вы, профессор, думаете об искусстве?

В.К. – Искусство – суррогат жизни, потому искусство любят те, кому не удалась жизнь.

М. – Звучит грустно. Что Вы думаете вообще о жизни?

В.К. – Было бы сердце, а печали найдутся.

М. – Значит ли это, что невозможно быть счастливым в нашем несовершенном мире?

В.К. – Быть счастливым значит быть умным. Быть умным значит не спрашивать, на что нельзя ответить. Потому быть счастливым значит не желать того, чего нельзя получить.

М. Спасибо, уважаемый профессор, за содержательную беседу. Не хотите ли сказать нам что-то в напутствие на прощание?

В.К. – Самый веселый смех – это смех над теми, кто смеется над тобой.

Самый непобедимый человек – это тот, кому не страшно быть глупым.

М. – Мы, Ваши потомки, желаем Вам вечного блаженства.

В.К. – На земле я так привык к аду, что на том свете меня можно наказать за грехи только раем. Значит, мое загробное будущее хорошо обеспечено.

КСЕНИЯ КРИВОШЕИНА

Париж, Франция

Святая наших дней

К 70-летию со дня гибели матери Марии (1891-1945)

Представляем книгу: Ксения Кривошеина. Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней. М., Эксмо, 2015

В этой книге впервые публикуется подробная биография монахини Марии (Скобцовой), летопись земного пути женщины, чье имя входит в совсем не многочисленный список людей, о которых можно было бы сказать, что это настоящие христиане XX века. Ее жизнь, сначала в России, а затем в эмиграции, была очень деятельной и яркой. Мать Мария открывала бесплатные столовые, дома для престарелых и бездомных. Во время Второй мировой войны и оккупации Франции она спасала и укрывала советских военнопленных. Эта опасная деятельность связала ее с французским Сопротивлением и в результате привела к ее трагической гибели в концлагере Равенсбрюк. Имя матери Марии до сегодняшних дней используют как знамя для самых разных идей, а с ее жизнью и прославлением в Русской православной церкви связано много споров и недомолвок. В СССР ее преподносили обществу как партизанку и большевичку, а на Западе – как борца с косным православием и заступницей евреев.

Это противостояние вокруг многогранной личности матери Марии (Скобцовой) продолжается до сих пор.

Монахиня Мария на протяжении всей жизни по-разному подписывала свои произведения: Лиза Пиленко, Е.Ю. Кузьмина-Караваева, Е. Скобцова, Юрий Данилов, Ю.Д. и Д. Юрьев, ММ и, под самый конец, мать Мария. Что же скрывалось за этим перечнем подписей, как не поиск себя, личности, которая всей своей парадоксальностью до сих пор вызывает споры не только в художественной среде, но и в церковной. Может быть, лишь в 2004 году, когда она была названа Святой матерью Марией (Скобцовой), наконец окончательно оформилась эта личность?



Елизавета Кузьмина-Караваева 1914 г

Ее деятельность всегда вызывала у одних интерес и восхищение, у других – осуждение и недовольство. Она была просто женщиной: грешила, несколько раз выходила замуж, и дети ее – все от разных мужей; она влюблялась, курила, была активной эсеркой, нажила массу недоброжелателей, ко всему прочему была поэтом и художником... И вдруг приняла постриг и стала монахиней в миру.

Монахиней тоже странной, не традиционной которая вызывала много нареканий и недовольства в церковной среде, и до сих пор эти споры не утихают. Но не будем забывать, что она была дочерью своего времени, той Европы и России, которая чаяла катастроф и взрывов, чуяла и предрекала безысходность. Ее вера в Господа была и неугасимой лампадой, и теплом, согревавшим одиноких людей и питавшим ее творчество.

События, перевернувшие историю России в 1917 году и последовавшая гражданская война, непосредственно коснулись Елизавету Юрьевну Кузьмину-Караваеву – будущую мать Марию. Эти «окаянные дни» стали во многом поворотными в ее дальнейшей судьбе, которая вынесла ее за пределы России в исход, где началась ее вторая жизнь.

Со смертью дочери Гаяны вплоть до начала войны она всё чаще в своих стихах говорит о смерти. Её грёзы наяву о собственной гибели, исчезновении от огня оказались пророческими. Будто недели и часы, которые она проведёт в лагере Равенсбрюк через пару лет, были уже заранее описаны ею в рисунках и поэмах. Не дожив до победы двух месяцев, она погибла в печах концлагеря Равенсбрюк.

Встреча с Александром Блоком

В декабре 1907 года двоюродная сестра Лизы, Ольга Щастливцева, желая выбить её «из колеи патетической тоски и веры в бессмыслицу», пригласила её на один из поэтических вечеров. В своих воспоминаниях к пятнадцатой годовщине смерти А. Блока м.Мария пишет: «Я была для неё «декадентка». По доброте душевной она решила заняться мной. И заняться не в своём, а в моём собственном духе. Однажды она повезла меня на литературный вечер какого-то захолустного реального училища, куда-то в Измайловские роты. В каждой столице есть своя провинция, так вот тут была своя измайловско-ротная, реального училища – провинция. В рекреационном зале много молодого народу. Читают стихи поэты-декаденты. Их довольно много. Один высокий, без подбородка, с огромным носом и с прямыми прядями длинных волос, в длинном сюртуке, читает весело и шепеляво. Говорят, это Городецкий.

Другой – Дмитрий Цензор, лицо не запомнилось. Еще какие-то, не помню. И ещё один. Очень прямой, немного надменный, голос медленный, усталый, металлический.



Александр Блок. 1907 год

Тёмно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное. Читает стихи, очевидно новые, «по вечерам, над ресторанами», «Незнакомка»... и ещё читает.

В моей душе – огромное внимание. Человек с таким далёким, безразличным, красивым лицом. Это совсем не то, что другие. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю. Что-то отмеченное... В стихах много тоски, безнадёжности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они не вне меня, они поют во мне самой, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что ОН владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам этого города.

Спрашиваю двоюродную сестру: «Посмотри в программе – кто это?»

Отвечает: «Александр Блок».

О странной гипнотизирующей манере поэта читать стихи вспоминает и М. Волошин: «Сам он читает свои стихи неторопливо, размеренно, ясно, своим ровным, матовым голосом. Его декламация разворачивается строгая, спокойная, как ряд гипсовых барельефов. Все отгнено, построено точно, но нет ни одной краски, как и в его мраморном лице. Намеренная тусклость и равнодушие покрывают его чтение, скрывая, быть может, слишком интимный трепет, вложенный в стихи. Эта гипсовая барельефность придает особый вес и скромность его чтению»

В этот темно-рыжий, нескончаемо холодный период её жизни, превратившийся из месяцев в годы тоски, произошло чудо! На следующий день она нашла книжку стихов Блока, вчиталась и поняла, что это навсегда. Она услышала не только голос, но и встретила родственную душу: «Я не понимаю... но и понимаю, что он знает мою тайну. Читаю всё, что есть у этого молодого поэта. <...> Я действительно в небывалом мире. Сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, ещё о тоске и... о восторге!»

Ей было 16, поэту почти 30

Стихи, весь облик Блока, созвучные мысли, родили в её голове абсолютную уверенность что он – это живое воплощение Мудреца. Он знает сокровенные тайны мира, он предвидит и наверняка сможет ответить на мучившие ее вопросы. Нет сомнений, что она влюбилась в него с первого взгляда, это была любовь без стыдливости хорошо воспитанной барышни, это была любовь не поклонниц талантов великих певцов и актеров, нет, это была встреча своего второго Я, которая чудесным образом в отчаянный момент жизни была послана ей во спасение. Она узнаёт его адрес и 6 февраля 1908 года идёт к нему на Галерную. В одном из своих текстов она пишет: «Я шла как на плаху!». Она приходила к Блоку дважды и не заставляла дома, ждала у подъезда.



Имение Слепнево. 1911. Стоят: Д. Кузьмин-Караваев, Лиза Кузьмина-Караваева, Анна Ахматова и М. Сверчкова

На третий раз попросила горничную разрешения подождать поэта в его кабинете. «Жду долго. Наконец звонок. Разговор в передней – входит Блок! Он в чёрной широкой блузе с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете. Очень тихий, очень застенчивый. Я не знаю с чего начать. Он ждёт, не спрашивает, зачем пришла. Мне мучительно стыдно, кажется всего стыднее, что, в конце концов, я ещё девочка, и он может принять меня не всерьёз».

Он долго молчал, внимательно слушал, ей удалось разговорить поэта; за окном уже темно, зажигаются фонари. По необъяснимым обстоятельствам эта почти девочка сумела вызвать в нем отклик: «Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце, скорее, материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно». Реакция наивная, она не знала, что Блок был увлечен Н.Н. Волоховой, и разговор с Лизой был своего рода мыслями вслух, размышлениями о себе и его любовных переживаниях.

Материнская встревоженность у 16-летней девушки к взрослому мужчине?! Может показаться странным, но таков уж был у неё характер – она опекала, покровительствовала и любила тех, кто был слабее её, кто нуждался в ней. Даже к собственной матери она относилась как к младшей сестре, постоянно заботясь о ней.

Через неделю она получила от него письмо из Ревеля, в ярко-синем конверте, в которое он вложил свое стихотворение, посвященное ей:

*Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите всё о печальном...
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту -
Что же? Разве я обижу вас?*

*О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я – сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.*

*Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Все же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и
о небе.*

*Право, я буду рад за вас,
Так как – только влюбленный
Имеет право на звание человека.*

В своем письме он говорит об умерших, ему кажется, что Лизе нужно искать выход, может быть, в соединении с природой, в соприкосновении с народом: «Если не поздно, то бегите от нас умирающих». Её реакция бурная: «Не знаю, отчего я негоую. Бежать – хорошо же. Рву письмо и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, человек, всё понимающий, понимающий, что, значит бродить без цели по окраинам Петербурга и что значит видеть мир, в котором Бога нет».

Не прошло и нескольких месяцев, как Лиза знакомится с молодым поэтом Николаем Гумилевым, студентом университета. Он читает ей стихи и как бы шутливо за ней ухаживает; уже тогда за ним закрепилась роль «рокового обольстителя». Пройдет несколько лет и он «перепосвятит» ей свое стихотворение «Это было не раз...», написанное ранее для А. Горенко (Ахматовой).

*Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отрелась,
Завтра, знаю, вернёшься покорной...*

Его мимолетное увлечение Лизой можно отнести к зиме 1908-1909 гг. Со временем между двумя поэтессами, Анной и Елизаветой, установились довольно натянутые отношения. Гумилев же сохранил по отношению к Лизе Пиленко самые добрые чувства. Пройдет несколько лет и он познакомит Лизу с ее будущим мужем Д. В. Кузьминым-Караваевым и они вместе 20 октября 1911 года откроют первый «Цех поэтов», в котором молодая А. Ахматова и Елизавета Кузьмина-Караваева станут активными участницами.

2.2. ПРОЗА

НИКОЛАЙ БОКОВ
Париж, Франция

Повесть о Маше (отрывок)

Инвалид – человек, у которого возможности его жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений... (из русской Википедии)

Пожаловаться ближнему – это ведь почти помолиться. Он покивает головою сочувственно, вздохнет, а если кстати, возмущенно промолвит: «Ну, это уже ни в какие ворота!»

Не пора ли, однако, сдаваться? Рычагами завладели новые люди, они моложе, полные сил. У них другое мироощущение, они не постигают твоих намерений, и твои действия им помеха.

Вот я изменил положение кнопки в комнате. Теперь дочь могла доставать до нее рукою. Автоматическая дверь открывалась, и она выезжала на своем кресле в коридор.

Самоуправство с кнопкою вызвало негодование, крик. Позвали жандармов! История крохотная, но и тут пали санкции: мне запретили входить в комнату дочери.

Странные сообщающиеся сосуды: увеличив свободу передвижений Марии, я уменьшил свою. Поделился, так сказать. Это случилось в 2014 году, добавлю ради моей слабости к хронологии. Сто лет первой войне мировой, кстати. Если серьезно, то неизвестно, за что воевали. Ну, конечно, укажет профессор на интересы и почему они вступили в конфликт, но глупость правительств с годами всё очевиднее.

Почему же так трудно написать эту книгу, книжечку, – о моей дочери-инвалиде? Ведь были порывы вдохновения, ну, как обычно, взлетал – и – нет, не падал, я опускался и снова сидел неподвижно.

Дело в том, что писание всегда немножко мечта, или, напротив, грусть по ушедшему.

А тут – неудача, провал роковой. Инвалид.

Сочающаяся рана. Как же о ней рассказать, чтобы слушатели не разбежались? Люди боятся заразиться несчастьем.

Расскажи-ка интересно о том, чего не хочешь, чтоб оно было.

Едва начинаешь говорить, как немеет язык.

Молчание грузом лежит, вдохновение изнемогает.

Но есть и доводы, чтоб продолжать упираться, как в данную секунду, например, я упираюсь и продолжаю писать.

Хорошая книга о судьбе моей дочери-инвалида во Франции – шанс изменить отношение к инвалидности вообще. Литература ведь влияет на жизнь общества. Есть разительные примеры.

Все читали «Хижину дяди Тома» – и вот вам темнокожий президент Обама полтора века спустя. Даже имя его значит «жилище» во многих языках: барак некоего Обама, Обам и его барак. Но хижина его теперь – Белый дом. Темнокожий в Белом – заметьте – доме.

Так вот, моя дочь живет в новом здании для инвалидов – из бетона. Языку хочется назвать его иронически «бункер». Нормальные люди жить в таком не мечтают. А через сто лет, можно надеяться, инвалиды станут членами общества, со своими правами. Построит их приют не чиновник с архитектурным образованием, а чемпион человечности.

Если, конечно, медицина не научится врачевать инвалидность.

Но даже и сегодня к бункеру можно отнестись положительно.

Вот так: бункер – это очень прочное военное сооружение, которое трудно захватить! Да-да, господа! Если там не окажется предателя.

До Нового 2013 года инвалиды жили – почти тридцать лет – в особняке XVIII века с садом, по завещанию филантропа. Возможно, не один отец города или департамента, видя его, допускал юркую мысль: «А хорошо бы тут...» Но не решался додумывать до конца. Или, бывает и такое во Франции, остаток католической совести приводил в смущение. Отобратить у увечных и это – у них и так нет ничего...

Возможен обмен при самой легкой подмене: особняк продается, а инвалидам строится новый просторный дом из бетона, на бросовой земле торгового центра городка Вернейсюр-Авр.

Архитектор не предусмотрел во дворе крана с водой. Вот это обидно. Ведь им есть что поливать, – кустики и деревья в кадках.

Теперь никто не позарится! Не подумает: а хорошо бы тут... Полноценные люди, облеченные властью и возможностями, не мечтают о коридорах с дневным светом, об окошках, покрашенных в разные – скажите спасибо – цвета. Неразрушаемый, неприсвояемый, современный бастион Ларш, который отобрать у инвалидов почти невозможно: незачем.

КОШКА И РЫБКИ

Катастрофа. Случайно нажал на клавишу компа – и новая глава, только что написанная, исчезла! Целое утро насмарку.

Наизусть я не помню. Утрачено главное: чередование нюансов темного и светлого, без чего картины нет.

Ощутив отчаяние, я немедленно применил сильное средство, себе говоря: да, строки погибли, но что это по сравнению, скажем, с пожаром Александрийской библиотеки? И десятков сотен тысяч томов, пропавших, следа не оставивших даже в виде названий и трогательных осиротевших цитат.

Вот, писал я на погибших страницах, живущий в доме для инвалидов странен самому себе. Особенность его подчеркивается ежедневно. Только они, инвалиды, имеют право спать в этом доме. Ночью там тишина. Ночная дежурная прикорнула на узкой кушетке и дремлет.

Тайн ночного приюта не знает никто. На случай пожара висит план помещений и лестниц.

Однажды я предложил предыдущему директору Ларша – женщине рассудительной, выслушивавшей говорящего, – на рассмотрение мысль: выделить уголок, где переночевал бы какой-либо родитель живущего здесь инвалида.

И тогда снята исключительность места: здесь ночью спят только они, инвалиды.

Вы ведь, возможно, инвалида боитесь, по крайней мере, вид его вас тревожит, – именно в силу его исключительности. Он не

как все. А быть не как все страшно. Даже к такому просто приблизиться требует смелости.

Инвалиды, конечно, привыкли к своей оригинальности, но она остается грузом. Чуть-чуть уменьшить его, дать отдохнуть.

Директриса замялась, смотрела на меня с подозрением. Однако я мог спустя время ночевать в филиале Ларша, в пятнадцати километрах. Там такую квартирку предусмотрели – с отдельным входом.

Или вот электрическое кресло. Иные никак не научатся. Месяцы попыток и страданий. Нельзя ли попробовать посадить во второе кресло отца или мать? Включить таинственный механизм подражаний детей – родителям. Ведь иногда удивительно, что ребенок вдруг что-то умеет! Никто не учил, рос – и пожалуйста, сам взял ложку и ест. Слушал, слышал – и заговорил.

Навык серьезный: кресло водить. Дочь не умеет, но она не одинока, рядом в кресле отец, и они едут, огибая углы. И дочь учится, как лучше подъехать к кнопке лифта, и в лифт заехать, и там нужную кнопку нажать.

И очень обидно, что животные в приюте запрещены. От них есть польза, не только хлопоты, уверяю вас!

На Ассамблее, где представлен был проект переезда в новое здание, отец выступил с речью. О чем же вопил сей чужак в пустыне нормандской?

Почти сто человек в помещении столовой. За столом лицом к залу сидит правление. Посередине серых костюмов сияет круглое розовое личико директрисы, обрамленное блондинистыми кудряшками.

– I have a dream, – сказал иностранец. Нарочно так начал.

Это слова Мартина Лютера Кинга, черного пастора, убитого, в конце концов. Я мечтаю о том времени, – говорил пастор, когда чернокожие будут ехать в автобусе вместе с белокожими.

Я мечтаю о том времени, сказал отец Марии, когда у входа в приют для инвалидов будет встречать дружелюбный пес, машущий хвостом, когда в коридоре вам встретится кошка, не утратившая своей независимости и здесь.

В столовой мерцает таинственной жизнью аквариум, пронизанный жемчужными нитками воздуха. Он предлагает свою терапию спокойствия и тишины.

А в другом месте – иная терапия: в клетке щебечет пара волнистых попугайчиков-неразлучников, дарит отлученным от семьи тепло воспоминания. Счастье других людей может ранить, подчеркивая собственную нищету, а благополучие птиц – ласкающее, легкое.

Собрание инвалидов слушало эту речь внимательно, отец чувствовал обратную связь. Президиум сидел с каменными лицами. Никто не попросил слова дополнить или опровергнуть. В коридоре потом подходили: «Мы согласны, сделайте так, чтобы здесь были животные... – Что же вы молчали? Ассамблея могла б обсуждать и решить...»

Переминались с ноги на ногу:

– Мы, понимаете ли... они заложники: мы уедем, а они останутся.

– Вот вы сказали: животные, – сказала директриса в коридоре, – а я вам скажу из своего опыта. У меня дома кошка и собака. Сначала животными интересуются, занимаются, а потом привыкают и забывают!

Аквариум он однажды устроил. Небольшой, но как у людей: пузырьки поднимались среди зеленых стеблей, грот и песочек, лампочка тихо светила, и рыбки поблескивали.

Приезжая, раз в месяц, он аквариум чистил.

Однажды он заболел, а когда приехал, Мари уже перевели в другую комнату, и аквариум исчез. Никто не объяснил, почему. Не извинился.

И однако – победа! Теперь кошка – молчаливая кошечка Нинет живет в приюте! На первом этаже, в небольшом холле возле лифтов стоит ее корзинка.

Отношение же к отцу изменилось. Выступил сам, без предложения дирекции. Получилось, что как бы вскрыл недостаток. Конечно, эпизод забылся, протоколов никто не ведет. Но неприятный осадок остался. Кстати, он говорит с иностранным акцентом.

В ОБЩЕСТВЕ

Дороги сходятся к кругу: здесь кончается город, далее – широкое поле, и в поле широко построен уже супермаркет, заправка и мойка, и магазин стройматериалов. И – Макдональдс! Центр общественной жизни.

Выражение некоторых лиц изменится при имени сем. Чаше по причине снобизма, реже – искренне: фу, Макдональдс!

Инвалид – или его поверенный – скажет: достоинство то, что в этом народно-молодежном ресторане никого не смутит его кресло. И не только это. Одна половинка входной двери шире другой: чтобы легче прошла детская коляска. Или инвалидное кресло.

Правда, и в обычных ресторанах теперь обслужат, но взгляды, знаете ли... выразительные. Молодому отцу были они безразличны, а вот с годами – нет, лучше туда и не заходить. Он устал, как говорится по-французски, морально.

Впрочем, только в одном ресторане – «Золотом карпе» на берегу Марны – их когда-то попросили уйти. Отец возмутился.

– Нет уж, пожалуйста! Мы не сможем вас обслужить.

Интересно, что спустя год ресторан, разорившись, закрылся.

Макдональдс! Широта твоих взглядов современна, внимание к детям похвально: коммерция с человеческим лицом приятна. Вдобавок, ты, как и мы, иностранец, правда, американец, – это преимущество перед политическим эмигрантом.

На Мари оглядываются. Дети пристально смотрят, не понимая явления: вот взрослая женщина в кресле, его толкает мужчина. И подглядывают, как она ест.

Родители им объясняют что-то, понизив голос, и дети снова оглядываются на нас.

Меню неизменно: кока-кола и картошка фри. Ну, и добавки: гамбургер – вот куда занесло его из города Гамбург проездом через Америку!

Еще мы берем мороженое называемое Совершенство, – да, да, есть в этом мире что-то совершенное! У него особое у нас назначение.

Ибо пять-шесть таблеток, прописанных Марии (от эпилепсии... от желудка и для него... для пищеварения...), заведомо измельчаются в ступке. Это для того, чтобы Мария, поперхнувшись, не подавилась.

Раньше – в течение четверти века – ей давали таблетки в чайной ложке. Сначала по одной, а под конец – сколько поместится. И однажды она поперхнулась и подавилась.

Здравый смысл сказал бы: нужно таблетки давать по одной. Дирекцию же страх охватил, и она распорядилась толочь все таблетки и пилюли вместе – в один порошок.

Французская медицина – самая лучшая в мире, как объявил однажды по французскому телевидению французский министр здоровья.

– Вы пробовали когда-нибудь такой порошок? – спросил я однажды директрису Куртель.

– Зачем же, у меня, слава Богу, нет эпилепсии, – резонно ответила она.

Я не успел объяснить, что имел в виду горечь, какую спрятать почти невозможно, она расходится во рту и надолго.

Так вот, на чайную ложку кладется слой Совершенства, насыпается порошок лекарственной смеси и совершенно покрывается слоем мороженого же. И Маша глотает всё в таком виде. В пять-шесть приемов.

У моей дочери есть эпилепсия, и ей просто так дают смесь медикаментов, не попробовав предварительно даже на крысах. А она не может объяснить своих ощущений. И отказаться тоже не может. И отец не может.

Она переживает, возможно, унижение, – я его чувствую в ней. И в себе.

Нет уж, позвольте мне договорить насчет порошков! Я вовсе не так одиозен: в той же Нормандии, в том же Верней-сюр-Авре французская медицина поступает разумно.

И вот как это узналось. Переезд в новое здание в январе 2014 был тороплив – и настолько, что казался скорее изгнанием по чьему-то приказу. Новостройка еще не закончилась: дыры чернели там и тут в потолке, не было горячей воды. Марию не мыли дней десять.

А спустя тридцать лет сидения и лежания кожа ее уязвима. Образовался пролежень. И вот еще: на спине и бедрах началась рожа. В воскресенье 12 января вечером ее увезли в больницу. Ирина, мать и опекушка, туда же поехала. Ее сменил я.

И увидел чудо.

Медсестра давала Марии лекарства. На ложку она брала немножко желе и сверху водружала цельную таблетку. Дочь глотала без всяких усилий, опасений и унижений.

Как славно!

– Чудесно! – сказал я, восхищенный. – Нельзя ли ваш опыт – ваш профессионализм – передать в Центр Инвалидов города Верней-сюр-Авр? Показать дирекции ваши гуманные приемы?

– Что вы! – сказала она. – В каждом заведении свои правила, вмешиваться нельзя.

А ведь между французской медициной больницы и самодеятельностью приюта – метров пятьсот.

В Макдональдсе Мария становится самостоятельной и – протягивает неловкую руку к соломке картошки, берет такую одну с двух попыток и несет осторожно ко рту.

Становится как все.

Если ж настроение плохое, она просто сидит и рот открывает, когда я ей подношу. Два кулька, мой и ее. Мы вместе едим. Мне, разумеется, проще и легче, и я слежу, чтоб не слишком ее обгонять.

Она осторожно жует, чувствуя твердую пищу. Ей все-все дают измельченным в кашу, – дирекция опасается, что она поперхнется. Три раза в день кашу. Всякое блюдо в кашу превращается, даже пюре с мясным фаршем.

Каша из недели в неделю, из месяца в месяц. С 2010 года. Пять лет, господа, кашицы.

Иногда Марию тошнит. Возможно, от кашицы, она объяснить не умеет. От того, что человеку – даже с ограниченными возможностями движений – трудно жить, как деталь на конвейере. Но усилия каждого дня постепенно ведут к немоте и неподвижности. Мало-помалу, как в гомеопатии.

Это особая гомеопатия – опасливость администрации.

Закончив еду, мы просто сидим: нас из Макдональдса не гонят, и гарсон не бросает выразительных взглядов. На улице дождь. Бедолаги курильщики, высунув нос, передернув зябко плечами, обращаются вспять.

Мария оживает. Она взглядом следит за детьми. Или вот молодая женщина с подносом остановилась рядом и изучает чек кассы. Мария ловит момент и произносит:

– Бонжур!

Та оглядывается на нее, старается сообразить, кто это, как это, и отвечает удивленно-приветливо:

– Бонжур!

Разговор состоялся. Мария довольна. Таких разговоров может быть несколько: народу тут много, люди приходят-уходят. Иногда образуется очередь! Вот что такое популярность заведения.

Мария вся внимание. Я же, извините, задремываю. Спал с перерывами: меня будил кашель хозяина дома, дающего мне приют. А главное – радио. Оно говорит у него постоянно, – ему нужно слышать человеческие голоса, их главное свойство – разрушать его одиночество. Молчание ему едва выносимо.

Он священник на пенсии. Уже поздно пытаться превратиться в монаха, которому тишина и одиночество – рай. Ему – ад. Ну, относительный.

Сквозь дрему я слышу веселое восклицание «Мари!», и Машин смех узнавания. Разлепив веки, я вижу спину удаляющегося человека.

– Она меня знает, – самодовольно говорит дочь.

Осколки прошлой жизни иногда залетают в наше настоящее. Знакомая спина: это старенькая Армель, доброволец паломничеств в Лурд, куда Машу возили не раз, и еще бы возили, пока не прекратились поездки. Почему, я не знаю. В существовании дочери есть малоизвестные мне эпизоды. Возможно, не стало денег.

Ежегодный праздник в августе. Целый год была цель – в августе выезд в Лурд. Ах, поезд! Погрузка полдня, в пути целый день, разгрузка.

Прекратился праздник. Еще одно окошечко в жизнь закрылось.

Да и Армель состарилась и перестала ездить в качестве сопровождающей больных и калек. Муж ее умер. Мария вес набрала, и теперь в одиночку трудно плавно поднять 56 килограммов. Поз две – сидеть и лежать на спине. Инвалид тяжелеет. Родитель слабеет.

В моей дремоте я с облегчением думаю, что этот нескончаемый труд прекратится когда-нибудь. Бог не без

милости: ни у кого не отнимает Он смерть. То есть, конечно, я хочу сказать – исход, точнее, изъятие из этого мира труда.

Я дремлю, опираясь плечом на поручень кресла Марии. Она головой прислонилась к моей. Доносится шум разговора, бурчание публики, из которого выпархивают отдельные слова.

– А Патрик говорил... всего-то пять евро... Жожо, ты куда побежал? Жожо!.. свекровь позвонила... ну, в больнице... не видел ее давно... класс!

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

Мария начинает делать движения: словно она приподнимается в кресле, потягивается вверх, в стороны. Раньше – до 2004 года она говорила: пипи!

Это кому-то пустяк, а для нас пипи и кака – отметка прогресса. Дочери было 8 лет, когда она вдруг поняла, что нужно соединить приближение желания тела с этими словами, произнести вслух, и они становятся просьбой. Общением. Ее тогда принимают в мир взрослых людей – добрых, по крайней мере, не злых. Ее сажают на горшок, потом вытирают, ей сухо, тепло.

Мария не соединила окончательно твердо два события, – практических, даже можно сказать, прозаических, – желание тела и объявление о нем. Она думала, что доставляет родителям радость всегда своим восклицаньем:

– Пипи!

И уж родители радовались! Биологические часы пошли.

А ведь это целое дело: горшок, раздевание, усаживание. И с годами дитя тяжелее, и уже не дитя, уже тридцать, а потом и тридцать пять килограммов. И не просто, рывком, как мешок, а плавно, легко.

Катастрофа длилась несколько лет.

В нормандском городке, в специальном учреждении для инвалидов на зов Марии не торопились. Уже нужно было терпеть, а потом и ставить рекорды, – не занесенные, увы, в книгу Гиннеса: сколько может терпеть инвалид, захотевший помочиться? Четверть часа? Полчаса? Час?

Наконец, дотерпев, Мари облегчалась и произносила свой афоризм, который нужно привести в оригинале:

– Ça fait du bien!

В 2004-м Мари бежала из Ларша. Она спустилась во двор и выехала на своем кресле через ворота в город. Она ехала куда глаза глядят до тех пор, пока не устала. И потом она не знала, что делать. Кто-то заметил, спросил, позвонил, за беглянкой приехали. Вот и всё.

В это время она была очень несчастна. Тогда в центре работал монитером молодой мужчина, Патрик. Событие, согласитесь: на двадцать девушек – один.

Что чувствовала Мария в свои 28 лет? Читательницы, возможно, могут припомнить свои переживания, если им уже больше. И особенно посочувствуют те, вероятно, у кого было шансов немного, когда они были влюблены.

А у Мари – никаких.

Мне случилось в жизни влюбиться, когда надеяться на взаимность не приходилось. И я вместе с дочерью горевал, ее понимая вполне.

Да только представьте: почти всю свою жизнь – от матери отделившись – она спит одна.

Директриса Гудвин объявила однажды, что придет психолог и расскажет родителям о сексуальности инвалидов. Занятость ему помешала приехать. Да конференция на такую тему в Нормандии – смелость.

Догадываясь о страдании Марии, монитрисы над ней легонько подтрунивали.

А над ее религиозностью насмеялись обитатели дома.

– Эй, Мари! Спой: аллилуйя!

И передразнивали:

– Как ты поешь, а? «Аллилуйя!»

Маша злилась. Она вся напрягалась и делала жест, словно отрывала что-то невидимое.

Инвалиды живут в коллективе, как и вы, цельнотелые и могущие себя обслужить. Симпатия и вражда, ссора и спор повседневны. Тайна дружбы, загадочность неприязни, – всё как у нас, хотя мы себе объясняем – и довольствуемся призрачным объяснением. Слова прикрывают общение душ. А тут – в чистом виде: гневный взгляд, клочкотание в горле, звуки. И

никак не могут перестать и на своих креслах разъехаться: бушует ссора без слов.

Учреждение для инвалидов состоит из трех частей: сами они, персонал и дирекция. Позади инвалидов маячат родители. Отношение к ним двойственное: они как бы на стороне инвалидов, некое моральное наблюдение, то есть помеха свободным действиям служащих.

Но они же и клиенты фабрики немощи. Благодаря их несчастью функционирует механизм субсидий и зарплаты. С ними легко быть добрыми, а можно и хитрить, что, в конце концов, нетрудно: родители сами подавлены негодностью детей к жизни, своей какой-то библейской виной за случившееся («...проклятие рода их на детях их...»)

Работа нанятых монитрис очень трудна. Их занятие в глазах нормандского – да и французского – общества и населения вовсе не престижное. Вот если б зарплата была значительной – тогда, разумеется, сомнения отпадают.

Конечно, сейчас об инвалидах говорят и пишут, и показывают по телевидению, обращаясь к гуманности послевоенной, когда все ужаснулись тому, что человек европейский может быть зверем, – и где-то в недрах сознания затеплился призыв «не убий».

В действительности труд с инвалидом граничит с призыванием почти религиозным.

При директрисе Мадам Гудвин новой монитрисе полагалось попробовать на себе миниатюрный подъемный кран: сесть на матерчатое сидение и поднять себя, на собственном опыте узнавая, что широкие ремни могут быть неудобны и резать, что висящий в воздухе инвалид может испытывать страх.

До тонкостей подготовка не доходила: Нормандия – не спектакль в телевизоре под руководством гуманного психиатра Сирюльника – и против спектакля я ничего не имею, напротив! Хотя бы в развлекательной форме французское общество получает представление о жизни инвалидов и готовится, возможно, к его осмыслению.

О тонкостях я сам скажу пару слов. Свежий человек полон солидарности к своему образу и подобию – инвалиду. Он готов

его научить – есть, пить и ходить. После некоторых попыток он обнаруживает, что тот на солидарность не откликается: не учится, или учится плохо.

У него нет рук или ног, чтобы научиться. Или они неподвижны. Или искривлены.

Солидарность кончается: человеку становится скучно. На ее смену приходит, если оно есть, призвание, то есть потребность в такой работе по мотивам глубоким, в сущности, религиозным. Послужить немощному ближнему. Или приходит профессионализм: делать хорошо предложенную обществом работу и получать достойное вознаграждение, какое само по себе вызовет уважение: смотри-ка, устроился! Ну и молодчина.

Муки инвалида разрешатся самой природой: он пописает в штаны. Точнее, в памперс (Прошу простить мне американизм, но сами знаете, русский памперс отстал от балета и бомбы).

И муки Марии разрешаются так же.

Инвалиды не понимают, увы, что они не виноваты. Что потребность тела сильнее. Они не знают, что их предали – не со зла, а ради своей независимости, ради собственного психического равновесия: за такую зарплату – такая работа.

То, что инвалид не деталь автомобиля, а живое существо, – как бы забывается. Напоминающим о разнице можно ответить, пропустить мимо ушей, можно и отомстить.

Отцу говорят:

– Видите ли, инвалидность не стоит на месте, она эволюционирует... (непременно в худшую сторону, да?) Вы позволяете себе замечания, а не пора ли подумать о переводе Марии в учреждение более приспособленного типа?

Директриса делает паузу.

Я не осмеливаюсь отвечать, чувствуя холод в спине от этой угрозы, но я предложил бы упражнение будущим монитрисам: когда им захочется в туалет, терпеть с часами в руках, отмечая в специальной графе чувства и мысли, и отметить, наконец, минуту, когда терпение лопается. Отличницы пусть пописают в памперс и посидят мокрыми пару часов, опять-таки регистрируя всю гамму ощущений.

– Ça fait du bien! (Ой, как хорошо!) – говорила Мари, облегчившись в горшок.

Теперь она молчит. Биологические часики сломаны. Памперс меняют в три часа дня.

ЕЛЕНА ЛИТИНСКАЯ
Нью-Йорк, США

Экстрасенсорика любви
Рассказ

Миша умер. Хоронили его на следующий день после смерти. Мишина вдова Марина обзвонила, кого могла, послала e-мейлы. А потом уже печальную новость передавали по цепочке. На похороны пришло неожиданно много народу: родственники, друзья, знакомые, малознакомые и вроде совсем не знакомые Марине люди. Все подходили к ней и к дочери Лене и выражали соболезнование. (Может, этих «вроде бы совсем не знакомых» людей Марина на самом деле и знала, только от волнения и горя не могла припомнить.) Да это и не было для неё столь важно. Главное, что все они пришли в зал дома ритуальных услуг, где лежал в открытом гробу, утопая в роскошных букетах цветов и венках, высохший и пожелтевший до неузнаваемости Миша. Похороны – сами по себе тягостны. А уж если зал с покойником полупустой – зрелище печальное вдвойне.

Как будто умер человек, а проститься с ним никто не захотел. Словно этот человек жил в вакууме безлюдья и бездеятельности: никого не любил, ни с кем не дружил, не работал, никому не делал добра, да и его не любил никто... Зачем тогда жил?

Прежде чем окончательно освободить себя и семью от страданий, Миша долго и мучительно болел. Марина ухаживала за ним преданно и верно, насколько хватало сил. Делала обезболивающие уколы, протирала влажной губкой его почти невесомое тело, выносила судно. Почти никуда не отлучалась. Воистину света божьего не видела, только приглушенный свет, проникавший сквозь плотно зашторенные окна. (От яркого солнца у Миши болела голова и слезились глаза.) Марину сменяла сиделка. Вдвоём они поддерживали его дух и плоть круглые сутки, после того как Мишу выписали из больницы, так

как медицина уже была бессильна... Три месяца дежурств. Марина – ночь, сиделка – день. После полубессонных ночей Марине приходилось ещё ездить на работу. (А могла бы взять отпуск по уходу. Но не взяла, хотела переключаться, иначе бы сломалась.) Потом Мишу отправили в хоспис... умирать.

Никто из этих людей, пришедших на похороны, когда Миша болел, домой к ним не заходил (хотя некоторые всё же иногда звонили). Как будто несчастье и страдания заразны... Впрочем, страдания родных и друзей действительно заразны для души, так как вгоняют в депрессию и навевают мысли о возможности собственной смертельной болезни. И вот теперь, когда опасность «душевной заразы» миновала, они все пришли, как говорится, отдать последний долг. Ну, да бог с ними, что не приходили раньше! Марина никого не осуждала, наоборот, была благодарна за то, что хоть на похороны пришли.

Раввин произнес короткую традиционно-прощальную речь, и похоронный кортеж, подгоняемый ветром и дождём, потянулся на кладбище, скользя по дороге, устланной мокрыми опавшими листьями. Стоял ноябрь, самый беспросветный месяц в году.

Место на кладбище Миша купил себе заранее, чтобы Марине было меньше хлопот. И Марина запаслась для себя могилой – рядом с мужем.

Чтобы дочери было легче...

После похорон, как полагается, Марина устроила в местном ресторане поминки. Много слов было сказано, много вина и водки выпито, много острой, жирной и сладкой пищи съедено... Все повторяли, какой замечательный человек был Миша. Какой талантливый, умный и отзывчивый и как прекрасно они с Мариной прожили в полной гармонии целых двадцать лет. Как трогательно любили друг друга! Воистину не каждому Бог посылает такое счастье...

Марина тихо и неподвижно сидела во главе стола, словно одинокая статуя из чёрного мрамора. К еде не притронулась. До её слуха долетали отголоски высокопарных речей...

Замечательный, умный, талантливый, любящий, любимый... гармония, счастье...

Она плакала, думала о своём и вспоминала...

Действительно, о покойниках – или хорошо, или никак. А её Миша совсем не был таким уж замечательным человеком. Если

честно, без прикрас, мало кто его и замечал в молодости, кроме неё. Она совершенно случайно выделила его из круга знакомых, захомутила и выскочила замуж. Надо было действовать решительно и смело: в своё время Марина перебрала и отвергла слишком много потенциальных женихов и в результате осталась (по российским понятиям) в старых девах. Ей к тому времени исполнилось тридцать. И громко так, назойливо и бесперебойно тикали её биологические часы. Нет, не был Миша ни особо красивым, ни особо талантливым, ни особо умным. Просто симпатичным внешне, способным инженером среднего ума и интеллекта. Отличался некоторой занудливостью. Будучи принципиальным аккуратистом, он гипертрофированно любил чистоту и порядок в доме и жаловался жене на неё же, замечая первые тончайшие признаки пыли на мебели или если что не на месте. Относительно отзывчивости и доброты... да, в просьбах одолжить денег или что-то починить он родным и друзьям не отказывал. Но это всего лишь общепринятая, стандартная доброта. Ничего такого из ряда вон.

Дома у Бергеров было тихо, даже чересчур. Разве что телевизор вечерами оповещал по-русски о последних новостях в мире. Миша любил смотреть русские каналы. Посмотрит последние известия, вырубит телевизор и в десять вечера идёт готовиться ко сну. А Марина была «сова», она только к вечеру расходилась. Ей часто хотелось нарушить этот установленный Мишей режим, эту кладбищенскую тишину, включить громкую музыку, уронить что-то на пол, разбить, гроыхнуть дверью... Словом, как-то привлечь к себе внимание. Мол, я есьм, я существую, взгляни на меня, муж мой! Миша почти никак не реагировал на её «бунтарские выходки», разве что вопросительным поворотом головы: что там такое происходит? Ты не ушиблась?

Миша был глубоко порядочным человеком, можно сказать, образцово-показательным семьянином. Он много работал и всё-всё до цента приносил домой жене. Никаких заначек на мужские нужды. Да и нужд этих дополнительных не имел вовсе. Не пил, не курил, не употреблял наркотики, не играл в карты, не просаживал деньги в Атлантик-Сити, не ходил в приятелями в Русскую баню – попариться и опрокинуть кружку-другую пивка по выходным, не сквернословил и жене не изменял. (Последнее она не могла утверждать с точностью,

но всё же предполагала, что не изменял, ибо отношение Миши к плотской любви было, мягко выражаясь, отнюдь не любознательным, инертным.)

Любили ли они друг друга? Наверное. Или вроде того. А что такое любовь? Двадцать лет назад, когда поженились, они испытывали друг к другу нежные и дружеские чувства и старались, каждый по-своему, чтобы эти чувства перешли в нечто большее... Миша проявлял преданность и домовитость. Марина стремилась к женскому счастью. Ей хотелось ощутить себя желанной. Она, начитавшись руководств по сексу, грезила об эротике, о сильных плотских ощущениях. Особого опыта в делах страсти нежной ни у Марины, ни у Миши не было. Так... в прошлом мелькали какие-то малозначимые любовные пересечения, которые ни её, ни Мишу в общем ничему не научили.

И тут Марина наткнулась на непреодолимую преграду, зашла в настоящий тупик. Она хотела экспериментировать в любви, как могла подогрела Мишу действиями и словесно, но все её усилия были напрасны. В представлениях о сексе Миша оказался жутко стеснительным и боязливым, как подросток, невероятно консервативным (этого делать нельзя и даже стыдно, а то, другое – вообще настоящий разврат, грязь! ни за что! как ты можешь?). Типичный homo soveticus – Миша был абсолютно закрыт и непроницаем для новых сексуальных ощущений. Какое-то время Марина боролась за достижение физиологической совместимости, на что-то надеялась. Потом устала, перегорела, сдалась...

Всё же регулярно, раза два в неделю (а потом и того реже) они исполняли перед сном стандартный супружеский долг. (Утром – не дай бог! – Миша боялся опоздать на работу). Грубо говоря, в сухую (никакой любовной игры – ни до, ни после), долг, который оставлял женщину неудовлетворенной, голодной, раздраженной на мужа, на себя и на безысходность ситуации.

– Это всё? – спрашивала она после неловких «любовных» слияний.

– А что ты ещё хочешь? – Миша отвечал вопросом на вопрос.

– Ничего! Я больше ничего не хочу! – закрывала тему Марина, понимая, что Миша всё равно не поймёт, не почувствует, не пожелает, не сделает...

После столь лимитированной любви она сначала беззвучно плакала в подушку, потом смирилась и очень скоро старалась просто увиливать от Мишиных примитивных ласк, ссылаясь на усталость, головную или еще какую-либо боль, женские недомогания, плохое настроение, магнитные бури, полнолуние, резкие колебания в температуре воздуха... на что угодно, лишь бы только не... Иногда она, скрепя зубами, соглашалась: всё же рядом лежал, какой ни есть, муж и ему это, видимо, было нужно для здоровья или мужского самоутверждения. Он Марину старательно «любил», вроде работу какую выполнял, словно двигая поршнем по цилиндру, и она послушно лежала, не шелохнувшись, как тряпичная кукла, без эмоций, хоть семечки лузгай или надевай наушники и слушай музыку... Вот такая у них совершалась совковая любовь. Подробности этой так называемой любви Марина делилась с близкой подругой Ниной, на что та весьма бурно реагировала. Нина вообще была стремительна в реакции и действии, словно горный поток.

– Глупая ты, Маринка! Заведи себе любовника, раз Мишка такой сексуальный дуб. Ты же красивая женщина и в самом соку! Да на тебя любой клюнет. Смотри... жизнь проходит мимо. Если не сейчас, то когда? – советовала Нина.

– Не могу. Хорошие мужики все пристроены, а подбирать общественный мусор в виде алкоголика, дурака или бабника не хочется.

– Эж, ты загнула: общественный мусор! Даром что психолог. Зачем алкоголика? У алкоголиков, как правило, проблемы с потенцией. А дурак – он и в постели дурак. Вот бабник – совсем иное дело и для секса – даже очень сгодится. Да, если мужик пристроен, это еще не значит, что его нельзя... так сказать... на время прислонить и к тебе. Позаимствовать, попользоваться, занять. Ты же не собираешься разводиться с Мишей?

– Не собираюсь. И вообще, давай сменим пластинку, – прерывала Марина подругу.

– Не хочешь любовника – тогда не жалуйся!

– Я не жалуюсь, просто делюсь с тобой своими проблемами. Надо же мне кому-то поплакать в жилетку.

– Моя жилетка уже намочена до чёртиков от твоих рыданий. Пора выжимать и класть в сушку, – подводила итог Нина. – Если возникла проблема, надо её решать, а не рассусоливать.

Любовника Марина так и не завела. Некогда было и неохота пачкаться. Отдавалась работе, семейным делам... и сохла на корню, как одинокая берёзка, случайно выросшая в субтропиках.

А в остальном у Бергеров всё было гладко и справно, как у всех, к кому благоволила фортуна. Трудовые будни, накопление денег, покупка машины (сначала подержанной, потом новой), приобретение кооперативной квартиры, культурный отдых в суетных поездках галопом по европам и на острова, походы в рестораны на всякие разные дни рождения, юбилеи, бармицвы или свадьбы... а также – похороны. Дочь подрастала, окончила школу, поступила в колледж, уехала в другой штат. Марина с Мишей соответственно старели, сначала медленно, потом с неким возрастным ускорением. Старели с сожалением и одновременно удовлетворением от поэтапных достижений. Мол, всё хорошо, всё как у достойных людей. Пока Миша не заболел...

Когда Миша болел, Марина проявляла чрезвычайную выносливость и стойкость, жила на адреналине, исполняла долг, как в клятве: *to be there for her husband in sickness and health till death do them apart*. И вот Миши не стало. Запас Маринино адреналина резко закончился, как будто перекрыли кран. Она сломалась и распалась на части.

Для чего и для кого жить? Мужа нет. У дочери своя жизнь. Никому я не нужна, да и самой себе тоже. Разве что работа... Но энергии нет. Приглушили свет.

Накатило всё и сразу: депрессия, бессонница, гипертония, тахикардия, артрит и... неожиданно, печальным сюрпризом – менопауза с приливами... хоть из окна бросайся. И собирать Марину по частям воедино было некому. У дочери – свои заботы и проблемы. Она, правда, проявляла беспокойство, звонила матери иногда и повторяла:

– Мам, ты бы сходила к врачу. Так нельзя. Ты себя погубишь. Я не хочу потерять ещё и тебя.

– Да, конечно, Леночка. Вот завтра же запишусь на приём к терапевту, – обещала Марина и... ничего не предпринимала. После длительного общения с Мишиными врачами ей становилось противно до тошноты при одной только мысли о

медицине, клиниках, тестах, анализах, таблетках, страховке и счетах.

Работать не было сил. А трудилась Марина на город Нью-Йорк. Служила социальным работником в конторе под названием Human Resources Administration. Имела дело с людьми, решала их проблемы. (А свои проблемы решить не знала как.) Кому полагается Medicaid, кому нет. По натуре Марина не была сухой чиновницей, близко принимала к сердцу людские судьбы и всякий раз переживала, когда приходилось отказывать клиентам, доход которых незначительно превышал дозволенную установленными правилами сумму.

Она взяла очередной отпуск и проводила дни и ночи в постели, почти без пищи, которую не было желания приготовить, не говоря уже о том, чтобы сесть в машину и поехать в магазин за продуктами. О чём она себе думала? Да ни о чём. Просто бесцельно плыла по течению реки, которая называлась... оставшаяся Маринина жизнь.

Неизвестно, чем бы дело закончилось. Может быть, и скорее всего, дочь с родственниками засунули бы Марину в частную психиатрическую лечебницу, если бы не Нина. Она явилась как-то в субботу, влетела вихрем в Маринину квартиру, яркая, громкая, как скорая помощь, и, увидев подругу в столь плачевном состоянии, буквально вынула её из постели, засунула в душ, отмыла, вытерла, одела во что-то приличное, накормила, усадила на диван в гостиной и многозначительно изрекла:

– Так, Мариночка! Кончаем депрессуху. К врачам ты идти не хочешь, ясно. Я и сама их терпеть не могу. Только тянут... время, деньги и жилы. Значит, будешь лечиться у экстрасенса. У меня есть один такой на примете. Он то ли экстрасенс, то ли какой-то особенный массажист. Я в этом мало понимаю. Но... от знакомых и друзей, которым можно доверять, слышала весьма хвалебные отзывы! Лечит – прямо как рукой снимает. Настоящий целитель, не какой-то там шарлатан.

Марина посмотрела на Нину, потом – в окно на дождливый осенний пейзаж и кисло улыбнулась.

О чем она? Очередная бредовая идея...

– Не улыбайся... так снисходительно. Засунь свою иронию и высшее образование куда подальше. Экстрасенса-массажиста зовут Роман. Поставит тебя на ноги в два счёта. Разрешения твоего я не спрашиваю. Извини! Сейчас позвоню ему и назначу

тебе appointment. Никуда ездить не надо. Он приходит на дом. Сколько Роман берет за визит, не знаю. Думаю, не так уж много. Осилишь. Чеки, сама понимаешь, не принимает. У тебя дома наличные есть?

– Кажется, есть около тысячи долларов, – промямлила Марина.

– Прекрасно! На первое время хватит, – предположила Нина, позвонила Роману и назначила его приход на утро следующего дня.

Он явился ровно в десять часов утра. Марина открыла дверь и обомлела... Она почему-то ожидала увидеть лысоватого, маленького, неприметного мужичка лет семидесяти... Не тут-то было. Внешность Романа превзошла все Маринины ожидания. Перед ней возник почти что Ричард Гир в фильме «Pretty Woman», во всём своём великолепном мужском обаянии. И еще Марина сразу обратила внимание на его руки, крупные ладони, с красивыми длинными пальцами музыканта и овальными ногтями с изящными лунками – явный продукт природы, не маникюра. Вспомнились руки мужа, которые так неумело и коряво ласкали её тело: его широкие крестьянские ладони с короткими жесткими пальцами и квадратными, словно обрубленными, ногтями. Марина онемела и уже мало что соображала, только слушала голос Романа и выполняла его указания.

– Сядьте на стул, Марина, закройте глаза, расслабьтесь и ни о чем не думайте... или думайте о том, что вы входите в теплые воды океана у Карибских островов. Вы были на Карибах или Багамах?

– Да, – выдохнула она.

– Ну, вот и хорошо. Вспоминайте свои ощущения и настраивайтесь...

И Марина поплыла..., сидя на стуле с закрытыми глазами. А Роман стал «колдовать» вокруг неё, не касаясь её тела, только обводя руками его контуры. Руки экстрасенса излучали приятное тепло и, словно солнечные лучики, согревали Марину, проникая глубоко внутрь сквозь одежду и кожу. Роман не произносил ни слова, только иногда повторял странное сочетание звуков «омм, омм!». Нечто вроде заклинания. Сколько всё это «колдовство» продолжалось, она не помнила. Хотелось, чтобы как можно дольше. И ещё хотелось

приоткрыть глаза и украдкой взглянуть на Романа. Но её веки были настолько тяжелыми, что она при всём желании не могла это сделать. Марина вроде спала и не спала, пребывая в некой блаженной полуреальности, полудрёме.

Омм, омм, омм! – ворожил «заклинатель».

Как хорошо и покойно! – отзывалось в Марининой голове.

Пробудил женщину его требовательный голос:

– На сегодня всё, Марина. Я сосчитаю до десяти, и вы сможете открыть глаза.

Маринины веки сделались снова легкими и послушно открылись.

– Что это было: гипноз, шаманство, колдовство? Ну, признайтесь же, господин экстрасенс! – в Маринином голосе послышалось лёгкое кокетство.

– Ни шаманство, ни колдовство! Просто неконтактный массаж с некоторым гипнотическим эффектом, – ответил Роман со всей серьёзностью, игнорируя Маринино заигрывание. Внимательно посмотрел на неё. – Что вы чувствовали?

– Мне было тепло и хорошо. – Марина машинально снова прикрыла глаза, пытаясь реанимировать только что прерванные ощущения...

Какие длинные и густые у неё ресницы! Словно веточки молодой ели. И лицо белое и нежное. Никакой косметики. Интересно, сколько ей лет? – поймал себя на мысли Роман.

– Замечательно! Сегодня у нас с вами был пробный сеанс диагностики, Марина. Должен вас обрадовать: физически вы, в общем, здоровы. Я не почувствовал никакой серьёзной патологии. Просто вы чрезвычайно переутомлены и обессилены. У вас нервное истощение и ситуативная депрессия, нетяжелая, в клинику класть ненужно. – Он улыбнулся. – Ну, еще небольшой артрит и слегка повышенное давление. Но у кого нет артрита и повышенного давления в нашем отвратительном нью-йоркском климате! Думаю, что я смогу вам помочь. Только при одном условии: вы должны абсолютно поверить в меня, в мои возможности и беспрекословно подчиниться моей воле. Согласны? Иначе у нас с вами ничего не получится. Вера и подчинение в моём... методе лечения играют важную роль.

– Хорошо! Я вам верю и... постараюсь подчиниться вашей воле, – прошептала она. Его «колдовство» и весь его облик были Марине чрезвычайно приятны,

но чтобы полностью подчиниться чужой воле – это уже чересчур. Это какая-то дьявольщина. Отдать себя в рабство! Нет уж!

– Нет, Мариночка! – Он перешёл на ласкательное обращение. – Не «постараюсь подчиниться», а «готова полностью подчиниться». Только так и не иначе!

– Ну ладно! Если это так важно, я готова полностью подчиниться вашей воле, – пробормотала она:

Ну сказать-то можно...

– Прекрасно! Теперь всё получится. Да, еще... между нами должна быть постоянная энергетическая связь. Если вдруг почувствуете себя хуже, звоните мне, пожалуйста, или оставляйте сообщения в любое время, и я вам перезвоню, как только смогу. Я вам буду тоже звонить между сеансами и справляться о вашем самочувствии. Договорились?

– ОК!

Марина заплатила Роману сто пятьдесят долларов за визит, что было для неё, новоявленной вдовы, суммой отнюдь не малой. Но она готова была заплатить и больше, гораздо больше, лишь бы он приходил ещё и ещё.

Роман взял деньги и лёгким, таким небрежным, привычным жестом засунул купюры в карман брюк. Они договорились, что на первых порах сеансы будут проходить два раза в неделю, а дальше «посмотрим – по ситуации». Может, раз в неделю, может, и того реже.

Вечером позвонила Нина:

– Ну, как тебе наш экстрасенс-массажист-заклинатель?

– Пока не знаю. Это был пробный сеанс. Поглядим, – уклончиво сказала Марина, почему-то испугавшись, что если откровенно расскажет подруге о своих более чем приятных ощущениях, спугнёт судьбу и её блаженно-волшебный настрой больше не повторится.

После ухода Романа Мариной овладело состояние некой открылённости, почти невесомости. Депрессия исчезла, как не бывало.

Действительно, «рукой снял».

Колени, правда, продолжали побаливать, и сердце билось чуть чаще, чем полагалось по здоровому стандарту, но её это мало волновало. Она оглядела свою гостиную критическим взором:

Надо бы побелить потолки и сменить обои. Как давно я не делала ремонт! И мебель не мешало бы поменять. Даже неловко... перед Романом. Хочется полного обновления!

Она думала только о нём, о его чудодейственных руках, внимательном взгляде карих глаз и мелодичном, завораживающем, чуть приглушённом голосе. Абсолютно ни о чём и ни о ком другом не могла думать. Это было какое-то наваждение.

Леночка бы сказала, что у меня поехала крыша. И она была бы права.

Накануне второго сеанса Роман позвонил Марине.

– Как Вы себя чувствуете, Марина? Как настроение?

– Я... эээ... чувствую себя немного лучше, – Марина запинаясь, не зная, что сказать. Не могла же она признаться Роману в том, что напрочь забыла о своей депрессии и не может дожидаться, когда они снова увидятся.

Марина еле дотянула до следующего сеанса, к которому тщательно подготовилась: сходила в салон красоты, подкрасила волосы, сделала причёску и маникюр, приняла ароматическую ванну, натёрлась каким-то особым экзотическим лосьоном и слегка надушилась французскими духами. Потом долго стояла голая перед зеркалом и пристрастно рассматривала своё уже далеко не молодое, увядающее, но пока не увядшее тело и пришла к утешительному выводу, что она ещё ничего, вполне, вполне... и может нравиться мужскому полу. Улыбнувшись собственному отражению в зеркале, она достала из шкафа модную кофточку с несколько фривольным вырезом и даже надела совсем новое кружевное бельё и ажурные колготки.

А вдруг в процессе экстрасенсорно-массажного лечения потребуется снять верхнюю одежду... И наверняка, потребуется. Я должна быть на высоте.

Перед тем, как посадить Марину на стул, Роман быстро снял с безымянного пальца правой руки обручальное кольцо и положил его в карман.

Так! Значит, женатый.

Марина не удержалась и вопросительно посмотрела на него, мол для чего он снял кольцо?

– Металлический предмет мешает моей руке производить нужные манипуляции.

– Но в прошлый раз у вас этого «металлического предмета» на руке не было. Вы что за прошедшую неделю успели жениться? – игриво заметила Марина.

– Женат я давно. Жена ревнует, нервничает, настаивает, чтобы я носил кольцо. Что делать! Вот я и надел его сегодня утром для её успокоения. Так и буду теперь надевать и снимать, потом опять надевать...

– Это опасно! Так можно кольцо и потерять, а это плохая примета...

– Можно. Но я постараюсь всё же его не потерять, иначе мне хана, – мальчишески улыбнулся Роман.

Не слишком ли доверительно-откровенно он со мной говорит? И что у него за жена такая ревнивая? Наверное есть повод... Впрочем неудивительно! У Романа такая харизма, а пациентки, наверное, почти все – женщины. Мужчины не очень-то верят в силу экстрасенсорики.

На сей раз манипуляции Романа с Мариным телом были контактными. И даже весьма контактными. Роман возился с Мариной около двух часов. Начал с легкого массажа. Он проводил почти воздушными поглаживающими движениями по голове, лицу, шее и спине женщины, потом несильно надавливал на какие-то точки. Прикасался к ушным раковинам, подергивал мочки ушей. Она чувствовала его дыхание на своей коже. Марина сидела с закрытыми глазами и млела, воспринимала его манипуляции не как лечение, а как ласку. Ей было хорошо, как никогда. Опьянение, кайф, нирвана... Она поняла, что значит парить над Землёй.

Никогда я не испытывала ничего подобного. Недаром это называется «экстрасенсорика». Сверхчувствительность. Не только он сверхчувствителен к моему телу. Я становлюсь сверхчувствительной к его прикосновениям. Все экстрасенсы обладают таким чудодейственным даром или это только он, Роман? Он и я. Потому что я податлива... Между нами возникла энергетическая связь, о которой он говорил. Хочу, чтобы сеанс не кончался и эта связь не обрывалась. Связь?

Слово-то какое, с подтекстом... А что? Хорошее слово! Отражает сущность положения вещей.

– Всё на сегодня, Мариночка! Откройте глаза. Как вы себя чувствуете? – раздался голос Романа, прервавший Маринин кайф.

– Я... не знаю, что и сказать. Я никогда себя так восхитительно не чувствовала. Вы настоящий волшебник, Роман! Спасибо вам! – В Маринином голосе уже не было ни тени кокетства, только искреннее восхищение и благодарность, которые она не могла да и теперь уже не хотела скрывать.

– Я не волшебник, Мариночка! Просто я, видимо, нашёл нужную для общения с вами волну... Ещё парочка сеансов, и вы почувствуете полное обновление..., физическое и душевное. И ещё мой совет. Не сидите дома, Марина! Вы можете выходить на работу. Да! Непременно прервите свой отпуск и выходите на работу! Работа отвлечёт вас от грустных мыслей. Я вам буду звонить каждый день, скажем, в десять вечера и справляться, как дела. Увидимся на следующей неделе.

– Каждый день ровно в десять вечера. Я буду ждать, – только и смогла выговорить Марина.

Она расплатилась с Романом. Как и в прошлый раз, сто пятьдесят долларов. Он сунул деньги в карман, достал оттуда обручальное кольцо, надел его и ушёл.

Обалденная женщина! Красива увядающей прелестью бабьего лета. И в постели, наверное, хороша. И одинока..., – мечтательно подумал Роман и тут же осадил себя: Я не должен так думать! Это пошло, неэтично и непрофессионально... Так можно зайти слишком далеко. – Но упрямо думалось. За всю его многолетнюю практику врачевания такое с ним случалось довольно редко. И жена ревновала его почти беспочвенно. Нельзя же ревновать к мыслям! Хотя в Евангелии сказано: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением...» Но я не святой и даже неверующий. Почти...

А обалденная женщина каждый день ждала его дежурного звонка. Роман был точен. Телефон звонил ровно в десять вечера. Она слышала его голос, и уже каждое сказанное им слово, воспринимала не только на слух, но ощущала как физическое прикосновение, как дыхание, как лёгкий поцелуй. Происходило странное, невероятное слияние слуховых и осязательных ощущений. Он зацеловывал её словами... Марина

закрывала глаза для усиления эффекта и нарочно медленно отвечала на вопросы Романа, чтобы эйфория длилась как можно дольше.

Они говорили о том, как Марина себя чувствует, как провела день, как прошла её ночь. Потом он первым прерывал разговор, прощался, желал ей спокойной ночи, приятных сновидений, и Марина шла спать. Засыпала она после его звонков мгновенно, как будто ей в вену вводили валиум, и каждый раз ей снились цветные, радужные сны, содержание которых к утру она не могла вспомнить.

Я, кажется, в него просто влюбилась, как девчонка, как романтическая, неискушённая девушка. Я, видимо, схожу с ума, или уже сошла, свихнулась. Хотя любви все возрасты покорны... И что же мне теперь делать? У меня, наверное, на лице написано и по голосу слышно, что я в него влюбилась. А он? А он – просто экстрасенс-массажист, который лечит очередную пациентку. Что ему до моих переживаний! К тому же он женат. И жена, наверное, молода и красива. Да если бы и не был женат, зачем ему нужна такая стареющая экзальтированная особа, как я? Если бы мне было хотя бы лет тридцать пять, ну сорок, я могла бы на что-то надеяться... А так – всё пустое. Что делать? Продолжать сеансы или нет? Он наверняка чувствует мою нарастающую увлечённость и даже привязанность. Может, уже подсмеивается над шизанутой тёткой в возрасте. А может...? Ещё несколько сеансов... и всё. Там будет видно.

Сеансы продолжались по нарастающей. Марина таяла под руками Романа и балдела от его голоса. Во время одного из сеансов она почувствовала, что его руки, движения которых прежде были весьма осторожными и ограниченными «запретной зоной», потеряли контроль. Его пальцы стали чересчур свободно блуждать по её телу, коснулись груди...

– У вас была операция на левой груди, Мариночка, и остался шрам. Да?

– Да, – еле слышно, одними губами прошептала она.

– Хотите, я уберу этот шрам?

– Хочу! – и она с готовностью расстегнула кофточку и лифчик, обнажая левую грудь.

Когда руки Романа стали поглаживать её грудь, Марина ощутила такое сильное вожделение, что у неё перехватило

дыхание и она чуть не отключилась. За всю свою пятидесятилетнюю жизнь она ничего подобного не испытывала. В её сознании это уже были не руки экстрасенса, а руки любовника, возлюбленного... Больше сдерживать свои эмоции Марина не могла. Преодолев гипнотическое состояние, она открыла глаза, посмотрела на Романа и тихо, но чётко, произнесла:

– Я люблю вас, Роман! Влюбилась, как глупая девчонка. Я понимаю, что для вас я – просто обезумевшая старая баба, одна из многих ваших пациенток. Но так получилось, что вы для меня стали всем. Я жить без вас не могу, без ваших рук, без вашего голоса. Я теперь не усну без вашего телефонного звонка. Вы, возможно, посмеётесь надо мной и будете правы. Но я должна была вам это сказать. Я просто больше не в силах скрывать свои чувства. Хочу, чтобы вы знали... Всё! Теперь можете меня презирать. Я заслужила презрение и насмешку.

– Я знаю о ваших чувствах, Марина. Я же экстрасенс. Я обладаю сверхчувствительностью, и уже в первую неделю наших сеансов обо всём догадался. Неужели, по-вашему, я такой мерзавец, который будет смеяться над вами, тем более – презирать вас? И вообще... Вы мне... тоже нравитесь, как человек и.. как женщина. Вы мне сразу понравились внешне и какой-то внутренней цельностью и одновременно незащищённостью, что ли. Но я – врачеватель, и наши отношения не должны выходить за рамки: целитель – исцеляемый. Вы понимаете, мы не должны переходить эту грань. Этика и моя репутация мне запрещают... К тому же я женат.

– А мне нет дела до этики! Я люблю вас... Моя жизнь так сложилась, что до вас я никого по-настоящему не любила. Хотела полюбить мужа, надеялась, что полюблю... Не довелось. Мой муж был прекрасным, порядочным человеком. Мы прожили с ним двадцать лет... но без любви, по привычке. Поверьте, я была ему хорошей, преданной женой. Не изменяла...

– Я вам верю.

– Вы – женатый человек. Понимаю, грешно объясняться в любви женатому и стыдно предлагать себя. Но меня это не останавливает. И если я вам хоть немного желанна, я буду счастлива... Сегодня, сейчас, здесь...

– Марина! Ну зачем вы так? Не надо!

– Не перебивайте меня, пожалуйста! Да, да! Сегодня, сейчас, здесь. Не бойтесь, я никому не расскажу, и ваша репутация не пострадает, – Марина умоляюще смотрела на него. Светлые волосы растрепались от его прикосновений, голубые глаза полны то ли счастья, то ли слёз. Одна грудь обнажена... красивая, полная грудь с небольшим шрамом. Лесная фея, русалка...

И... Роман не устоял. Эстетика и желание победили этику и профессионализм. Всё же он был не только врачом, а прежде всего здоровым сорокапятилетним мужчиной... Да, у него была жена Белла, эффектная женщина, гораздо моложе Марины. Они прожили вместе в общем-то в любви и согласии пятнадцать лет. Но в последнее время в их отношениях что-то важное разладилось. Роман много работал, слишком много, и поздно приходил домой, усталый, опустошённый, отдавший огромную часть своей энергии пациентам. Перекусывал чем-нибудь на скорую руку где-то в двенадцатом часу ночи и ложился спать. Не до любви ему было.

– Ты вечно устал! А я? – вздыхала жена.

– Если бы ты работала, ты бы тоже уставала. Это хорошая усталость. Займись делом. Ты же окончила колледж! Была способной студенткой. Освой какую-нибудь профессию. Не надоело тебе целыми днями разъезжать по бутикам, салонам красоты и спа?

– Я же для тебя стараюсь, чтобы оживить чувства, а ты, ты... попрекаешь меня куском хлеба...

– Да бог с тобой! Пойди хоть в волонтеры. Я просто хочу, чтобы ты как-то реализовала свои возможности, нашла себя и была счастлива.

– Я буду счастлива, если ты, наконец, обратишь на меня внимание.

– Для того, чтобы я обратил, как ты говоришь, на тебя внимание, совсем не обязательно так сильно краситься.

– Ты стал грубым, Рома... Краситься нельзя. А что можно? Что нужно? Скажи!

– Я сам не знаю... Прости, пожалуйста! Ужасно хочу спать! Спокойной ночи, Белла!

Жена обижалась, ревновала его, сама пока не знала к кому, упрекала в холодности и бессердечии, устраивала допросы,

истерики, начала прослушивать телефонные разговоры, прочитывать SMS-ки, обыскивать карманы. Он не поставил пароль на мобильник, позволял ей проверять свои телефонные разговоры и сообщения: пусть убедится, что ему нечего скрывать. Но сцены ревности и упрёки продолжались и постепенно подтачивали их семейную жизнь...

Для Романа секс с Мариной явился неожиданным любовным приключением, авантюрой. Он никак не ожидал от себя подобного «мальчишества» и весьма удивился, очутившись в Мариной постели. Для Марины сия постельная сцена была желанным, долгожданным осуществлением её помыслов и надежд. Она полностью раскрепостилась от многолетних табу, наложенных на некоторые детали секса её мужем. И отдавалась любовнику со страстью и даже отчаянием, которое только может проявить немолодая женщина, изголодавшаяся по мужской ласке. Марина осознавала, что эта сцена, этот случай могут быть как началом нового яркого периода её жизни, так и единичным бурным, завершающим аккордом.

– Марина, ты – потрясающая женщина! Просто фейерверк какой-то. А я... прости меня, если что не так... Я изголодался и сорвался, со всех катушек... У меня с женой... Ох! Она... Так, проехали. Больше этого не повторится. Не должно повториться. Буду держать себя в руках.

– Всё было как в моих лучших мечтах. Всё, чего я была лишена. Мне нечего тебе прощать. Ведь это я затащила тебя в постель. Я люблю тебя... и хочу продолжения. Пожалуйста, не держи себя в руках! Очень прошу!

Роман ничего не сказал в ответ, просто молча посмотрел на неё и стал одеваться.

– Почему ты молчишь? Оставь мне хоть какую-то надежду!

– Ох, Марина, Марина! Опасная ты женщина. Мне пора! Ждут другие «клиентки»... Господи! Как пошло сказал!

– Сказал, как есть. Ты позвонишь мне завтра в десять часов?

– Да, позвоню! Но только как экстрасенс пациентке. Не обижайся! Пока!

Роман собрался уходить. Она по привычке сунула ему сто пятьдесят долларов за визит. Он засмеялся и не взял денег:

– Ну, тут ещё возникает закономерный морально-этический вопрос, кто кому теперь должен платить..?

Марина положила деньги на стол:

– Я не хочу, чтобы ты из-за меня лишился заработка.

– На сей раз придётся. Авось не обеднею. Впереди долгий рабочий день.

– Как скажешь...

Тут они оба расхохотались. Понимающе, по-дружески.

Он ушёл, а Марина ещё долго, намеренно замедленными действиями стелила постель, прикладывала подушку к лицу, вдыхая запах тела любовника.

Когда пылесосила спальню, заметила на полу обручальное кольцо Романа, выпавшее из кармана его брюк и закатившееся под кровать.

Что делать? Позвонить ему и сказать, что он забыл у меня кольцо? Или лучше подождать, пока он сам хватится? Как будет честнее и правильнее? Правильнее для кого и для чего? Для него будет лучше, если я немедленно позвоню, чтобы он забежал до вечера и забрал кольцо. Для меня... лучше пока ничего не предпринимать и положиться на судьбу. Но это подло... Почему подло? Я же не собираюсь присваивать его кольцо. Придёт в следующий раз – отдам. Лишний звонок может разволновать его, он разозлится сам на себя и наговорит мне дерзостей, чего доброго... Да, но без кольца ему жена сегодня вечером устроит сцену ревности. Ничего, он изобретательный, что-нибудь придумает. Например, скажет, что снял кольцо перед массажем и вместо кармана брюк положил на стол в квартире одной из пациенток... Там его и забыл. Или... отдал кольцо ювелиру... почистить и сузить, так как оно соскальзывает с пальца. Я бы сказала что-то в этом роде. И вообще, я предупреждала его, что нельзя всё время снимать и надевать обручальное кольцо. Это может плохо кончиться. Или хорошо..?

Два дня Марина молчала о кольце. Потом всё же, когда Роман вечером позвонил, сказала ему о своей находке.

– Под кроватью, говоришь, валялось? Именно туда закатилось? Какая символика! Спасибо, что сказала.., но теперь это уже не имеет значения. Поздно! Дома полный облом.

– Что ты имеешь в виду?

– Жена устроила мне жуткий скандал... «Ты потерял кольцо! Ты, наверное, его просто выбросил, нарочно от него избавился, чтобы сделать мне больно». И вообще... Не хочу больше об этом...

– Не хочешь, не говори. Но когда придёшь, заведи у меня, пожалуйста, этот... этот символический кусок металла. Это яблоко раздора... Не место ему в моём доме.

Кольцо Роман забрал и снова надел. Но оно не помогло восстановлению семейного покоя. Жена всё же чувствовала что-то неладное, продолжала дуться, перестала с ним разговаривать и отныне принципиально стелила ему постель в гостиной на диване. Роман не возражал...

По совету Романа Марина вышла на работу. Абсолютно правильное решение! Так хоть во время трудового дня она не думала о Романи. Вернее, меньше о нём думала, иначе бы совсем не смогла общаться с клиентами. А когда она возвращалась домой, не могла дождаться его звонка, то и дело посматривала на часы. Роман продолжал звонить ей ежедневно ровно в десять вечера и приходил сначала два раза в неделю, потом и того чаще... И не уставал!

Приходил, и вместо лечения они занимались тем, что шутя называли «экстрасенсорикой любви». С каждым свиданием (теперь это нельзя было назвать сеансом) Роман всё крепче привязывался к Марине и уже не мог отказать ни себе, ни ей в этом увлечении, слабости, страстишке, страсти, наваждении, утехе, радости, грехе, любовном приключении...

Называй, как хочешь. Суть наших отношений от этого не изменится. Мне чрезвычайно хорошо с этой женщиной... Давно не испытывал ничего подобного физически. И душевно... От неё исходит какое-то необъяснимое тепло. Она просто любит меня и ничего не требует. А дома кошмар. Белла вызывает одно только раздражение... Я разлюбил её? Сам не знаю. Почему я должен отказываться от Марины? Жизнь такая короткая! А что дальше? Потом, потом! Все важные решения потом! – думал Роман, пытаясь разобраться в своих чувствах.

А Марина вообще перестала анализировать ситуацию и что-то прогнозировать. Она жила сегодняшним днём и просто была блаженно счастлива поздней любовью бабьего лета.

Прошло несколько месяцев...

Однажды к Марине на приём явилась странная клиентка, не похожая на остальных посетителей. Женщина лет сорока, миловидная, хорошо одетая, ухоженная. Броско, чересчур ярко

накрашенная. На правой руке – обручальное кольцо, на левой – кольцо с крупным бриллиантом. Длинные чёрные волосы, зачёсанные за уши, обнажали изящные бриллиантовые серьги. Одна из таких женщин, которым вроде бы ни Medicaid, ни фудстемпы не нужны.

Обеспеченная дамочка! И не скрывает этого. Интересно, что могло привести её в наш офис? – недоумевала Марина, указала женщине на стул напротив себя и приготовилась слушать.

Клиентка явно нервничала. Расстегнула пальто, откинулась на спинку стула, положила ногу на ногу:

– Я... я именно такой вас себе и представляла. Крашеная блондинка! Стареющая, умелая, бесстыжая. Захватчица! Понимаю, это ваш последний шанс... Сочувствую. И всё же... отпустите моего мужа! Посмотрите на себя! Вон седина на висках вылезает. Морщинки у глаз. Носогубные складки пудрой не скроешь. Пора делать уколы ботокса. А туда же... Не стыдно? Он вас все равно скоро бросит. Наплачетесь тогда. Лучше уходите сама первой, с миром... А то...

– А то что? – Марина проглотила обиду и с вызовом посмотрела на жену Романа.

Конечно же, это она. Молодая, избалованная судьбой, наглая. Пришла бороться за своё место под солнцем. Непохожа на жертву. А я... Слезы да и только!

– Если не отвяжетесь, клянусь, я отравлю вам существование, сделаю из вашей жизни ад, наведу на вас такую порчу. Мало не покажется! Я..., – шипела Белла.

– Это шантаж? Я заявлю на вас в полицию, – Марина старалась сохранить спокойствие и достоинство. Не получалось. Дрожали руки и голос. Едва удержалась, чтобы не заплакать перед этой...

– Это я заявлю на вас в полицию. Вы – прелюбодейка, воровка, украли моего мужа.

– Не смешите меня! Роман не вещь. Его нельзя украсть. Если он вас бросил, значит, на то были веские причины... Ищите их в себе. Говорю вам как психолог, как социальный работник.

– Мне ваши бесплатные советы не нужны. Поберегите их для сырых и убогих клиентов вашего офиса.

– Сколько презрения и сарказма! От бедности никто не застрахован! Сегодня вы – такая вся из себя в драгоценностях...

А завтра... может, ещё придёте к нам за Medicaid(ом). Жизнь непредсказуема. Роман... пусть он сам решает, с кем ему быть или не быть. Мне больше нечего вам сказать. А вам нечего делать в нашем офисе. Немедленно уходите отсюда, иначе я позову охрану.

– Ой, напугали! Зовите. Я, конечно, уйду, но и вы запомните, что я сказала. Я вас предупредила... Наплачетесь!

Жена Романа ушла, демонстративно грохнув стулом, а Марина ещё долго сидела, бессмысленно уставившись в компьютер.

Она, конечно, права, эта стерва в бриллиантах. Я старая грешница, действительно украла её мужа. И это мой последний шанс... Всё так. А как бы я поступила, окажись на её месте? Не знаю. Но уж точно не пошла бы с угрозами к любовнице моего мужа... Очень скоро Роман меня, конечно, бросит. Но как она меня вычислила? А может, он сам проболтался? Может, я ему уже надоела? Если Роман меня бросит, я не хочу больше жить.

Марина в этот день не могла дотянуть до конца рабочего дня. Она сказала начальнице, что заболела и отпросилась домой. Дома Марина долго плакала перед зеркалом, пристально изучая свои морщинки и складки, и ждала звонка от Романа. Сняла лифчик, осмотрела свою левую грудь. Розовый шрам превратился в тонкую ниточку.

Его чудодейственные руки...

В этот вечер Роман не позвонил, не позвонил он и на другой день, и на следующей неделе.

Видно, всё обдумал, поговорил с женой, покаялся, они помирились, и он решил просто молча ретироваться. Без лишних слов, слёз, объяснений, просьб и упрёков... Так оно проще и вроде безболезненно. Для него! И как же я теперь? Без его рук, голоса, его тела... Влюблённая старая дура, греховодница! Поделом мне! А может, мне самой позвонить ему? Нет, стыдно... Я позвоню, а он скажет: всё кончено! Я вернулся к жене. Больше не звони. Лучше буду ждать...

Марина затосковала. Порча-непорча... Марина потеряла аппетит, перестала красить губы, волосы, носила на работу один и тот же свитер, в общем, поставила на себе крест, почти... Какая-то искорка вернуть своё счастье всё же в ней тлела, не желала гаснуть. Чтобы раздуть эту искорку, надо было действовать, и она позвонила Нине.

Кому же ещё?

Нина по Марининому голосу поняла, что с психикой подруги снова происходит надлом. Приехала, внося в Маринину квартиру весенние веяния и запахи первоцвета.

– Ну ушёл твой Роман. Раньше или позже ведь это должно было случиться. И лучше даже раньше, пока ты ещё не совсем старуха и можешь найти ему замену.

– О чем ты говоришь? Какую замену? Мне никто другой не нужен. Я его действительно люблю. Так уж получилось. Пойми, пожалуйста!

– Ты, Маринка как всегда драматизируешь ситуацию. Незаменимых людей нет, тем более, любовников. У тебя душно, воздух спёртый. Можно я окно открою? Весна на дворе...

– Весна? А я и не заметила. Мне так холодно! Но ты, конечно, открой окно, – Марина зябко куталась в плед.

– И открою. У тебя дома как в замурованном склепе... Пройдёт время, и забудешь ты своего ненаглядного Ромочку. Найдёшь себе кого-нибудь постарше, посолиднее, вдовца... Может, замуж ещё раз выйдешь. Вышибешь клин клином. Вот прямо сейчас мы выйдем с тобой в Интернет, зарегистрируем тебя в подходящей социальной сети и...

– Делай, что хочешь. – Марина махнула рукой, отдалась на волю Нининой фантазии.

Пусть себе Нинуля суетится. Ей, Марине, теперь всё равно, найдёт она кого-нибудь или нет. И если найдёт, то будет ли этот новый «Он» старше, моложе, красив, умён или так себе какой-нибудь средне-завалящий кадр. Всё эти детали теперь не имеют никакого значения. Роман больше не придёт! Кончилась моя экстрасенсорика любви. И этим всё сказано.

Нина была упорна и целенаправлена, как танк. Она проветрила комнату, искусно навела на внешности Марины полный марафет, отыскала ей в И-нете достойного френда и вовлекла подругу в переписку с ним.

Пенфренд Аркадий оказался кадром подходящим во всех отношениях: чуть старше Марины, приятной внешности, грамотен в английском и русском языках, говорил, что не обременён женой.

Говорил... Поверим.

Относительная близость проживания тоже играла немаловажную роль. Они встретились несколько раз на

нейтральной территории в кафе, сходили на мюзикл, съездили в ботанический сад. Гуляли по аллеям, говорили... Понравились друг другу, и Марина уже почти вынуждена была признать справедливость Нининых слов, что незаменимых любовников нет и один клин благополучно вышиб другой. Но когда Аркадий пригласил её к себе на квартиру познакомиться поближе..., в самый «ответственный» момент Марина неожиданно вспомнила руки и голос Романа, решительно сказала «нет!», оттолкнула френда и без всяких объяснений уехала домой. Тот ничего не понял, только руками развёл...

Поворачивая ключ в дверном замке, Марина почувствовала вибрацию мобильного в кармане пальто и услышала знакомую мелодию звонка. Машинально посмотрела на часы.

Было десять вечера...

САМУИЛ КУР
Сан-Франциско, США

Владимир Маяковский. Муза и маузер
Документальное расследование (в сокращении)

Пролог

25 октября 1928 года Владимир Маяковский вернулся из Ниццы в Париж. Только успел в гостиничном номере привести себя в порядок, как в дверь постучали. Заглянула Эльза Триоле – она занимала комнату в той же «Истрии», на другом этаже. «Мне надо сейчас к врачу, – сказала она, – и я была бы тебе очень благодарна, если бы ты проводил меня». Отказать он не мог, значит, придется пока отложить свои дела.

Утром того же дня молодая русская эмигрантка Татьяна Яковлева, племянница известного парижского художника, почувствовала себя совсем плохо. Резко обострился бронхит, ее бил сильный кашель. Татьяна позвонила своему врачу, Сержу Симону, и спросила, что ей делать. Тот ответил: «Приезжай немедленно!»

Когда через некоторое время она вошла в гостиную доктора, там уже сидело несколько человек – сам хозяин, ее недавняя

знакомая Эльза Триоле и высокий, большой господин, одетый с исключительной элегантностью. Он не просто обратил внимание на вошедшую, он стал ее откровенно рассматривать. А она узнала его сразу – характерная короткая прическа, рост, красивое лицо. Владимир Маяковский! Их представили друг другу. Впоследствии она описала эту встречу так:

«Стихи Маяковского я хорошо знала и любила и не раз декламировала красноармейцам за краюху хлеба в те голодные годы. То, что он был первым поэтом большевистской России, меня ничуть не смущало. <...> Да и к встрече с такой знаменитостью – а в те годы его имя постоянно мелькало на страницах парижских газет – я отнеслась без робости и смущения. Благодаря знакомствам дяди Саши, я уже свыклась с тем, что меня постоянно окружали люди незаурядные и знаменитые. Накануне я играла с Прокофьевым в четыре руки Брамса, а несколькими днями раньше обедала с Кокто. Теперь я встретила с Маяковским. <...> То, что я всецело владела его вниманием с первой минуты, я тоже поняла – моя интуиция, которая столько раз спасала меня в жизни, на этот раз меня не подвела. Не боясь впасть в мелодраматический тон, это было... <...> мгновенное увлечение, обернувшееся любовью с первого взгляда, встречей, последствия которой я и отдаленно себе не представляла...»

После визита к врачу Маяковский провожал уже не Эльзу, а Татьяну. Отвез ее домой на такси, укутал ей по дороге ноги своим пальто, а возле дома признался в любви. Они встретились на следующий день. Когда-то, в поэме «Облако в штанах», Владимир Маяковский писал: «... иду красивый, двадцатидвухлетний». Сейчас ему было тридцать пять, а красивой, двадцатидвухлетней, была Татьяна. В Париже все знакомые звали ее Татá, на французский манер, с ударением на последнем слого.

Они бродили по городу, обедали в маленьких ресторанчиках. Она уже чувствовала себя здесь как дома, а у него была масса дел – он выступал, договаривался с издателями о переводах своих книг, вел переговоры с кинорежиссером Рене Клером. Встречался с русской творческой эмиграцией, со старыми петербургскими знакомыми – С. Дягилевым и Ю. Анненковым. Побывал в опере, посмотрел балет с Идой Рубинштейн. Лекции, вечера, контракты – всё это приносило

деньги. И однажды он обратился к Татьяне с просьбой – помочь выбрать автомобиль, чтобы и марка была солидная, и цвет подходящий. Тата улыбнулась:

– Ты умеешь управлять автомобилем?

– Это не для меня, – спокойно ответил он. – Это подарок моей жене.

У Татьяны от неожиданности взметнулись вверх брови. Между прочим, красивые, густые брови. Но всё же отвлечемся от них на некоторое время и заглянем в прошлое, в предысторию парижской встречи.

Владимир Маяковский. Отвага молодости

Он был непохожим на других. С самого начала. Неординарный, непредсказуемый. В 1911-м он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и сразу стал там заметной фигурой. Высокий, уверенный в движениях, плотно сжатые губы на волевом лице, неизменная папироса в уголке рта. Бархатная черная куртка с откидным воротником. Густые черные волосы. Подружился с Бурлюком. Давид Бурлюк был старше, тоже студент, но уже считал себя признанным футуристом. Ему прочитал однажды Маяковский свое стихотворение, которое начиналось так:

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бурлюк был поражен и восхищен, более того – назвал Маяковского гениальным поэтом. Гению было восемнадцать.

В ноябре 1911-го скоростижно ушел из жизни выдающийся художник Валентин Серов. На похоронах – вся Москва. И там Володя Маяковский познакомился с молодой художницей Евгенией Ланг. И – влюбился. Это была первая, юношеская влюбленность начинающего поэта. Они с Женей покупали на Красной площади пирожки, затем поднимались в Кремле на колокольню Ивана Великого (вход туда стоил одну медную копейку) и наверху, сидя на скамейке, часами разговаривали обо всём на свете. Им было хорошо, и всё же они расстались – Женя считала его еще мальчиком, ведь она старше

на целых три года! Через несколько лет они встретятся снова, и тогда Женя про эту разницу забудет...

В училище Владимира отмечают как одаренного ученика. Но теперь, наряду с призванием художника, его всё больше влечет к себе роль поэта-бунтаря. Футуризм объявлял об отказе от всех традиционных ценностей, за которые так держалось общество. Главный его лозунг звучал ясно и бескомпромиссно: «Долой!» Старые привычки, отношения, любовь – одним словом, всё долой. 30 ноября 1912 года Маяковский впервые выступает со своими стихами перед публикой в знаменитом арт-подвале «Бродячая собака». По этому случаю Владимир попросил маму сшить ему желтую кофту. Эпатировать публику – так эпатировать, по полной программе, не только стихами, но и внешним видом.

Весной следующего года владелец желтой кофты появляется в доме Федора Осиповича Шехтеля – одного из столпов российской архитектуры, построившего прекрасные здания в Москве. Старший сын Федора Осиповича вместе с художником Василием Чекрыгиным помогают Володе выпустить его первый поэтический сборник. Называется он по-футуристски скромно: «Я!». Дочь Шехтеля, гимназистка Вера, безоглядно влюбляется в красивого юношу, так не похожего на ее великосветских друзей. Он отвечает взаимностью.

Но Ф.О. Шехтелю – из немцев, когда-то завезенных в Россию еще Екатериной Великой – Маяковский категорически не нравится. Приверженцу строгого порядка и устойчивых традиций претят призывы всё низвергнуть и выбросить. К этому времени уже широко и скандально известен коллективный сборник кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу», где кумир его дочери, вместе с Д. Бурлюком, В. Хлебниковым и другими, требовал бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с парохода Современности. Дочь в восторге, но отец – отнюдь. Академик архитектуры не идет на компромиссы и изгоняет Маяковского из своего дома.

Осень 1913-го. Юная минчанка Софья Шамардина, или просто Сонка, приезжает в Петербург и поступает на женские Бестужевские курсы. Ее опекает друг их семьи К.И. Чуковский. Как-то он знакомит ее с Маяковским. Тот находился в это время в столице в связи с готовившейся постановкой его трагедии «Владимир Маяковский» в одном из питерских театров.

Премьера проходит с большим успехом, а у ее автора, режиссера и актера в одном лице появляется новая поклонница. Сонка отвергает и Корнея Ивановича, имевшего на нее виды (разумеется, скрытно от жены), и манерного Игоря Северянина. Ее роман с Маяковским, страстный и скоротечный, окончится для нее болью – поздним абортom. Но куда более трагической станет ее судьба после революции. Сначала – взлет: жена крупного советского деятеля и высокие должности в различных организациях. А в 30-х – самоубийство мужа, понимавшего, зачем его вызывают в Москву с Дальнего Востока. После чего Сонке влепят 17 лет лагерей. Впрочем, вернется она оттуда такой же убежденной коммунисткой, какой и была прежде.

Немаловажная деталь: все пассии Маяковского привлекали его внимание, в первую очередь, тем, что были красивыми. Симпатичной была и следующая возлюбленная поэта – Эльза Каган. Она увидела его в гостях у знакомых, где собиралась творческая молодежь. И испытала потрясение уже после первых стихотворных строчек, которые он ей прочитал:

Послушайте!

Ведь если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?

Восхищение прекрасными стихами и преклонение перед их автором слились воедино, возбуждив страстное желание видеть его, быть с ним. Много позже Эльза напишет в своих мемуарах, что ни один мужчина в ее жизни не дал ей такого полного счастья обладания, как Маяковский. Смелое признание, но это факт: не одна женщина испытала силу мощного мужского притяжения поэта. А он не мог жить без них, без внезапно вспыхивавшего чувства, подобного урагану. И не только потому, что он был так физиологически устроен. Кроме проходных «мелких любовей», которые быстро таяли, приходили и серьезные, длительные увлечения, оставившие неизгладимый след в его творчестве. Они становились для него источниками вдохновения, и каждое вносило свой, особый вклад в главную тему его лирики – тему любви.

Такой крупной вещью с пронзительным лирическим настроением стала поэма «Облако в штанах». Ее героиня, Мария – собирательный образ, вобравший в себя черты нескольких его любимых, и среди них – не покорившейся ему одесситки Марии Денисовой. Закончена поэма была к середине

1915 года. А в июле Эличка Каган решила похвастаться своим поклонником перед уже замужней старшей сестрой – Лилей Брик. Привела его к ней в гости. Попросила почитать стихи. Владимир Владимирович согласился – и тогда впервые прозвучало только что написанное произведение. Читал он блестяще. Такого ни Лиля, ни муж ее, Осип, никогда не слышали. Они сразу и безоговорочно поверили, что перед ними великий поэт. А тот, в свою очередь, тут же позабыв про свою спутницу, на тетрадке с «Облаком» надписал посвящение: Лилии Юрьевне Брик.

Эльза внезапно поняла, что совершила страшную ошибку, пригласив Маяковского к сестре. Но было уже поздно.

Лилия Брик. Девочка из приличной семьи

Лилия и Осип поженились в начале 1912 года. Невесте было двадцать. Ее родители восприняли замужество дочери с радостью и облегчением: наконец-то угомонилась! Они, однако, явно ее недооценили. Родители жениха, наоборот, никакого восторга по поводу избранницы своего сына не проявили; то, что о ней говорили шепотом – лучше бы их уши этого не слышали.

Между тем, обе семьи были вполне добродетельными и уважаемыми. Отец Лили в свое время пришел из Либавы (Лиепай) пешком в Москву, сумел получить образование и стать юристом. Мать (родом из Риги) профессионально играла на фортепиано. Отсюда – довольно широкий круг интересов, умные знакомые и тщеславные планы насчет будущего дочерей. Лилия металась – матфак Высших женских курсов, архитектурный институт, мастерская скульптуры в Мюнхене. И всюду ее появление оставляло гулкий отзвук – даже в гостях у родного дяди. Объяснялось это просто – юная Каган была суперсексуальна. Когда еще училась в школе, отличилась изумительными сочинениями – дома их читали всем гостям. Пока не выяснилось, что на самом деле писал их для нее и вместо нее учитель словесности. В 17 лет забеременела от учителя музыки – их свидания происходили прямо на уроках. Пришлось уехать в провинцию и сделать аборт. Врач объяснил, что теперь у нее не будет детей. Она нисколько не расстроилась.

Осип Максимович Брик закончил юрфак Московского университета. Однако по специальности работал лишь изредка и с очень специфическим контингентом клиентов, точнее – клиенток. Как адвокат он защищал проституток. Причем – бесплатно. Благодарные женщины нежно называли его за это «блядским папашей». Что же касается денег, то получал их молодой юрист из другого источника. Отец его, купец первой гильдии, торговал драгоценностями. Закупал в странах Средиземного моря черные кораллы и продавал их затем в России, в основном, в Средней Азии.

Лиля влюбилась в Осипа еще девчонкой и настойчиво добивалась от него ответного чувства. Пока не добилась. Осип ездил по стране с поручениями отца, и молодая жена сопровождала его. Эта идиллия продолжалась два года, и Лиля была счастлива.

Первая Мировая застала Бриков на борту парохода – они спускались вниз по Волге. Война оказалась некстати: Осип подлежал призыву, а воевать ему совсем не хотелось. Пришлось предпринять энергичные усилия. Нашли хорошего знакомого – знаменитого певца Собинова – и Осипа определили в Петроградскую автомобильную роту. Находилась она в столице, но считалась армейским подразделением. Брики переехали в Петроград и сняли там квартиру.

По странной игре случая, в эту же автороту, по протекции Горького, потом попал и Маяковский.

И вот – июль 1915-го, позже названный поэтом «радостнейшей датой». Искренний восторг Бриков, принявших на ура его поэму, пролил бальзам на чувствительную душу Владимира Владимировича. А неожиданное посвящение Лиле поразило обеих сестер. Особенно, Эльзу, которая привела его в этот дом. И которая воочию увидела, как тонкий лирик попал под обаяние женщины, обладавшей необыкновенными чарами.

Лиля не была красавицей, но это не имело никакого значения. Рассказывали, что стоило ей оказаться в обществе мужчин – одного или нескольких – как они немедленно объяснялись ей в любви, готовые разделить с ней не только постель, но и судьбу. Она рано осознала свою притягательную силу и пользовалась ею. Маяковский влюбился не на шутку, еще не представляя себе, во что это выльется.

Он становится в квартире Бриков своим человеком. Снимает номер в гостинице неподалеку от них. Осип на свои деньги издает «Облако в штанах», а вскоре и новую поэму Владимира, «Флейта-позвоночник», написанную в конце 1915 года. Она уже не просто посвящена Лиле – она о его любви к ней. Громадной, как всё у Маяковского.

Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней...

... где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги,
на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.

Этот поэтический образ – цепь и каторга – окажется не очень далеким от реальности. Во всяком случае, пока что ничего у поэта с его новой любовью не клеилось. Конечно, у нее был муж. По ее же признанию, – самый любимый. Но, во-первых, эта деталь ее никогда не останавливала. А во-вторых, уже через два года после свадьбы Осип прекратил с ней всякие плотские отношения. Так что если бы она захотела... Однако дело как раз было в том, что она сомневалась. Не знала, как выстроить линию своего и Осипа поведения с этим уникальным талантом. То, что он уже запутался в ее сетях, было очевидно, и поэма тому доказательство. Но Лиля боялась – с одной стороны, отпугнуть его, а с другой – продешевить. Она искала выход.

Между тем, квартира Бриков становится чем-то вроде клуба, куда на огонек заглядывают Вс. Мейерхольд, Ю. Тынянов, В. Шкловский, Вл. Татлин, Б. Эйхенбаум и другие. Основное занятие, кроме дискуссий, – игра в карты. Заводилой здесь являлся Маяковский. Причем для него это было не развлечение и даже не увлечение, а страсть.

В начале 1917 года он возвращается в Москву. Уходит из своей семейной квартиры, где жил с матерью и двумя сестрами. Поселяется в гостинице. Лиля – в Петрограде, решила вдруг стать балериной и занимается в студии. В письмах к Володе – обычная информация, никакого проявления чувств. А весной в московском театре «Эрмитаж» Маяковский неожиданно встречает свою давнюю любовь, Женю Ланг. Она замужем, за

адвокатом. Но не загашенное до конца пламя вспыхивает и разгорается с новой силой. С этой минуты влюбленные всюду вместе. Честная Женя сообщает мужу о том, что с ней происходит. Тот снисходительно замечает: ничего, пройдет. И воспользовавшись ситуацией, по ночам, до утра, играет у друзей в карты. Маяковский собирается встречать с Женей новый, 1918 год. Но тут адвокат требует, чтобы она в этот вечер была с ним – жена всё-таки. Женя уступает мужу. Для ее возлюбленного это серьезный укол.

27 февраля 1918 года в Политехническом музее при переполненном зале публика избирала «короля поэтов». Претендентов – масса, «на сцене было тесно, как в трамвае». С небольшим отрывом от Маяковского победил Игорь Северянин. Среди зрителей находилась и Эльза Каган. Она, разумеется, засекла Володю с его спутницей. И черкнула по этому поводу пару строк своей сестре в Питер. После чего Владимир Владимирович получил из Петрограда письмо: «Ты мне сегодня всю ночь снился: что ты живешь с другой женщиной, что она тебя ужасно ревнует, и ты боишься ей про меня рассказать. Как тебе не стыдно, Володенька?»

Неизвестно, стало ли Володеньке стыдно. У него с Женей всё складывалось отлично. Но в мозгу, затаившись, сидела Лиля и манила к себе. Она настаивала, чтобы он приехал к ним в Петроград. Маяковский не выдержал и откликнулся. Он предложил написать сценарий фильма для двоих – для себя и Лили – и снять его в Москве. Польщенная балерина немедленно направилась в Москву. Узнав об этом, Женя разорвала отношения с Володей. А в одной из студий действительно сняли картину «Закованная фильмой» по сценарию Вл. Маяковского, с ним и Лилей Брик в главных ролях.

Кино сблизило их. Но не только кино. Октябрь 1917-го подтолкнул сестер Брик к решительным действиям. Эльза присмотрела себе обожателя – еще недавно бывшего офицером французской миссии в России, и выехала к нему в Париж как его невеста. Вскоре она стала мадам Триоле, сохранив эту фамилию до конца жизни. А Лиля, наконец, нашла форму, которая объединила бы ее с Маяковским.

Раньше они с Осипом – скажем так: влачили безбедное, сытое существование. Теперь же надо было думать, где жить и на что жить. А Маяковский на глазах вырастал в гигантскую

фигуру – пролетарского поэта, «агитатора, горлана-главаря». И Лиля предлагает Володеньке создать в общей квартире уютное семейное гнездо. Где они будут жить втроем – он, она и Осип. Владимир, конечно, будет главным, то есть будет зарабатывать и обеспечивать семью. А они станут помогать ему, как делали это уже не раз.

Маяковский согласился.

Надо сказать, что излагая такую концепцию семьи, Лиля Брик не была оригинальной. Идея принадлежала Осипу Максимовичу. Именно он сформулировал ее несколько лет назад, как принцип их брачного союза с женой: «полное доверие и полная свобода в любви при условии совместного проживания». А советская власть подлила масла в огонь: по декрету о гражданских отношениях заключение брака считалось необязательным. Мгновенно вспыхнула теория свободной любви – когда хочешь и с кем хочешь. Переспать – как выпить стакан воды. А как раз в этой области Лиля уже давно была впереди всех – так сказать, специалистка с дореволюционным стажем.

Она не сомневалась, что Владимир – гений. Он войдет в историю. Быть его музой – значит войти в историю вместе с ним. Но для этого его надо прочно привязать к себе. Любимый Ося одобрил создание семьи, члены которой связаны духовными узами и общей территорией. Он первым понял величие В.В. Маяковского, благодаря ему даже стал теоретиком литературы и сценаристом. Так что их союз не представлял из себя любовного треугольника. Осип существовал в нём как официальный муж Лили, не более того. Она, естественно, считалась его официальной женой. ВВ же выступал в роли добровольного участника содружества и одновременно снабженца. Правда, Маяковский любил Лиллю, а Лиля любила Осипа. Но в обратном направлении схема не работала. Брик-муж вообще нашел себе постоянную спутницу, с которой они пребывали во взаимной любви и понимании. К эквилибристике законной жены он относился с пониманием.

Таким образом, в 1918 году Маяковский вошел в очень непростой коллектив и был допущен в спальный альков Лилечки. Спустя годы она напишет: «Так оно и случилось: мы всегда жили вместе с Осей. Я была Володиной женой, изменяла ему так же, как он изменял мне, тут мы с ним в расчете». Сразу

заметим: термин «Володина жена» – всего лишь приманка для биографов. С фактической же стороны это неправда. Были мужчины, с которыми ЛБ находилась в более длительной связи, чем с ВВ. Единственное, что она исправно делала (как жена?) – забирала заработанные деньги. Но не будем вникать в «расчеты», а попробуем, взамен, разобраться, что все-таки привязало поэта к этой женщине.

Лиля Брик получила качественное образование. Она, как и Эльза, свободно владела немецким и французским. У нее была воспитанная с детства культура общения – которую имел возможность перенять Маяковский. Она сумела, к тому же, кое-что усвоить из поэтического мира начала 20 века. И чутьё подсказывало ей, что хорошо и где надо восхищаться. В ней был лоск – в противовес парню из провинции, из бедной семьи, небрежному в одежде и порой с грубыми замашками. И довольно скоро этот парень уже покупал себе рубашки и обувь в элитных парижских магазинах. Что, вообще-то говоря, противоречило убеждениям, которые он публично провозглашал: долой старый, буржуазный быт!

Но главным, конечно, было не это. Лиля привлекала с первого взгляда. Она учила своих подруг: похвалите мужчину, скажите ему, что он бесподобный, гениальный – и он ваш. Маяковский и полюбил ее как женщину, которая его понимает, ценит его творчество. Но, кроме того, или – в первую очередь, она обладала неким магнетизмом, скорее всего, врожденным. Устоять против него нормальный здоровый мужчина мог только с большим трудом. Как и во что трансформировалось у Маяковского возникшее с первой встречи влечение к ней – об этом разговор впереди.

Существующее мнение, что Лиля Брик «образовала» и «обтесала» поэта, далеко от истины. Безусловно, что-то было. Но и он провел три года в стенах училища живописи, ваяния и зодчества – учебного заведения, дававшего солидную художественную и общекультурную подготовку. Среди его друзей и знакомых числилось немало выдающихся творческих личностей, общение с которыми не могло не влиять на него. Что же касается понимания Лилей Юрьевной искусства, приведем любопытный факт.

Так сложилось, что любовный корабль «Владимир+Лиля» находился на плаву недолго. Подняв флаг в 1918-м, он уже в

1920-м дал течь. Оставаясь женой Маяковского (в ее понимании), Лиля окунулась в очередной роман – с историком искусства Н.Н. Пуниным. Он был увлечен не на шутку, описывал ее огромные, выразительные глаза, красивый рот, легкий шаг – всю ее, такую сладкую и томящую. Но когда она в постели начинала высказывать свои суждения об искусстве – это выводило Пунина из себя. И закончилась их связь неожиданно. Николай Пунин позвонил ей и сказал: ты для меня интересна только физически. Если согласна на такой вариант – будем встречаться, если нет – видеться не будем. Она сказала – «нет».

Это к тому, что на поверку Лилины познания в искусстве выглядели слишком поверхностными, чтобы их можно было принимать всерьез. Пунин через пару лет стал мужем Анны Ахматовой. А Володина «жена» тоже не теряла времени даром. В 1921-м она познакомилась с Александром Михайловичем Краснощековым (рожденным как Абрам Моисеевич Краснощек). Потом ненадолго рассталась с ним, поскольку Лиля, Осип и Владимир уезжали за границу. Побывали в Берлине, Лиля встречалась с Эльзой и вместе с ней – с мамой, Еленой Каган, жившей и работавшей в Лондоне. А когда вернулись домой, Лилин роман раскрутился по полной программе.

Товарищ Краснощек был личностью незаурядной. Сын портного из Чернобыля, он подпольно примкнул к социалистическому движению, бежал в США и сумел окончить там чикагский университет (по специальностям – экономика и право). В 1917-м вернулся в Россию, где стал большевиком. Создал Дальневосточную республику, в которой существовали свобода слова и печати. Потом ДВР вошла в состав РСФСР, Кривощекова от руководства отстранили, но дали должность в Москве. Он уговорил позволить ему основать Промбанк – в основном, для иностранных инвестиций в экономику. За 8 месяцев капитал его банка вырос в десять раз. Вот тогда его и посадили. Обвинили в разбазаривании денег (!) и кутежах. Оказалось, он хотел взять под свое крыло и Госбанк. Такую наглость простить было нельзя. Дали ему 6 лет, а Госбанк присоединил Промбанк к себе.

Все эти события разворачивались в 1922-1924 годах. Краснощеков, сорока двух лет, высокий, широкоплечий,

обаятельный, начитанный, блестяще образованный, на Лилины авансы откликнулся. Тем более, что его жена с сыном уехали в Америку. Когда он оказался за решеткой, Лиля забрала к себе жившую с ним дочь, навещала его в тюрьме, а потом в больнице.

Маяковский, конечно же, расстраивался, ревновал и даже высказал свое недовольство. В ответ получил обвинение: ему сказали, что он погряз в старых понятиях о семейной жизни. А через некоторое время в письме Лиля однозначно заявила: я не люблю тебя, надеюсь, ты не будешь от этого мучиться. Так в 1924-м с любовью – и до того достаточно призрачной – было покончено.

Что не означало, однако, что «семья» перестала существовать.

Татьяна Яковлева. Русская парижанка

Слово «жена» из уст Маяковского поразило Татьяну – такого она не ожидала. И тогда он рассказал ей о себе – всё, как оно было, и всё, как оно есть. Начиная с детства. Про отца, который укололся булавкой и умер от заражения крови. После чего семья осталась без кормильца. А Володе было всего тринадцать. Про то, как потом пробивался в жизни – учился в художественном училище, увлекся футуризмом. И про «семейный договор» с Бриками. Рассказал, кто такая Лиля. И что, хотя между ними близости нет, он ее уважает и связан с ней некоторыми обязательствами. При этом слово «жена», конечно же, чисто условное определение для их отношений.

Татьяна всё поняла и приняла. Напряжение исчезло, они снова улыбались друг другу. Выбрали автомобиль – красивый рено, стального цвета. Володя отправил Лиле сообщение, что ее главный заказ выполнен. А то она уже заваливала его письмами: что случилось? Почему целых три недели не пишешь? Рено снимал все вопросы.

За эти дни он узнал многое о Татьяне. Понятно, какими-то деталями она не делилась, что совершенно естественно для женщины в общении с мужчиной, которого она встретила совсем недавно. Но нам незачем что-либо утаивать.

Татьяна Яковлева попала в Париж в 1925-м. Ей было тогда 19. Она родилась в Петербурге, в старинной дворянской семье,

к которой принадлежал, в частности, А.И. Герцен. Отец ее, известный архитектор, по мере получения заказов переезжал с места на место. Так Яковлевы оказались сначала в Вологде, а затем – в Пензе, где Алексей Евгеньевич проектировал городской театр. В 1915-м родители разошлись, отец уехал в Америку. Мать вышла замуж вторично, за антрепренера, человека с солидным состоянием. После революции он остался ни с чем. Голод привел его к истощению, туберкулезу, и в 1921-м он ушел из жизни.

Наступила очередь Тани помочь выжить семье – ей, матери и сестренке. На вокзале и в других местах она читала перед красноармейцами стихи, а знала она их неисчислимое множество – от Ахматовой и Блока до Есенина и Маяковского. Если повезет, за концерт можно было заработать буханку хлеба. Кончились эти выступления сильнейшим бронхитом и опасением, что начался процесс в легких.

Между тем, ее родной дядя, Александр Яковлев, отличный художник, жил в Париже на широкую ногу. Он был в фаворе у знаменитого владельца автоконцерна Андре Ситроена – разрабатывал для него дизайн автомобилей. Танина мама написала ему эмоциональное письмо – девочка может погибнуть, ей необходимо лечение. Не смог бы он забрать ее для этого к себе? Художник, разумеется, сразу же откликнулся. Он обратился к послу СССР во Франции Леониду Красину, с которым был хорошо знаком, а также к своему патрону. Пришлось приложить немало усилий, а Ситроену потратить большие деньги, чтобы уговорить советское правительство выпустить девушку из страны. Так Татьяне удалось вырваться на Запад.

Солнечные ванны на пляже, на южном берегу Франции, следование рекомендациям врачей и хорошее питание сделали свое дело. Здоровье пришло в норму, и Татьяна появилась в парижском обществе, чтобы произвести там фуррор. Она была ослепительно красива и, кроме того, совсем не выглядела провинциалкой. Вот что она заметила впоследствии по этому поводу: «Я приехала из интеллигентной семьи вполне начитанной, знающей музыку и живопись барышней. К тому же я не попала в чужой дом, а к бабушке, тетке и дяде, которые меня обожали, когда я еще была ребенком».

Бабушка, между прочим, одной из первых женщин в России закончила математический факультет и писала стихи.

Вокруг Татьяны мгновенно закружился рой поклонников. Благодаря дяде, она быстро вошла в круг его общения – а это были сливки художественной интеллигенции, многие из которых встречались в широко известном в Париже салоне Зизи Свирского. Достаточно назвать несколько имен – Ф.И. Шаляпин, художники Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, уже знаменитый поэт, драматург и режиссер Жан Кокто, Луи Арагон, Коко Шанель, Сергей Дягилев. Затесался в эту компанию – и в число почитателей русской красавицы – даже нефтяной магнат.

Казалось бы, такие прекрасные условия, такой круг знакомых – живи в свое удовольствие. А Тата стала искать работу. Пошла в киностудию – сниматься в массовке, и первые заработанные деньги отослала в Пензу. Правда, на съемках обожгла глаза. Какое-то время работала фотомodelью – позировала для поздравительных открыток и рекламных плакатов. Потом устроилась в шляпное ателье, хозяйкой которого была тоже эмигрантка, кавказская княжна Фатма-Ханум Самойленко. И, наконец, поступила в Эколь де кутюр – парижскую Школу моды и костюма. Таким образом, она стала дипломированным модельером женских шляпок: «... я начала делать рисунки шляп и продавала в Америку через «Вог»...»

Тата подружилась с Шанель, и та придумала, как сделать, чтобы красота подруги работала на их общую пользу: стала одевать ее в только что созданные платья. Получился отличный способ рекламировать в обществе свои новые модели. А Татьяну любили все – и за общительность, и за доброжелательность, и за готовность прийти на помощь, порой в самых неожиданных ситуациях. Был, к примеру, такой случай. Жан Кокто поселился в тулонской гостинице в одном номере с Жаном Маре. Портье доложил, куда следует, явилась полиция нравов и арестовала драматурга. Узнавшая об этом Тата примчалась в Тулон и с хорошо разыгранным возмущением заявила в полицейском участке: «Как вы посмели арестовать моего любовника?!» Кокто тут же освободили.

Татьяна покорила Маяковского с первой встречи. В последние годы в нём всё сильнее разгоралось желание вырваться из Лилиного плена. И если раньше мысли о

настоящей женитьбе ему просто в голову не приходили, то сейчас они неумолимо сверлили сознание. Совсем недавно даже кандидатка появилась – работница Госиздата Наталья Брюханенко. Потом она сама признавалась, что не дотягивала до уровня своего гениального друга, не всегда понимала его. К тому же, почуяв неладное, быстренько вмешалась Лиличка и пресекла любые поползновения к возможному серьезному шагу.

И вот – Татьяна. «Ты со мною ростом вровень...» – написал Маяковский через пару недель. Высокая, длинноногая красавица ни в чём не уступала ему, признанному, прославленному поэту. Не только ей было интересно с ним, но и ему с ней. Казалось бы, всё ее образование проходило в домашних стенах и оборвалось в 12 лет, в 1918 году. Но она не напрасно высоко отозвалась о себе самой. То, что могла дать дочери дворянская семья такого уровня, стоило многих лет обучения в школе. Гувернантка учила ее немецкому, а дома мать и отец говорили по-французски. Поэтому этими двумя языками Таня владела свободно. Ее письма матери свидетельствуют о великолепном владении родным, русским языком. А еще она серьезно увлекалась поэзией, знала наизусть много сотен стихотворений Пушкина, Лермонтова, современных поэтов и даже сама пробовала писать. Неплохо рисовала. А про игру на рояле мы уже говорили.

Но самое главное, у нее был незаурядный ум. И всё шло замечательно, хотя...

Хотя в тайная тайных поэта затаилась одна душевная рана, которая его мучила. Звали ее Элли Джонс. За день до знакомства с Татьяной, еще ничего подобного не подозревая, он виделся с Элли в Ницце. Виделся не впервые. Начиналась эта история три года назад и разворачивалась на глобальных пространствах.

В 1925-м Маяковский задумал совершить кругосветное путешествие. За этим громким намерением скрывалась куда более простая, но желанная цель: попасть в США. Там обитал давний друг – Давид Бурлюк, были и другие знакомые. И вообще, Америка манила. Проблема, однако, заключалась в том, что у СССР и США не было дипломатических отношений, и визу получить было невозможно. Приходилось искать обходные пути.

Владимир Владимирович для начала отправился во Францию. Следующим шагом стал бросок через Атлантику – в Гавре он сел на пароход, направлявшийся на Кубу. Оттуда перебрался в Мексику. А вот дальше дело застопорилось. Бурлюк, обещавший помочь, ничего не смог добиться – не было у него, рядового иммигранта, нужных связей. И всё же визу Маяковский получил – ее добыл для него Исая Хургин. Человек этот возглавлял в Нью-Йорке Амторг – советскую организацию, которая занималась торговлей с Соединенными Штатами. Хургин мог многое. Сразу же после знакомства с прибывшим поэтом он выдал ему некоторую сумму – на мелкие расходы. Разработал программу его выступлений и поездок по стране. Более того, поселил его в элитном доме на Пятой авеню, где жил сам.

Хургин, талантливый организатор, обладавший деловой хваткой, имел множество знакомых. Одной из них была молодая модель, Элли Джонс, демонстрировавшая на выставках драгоценности. Исая поделился с ней: в Нью-Йорк приехал Маяковский – но, добавил он, прошу позволения не знакомить тебя с ним, потому что он любит ухаживать за женщинами. Элли была заинтригована, однако приняла к сведению дружеский совет.

Между тем, к Хургину приехал посланец из Москвы, некто Склянский – начальник треста «Моссукно», недавний помощник Троцкого. В один из дней они вдвоем поехали кататься на лодке по озеру, лодка перевернулась, и оба утонули. В московских газетах написали, что это несчастный случай, в американских – что это политическое убийство.

Маяковский в одночасье оказался в пиковой ситуации – мало того, что все планы рушились, так он еще и остался без денег. Он понимал, что никуда не денешься, это судьба, но он знал также, что судьба иногда приходит по поручению ГПУ. Поэтому он ни тогда, ни впоследствии не комментировал происшедшее.

Через неделю после смерти Хургина бывший работник АРА – американской миссии помощи голодающим во время гражданской войны, а ныне юрисконсульт Амторга Чарлз Рехт устроил коктейль в честь Маяковского. Была приглашена и Элли Джонс. Помня о словах Хургина, она позвала с собой Лидию Мальцеву – оперную певицу и очень красивую

женщину, которая считалась признанной покорительницей мужчин. Певица сразу приступила к атаке, но с первой минуты стало ясно, что ее усилия обречены на провал. Между ее подругой и знаменитым поэтом проскочила искра, которую нельзя было не заметить.

Элли Джонс родилась в 1904-м на востоке России, в нынешней Башкирии, и звали ее тогда Елизавета Петровна Зиберт. Отец – из немецких протестантов-меннонитов, переселившихся в Россию еще при Екатерине Великой. Семья владела большими земельными угодьями. Дома говорили по-немецки, кроме того, Лиза свободно общалась на русском, английском, французском. Любила поэзию, была хорошо знакома с литературой вообще.

После революции, потеряв всё, родители бежали за границу. Осели в Канаде, где бедствовали. А юная Елизавета стала работать в Самаре в приюте для беспризорных детей. Потом в Уфе устроилась в американскую гуманитарную миссию. Когда девушка познакомилась с ее начальником, полковником Уолтером Беллом, тот лежал при смерти в тифозном бараке. Елизавета выходила его, и он не только пригласил ее в Москву, в центральное отделение миссии, но и в дальнейшем остался ее другом. А Лиза вышла замуж за сотрудника этой организации Джорджа Джонса и уехала с ним в Америку. Там она превратилась в Элли Джонс.

Семейная жизнь не сложилась. Супруги жили сами по себе. Муж денег не давал. Элли была высокой, стройной молодой женщиной. Благодаря очень красивым рукам, ее взяли рекламировать драгоценности. И в августе 1925-го на вечеринке в Нью-Йорке представили Маяковскому, о котором она слышала еще в России и стихи которого любила. Взаимное чувство вспыхнуло сразу. Вскоре они стали близки – в той самой квартире «от Хургина». Владимир Владимирович, по своему обыкновению, рассказал о себе, о бриковской «семье» и о Лиле.

Однажды Элли была потрясена, случайно прочитав лежавшую на столе телеграмму от «московской жены»: «Куда ты пропал? Напиши, как живешь. С кем ты живешь, неважно. Я хочу поехать в Италию. Достань мне денег». Возникшее в этот момент неприятие Лили и даже страх перед ней остались у Элли на всю жизнь.

Они всюду бывали вместе – на выступлениях и выставках Владимира, возле статуи Свободы и в загородном лагере. Посещали достопримечательности, обедали в дешевых ресторанах. Уже на склоне лет Элли как-то заметила, что Маяковский был самым бедным из ее мужчин. Она не знала, что при всём при том, он отправил несколько переводов на имя Лили Брик – в сумме около тысячи долларов.

Через несколько недель действие визы закончилось. Элли просила хранить их встречу в тайне. Была толпа провожающих у парохода. Было прощание – наверное, навсегда. И – быстро расширяющаяся полоса воды между бортом и причалом. На берегу осталась любовь, а в записной книжке – восторженный гимн американской технике, стихотворение «Бруклинский мост». Маяковский вернулся в Москву.

15 июня 1926 года Элли Джонс родила девочку. Ее назвали Патрицией-Еленой, в честь двух крестных. Эти месяцы, после расставания с любимым, были очень тяжелыми для Элли. Она остро переживала разлуку. Потом потеряла работу и комнатку, которую снимала – родить без мужа считалось в Америке тех лет верхом безнравственности. Денег не было, а за роды предстояло платить. Маяковский о своем будущем ребенке еще ничего не знал. В начале 1926-го года, не упоминая о беременности, Элли в отчаянии пишет ему письмо: сняла с подругой квартиру, в июне должна на время лечь в больницу, если бы он смог ей чем-нибудь помочь, было бы здорово. Маяковский откликнулся телеграммой, в которой ссылаясь на «объективные обстоятельства». Денег не прислал, а ведь наверняка, сопоставив даты, понимал, почему она точно знает, когда ей надо будет лечь в больницу.

Прошло два года. В октябре 1928-го «бриковский снабженец» снова оказался в Париже со списком от Лили – что надо купить. Прогуливаясь по одной из центральных улиц, он вдруг увидел знакомое лицо – Лидия Мальцева! Та самая, которая пыталась очаровать его на нью-йоркской вечеринке. Поздоровались, завязался разговор, и Лидия, как о рядовом факте, сообщила:

– Кстати, а Элли с дочкой как раз сейчас отдыхают в Ницце.

О том, что у него растет дочь, Маяковский уже знал. Через день он ее впервые увидел. В Ницце, в гостинице, в снятом им номере, они сидели втроем. Элли рассказывала о себе. Джонс,

ее законный муж, находясь в своей Англии, узнал о рождении девочки. Человек благородный, он дал ей свое имя и восстановил с ними отношения. Сейчас Элли ждала английскую визу. Они говорили до ночи, нежданная гроза побудила маму с дочкой остаться на ночь в номере. Элли-младшая уснула, а взрослые продолжали нелегкий и откровенный разговор. Недавняя страсть, казалось, снова вспыхнула с прежней силой, но Элли-старшая сумела ее обуздать. Ради будущего дочери и своего будущего. Она понимала, что пролетарский поэт не станет ради нее эмигрантом, в Америке ему делать нечего. А родить еще одного ребенка от него – сломать себе жизнь. И она не допустила близости.

За три дня в Ницце Маяковский полюбил свою доченьку. Она играла у него на коленях. А потом он вернулся в Париж – и тут же Эльза привела его в приемную доктора, где сидела потрясающая красавица Татьяна Яковлева. Случайно?

Всё в мире переплетено и взаимосвязано. Про то, что один воспримет как удивительную случайность, другой равнодушно заметит: «Ничего особенного» – а третья усмехнется про себя, потому что именно она эту неожиданность устроила. В нашем случае третьей была Эльза. Союз с Триоле расстроился, жить было трудно. Приходилось крутиться – нанизывать на нитку бобы чечевицы или фигурных макарон и продавать полученное таким образом кольцо под видом «африканских бус». Поэтому каждый приезд Маяковского становился для нее праздником – пока он был в Париже, она жила за его счет.

В русской колонии французской столицы слухи распространялись быстро, сарафанное радио работало без перебоев. Зачем Маяковский поехал в Ниццу и с кем там встречался – об этом Эльзу проинформировали сразу. Для нее новость прозвучала оглушающе: кто знает, что в голове у Володички – насколько долго затянется общение с ним дочери и ее мамы и насколько глубоко его заденет? А вдруг махнет с ними за океан? С одной стороны, такой поворот событий угрожал бы ей потерей поддержки здесь, во Франции. А с другой стороны, мог бы подорвать положение ее сестры как бессменной музы поэта.

План – как разрубить этот гордиев узел, созрел у Эльзы почти мгновенно. Она хорошо знала своего бывшего любовника – подставь ему яркую молодую женщину, и он на нее клонет.

Беспрюирышный вариант. Так оно и получилось. О том, что задуманная ею эффектная операция на самом деле – серьезный прокол, Эльза поняла уже на следующий день. Вместо легкого увлечения, Маяковский влюбился – да еще как! Сообщить о своем провале сестре Эльза никак не могла. В итоге впервые из Парижа в Москву, Лиле Брик, никаких агентурных данных не поступало. И она ни о чём не подозревала.

Теперь каждый день Маяковского был освещен его любовью. Утром он звонил Татьяне домой, и они договаривались, где встретиться вечером. Иногда их видели в компаниях с известными людьми в знаменитых артистических кафе – и знакомые русские эмигранты отмечали, как эти двое удивительно подходят друг другу. Чаще они старались уединиться где-нибудь у парижских друзей. Через две недели Владимир предложил Татьяне выйти за него замуж и уехать с ним в Москву. Она не могла решиться на такой шаг без основательных раздумий. Ее сомнения вызвали бурный эмоциональный отклик у поэта. Последовала бессонная ночь и ее итог – стихотворение, прочитанное любимой следующим вечером. Называлось оно «Письмо Татьяне Яковлевой» и заканчивалось такими строчками:

Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это оскорбление
на общий счет нанижем.
Я всё равно
тебя
когда-нибудь возьму –
одну
или вдвоем с Парижем.

Маяковский прочитал его Эльзе и в кругу парижских русских. Он хотел, чтобы все знали о его любви, чтобы слышали обращенный к любимой женщине призыв:

Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,

иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.

Надо заметить, что в эту парижскую поездку Владимир Владимирович отправился как бы в командировку – от «Комсомольской правды» и «Молодой гвардии». Что, естественно, сопровождалось командировочными. Но, в то же время, требовало отдачи – стихов, обличающих буржуазные порядки. Социальный заказ поэт выполнил и несколько таких произведений создал. А кроме этого, еще два, не предусмотренных договором. О первом разговор уже шел, а второе тоже было посвящено Татьяне – «Письмо товарищу Кострову о сущности любви». Автор отправил его редактору «Комсомолки» Тарасу Кострову, и оно было опубликовано. (Позже в СССР такой женщины – Т. Яковлева в биографии поэта не существовало, поэтому «Письмо Татьяне Яковлевой» вынырнуло из небытия лишь в 1956 году.)

Маяковский вернулся в Москву 12 декабря 1928 года. Перед тем, как покинуть Париж, он сделал заказ в оранжерею и оплатил его – чтобы каждое воскресенье, утром, Татьяне домой доставляли букет свежих роз от его имени. Карточки со стихотворными посвящениями к букетам на полгода вперед он тоже подготовил заранее. Из Берлина, где была промежуточная остановка по дороге домой, звонил Тане. «... это был сплошной вопль» – писала она потом матери в Пензу. И в том же письме сообщала, что каждый день получает о него телеграммы.

«Письмо Кострову» было опубликовано в январе и вызвало взрыв возмущения ассоциации пролетарских писателей – РАПП. Говорили, что его автор изменяет делу коммунизма тем, что пишет на такую тему. Какая может быть любовь, когда надо делать мировую революцию?! Нет, конечно, пролетарии всех стран должны соединяться – но не в таком же смысле. И по поводу автомобильчика Маяковскому пришлось публично извиняться, хотя в этой затее он играл лишь роль бессловесного исполнителя.

Зато к Лиличке он явился гордый и сияющий. Дело в том, что как раз в это время у нее был бурный роман с известным режиссером кино Львом Кулешовым. Лев катал ее по городу на

своем форде. Тогда-то она и загорелась идеей иметь собственный выезд.

Владимир Владимирович должен был: а) заработать деньги – довольно приличную сумму; б) купить на эти деньги машину, удовлетворяющую целому списку особых требований; в) обеспечить ее доставку в Москву. И Волосит (как она его звала) всё это сделал! И теперь он пришел к ней, чтобы поделиться: у него есть возлюбленная – красавица, замечательная русская девушка, и он собирается на ней жениться! Лиля как член «семьи», наверняка, обрадуется за него!

Радость и благодарность Лили в ответ на признание Владимира вылились в весьма оригинальной форме: она устроила истерику с битьем посуды. Обвинила Маяковского в измене: до сих пор, с 1915 года, он никому, кроме нее, не посвящал стихотворений. А тут посмел написать любовные стихи какой-то эмигрантке! «... опять в работу пущен сердца выстывший мотор»! Что это такое?!

Поэт, который обычно каялся перед своей музой номер один, на сей раз ничего не сказал. И это еще больше ее разозлило.

Маяковский обещал Татьяне, что вернется к ней, скорее всего, к маю. А она писала из Парижа матери: «Он всколыхнул во мне тоску по России. <...> Он такой колоссальный и физически, и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след».

В его письмах звучала та же тема, только обращенная к возлюбленной: «Я ношу твое имя, как праздничный флаг над городским зданием, и оно развевается надо мной. И я не принижу его ни на миллиметр».

Не только поэт, но и драматург, он работал в это время над своей пьесой «Клоп». Ее сразу же принял к постановке Вс. Мейерхольд. Премьера спектакля прошла с триумфальным успехом. Не дожидаясь отзывов и разборов, Маяковский умчался в Париж, прибыв туда намного раньше, чем планировал. Уже в конце февраля 1929-го он опять в знакомом отеле «Истрия». Эльза успела исчезнуть оттуда. Еще осенью она познакомилась с Луи Арагоном, взаимное чувство оказалось настолько сильным, что она немедленно перебралась в его каморку. Арагон был уже известен как поэт, но всё еще беден, как церковная мышь.

Два месяца Владимир и Татá почти не расставались. Татьяна в письме просит извинения у мамы за то, что пишет крайне редко: «В.В. забирает у меня всё свободное время». Их любимое место – небольшой ресторанчик «Гранд шомьер» на Монпарнасе. Они часто ходили в кино – в СССР французские и американские фильмы не показывали. На выходные уезжали на атлантическое побережье. Владимир уговаривал Татьяну стать его женой и уехать с ним в Советский Союз. Временами она была близка к тому, чтобы согласиться.

Только раз Маяковский отлучился из Парижа на три дня. Об истинной цели этой поездки Татьяна ничего не знала. А ему очень хотелось еще раз увидеть свою дочь. Он заранее договорился с Элли через ее сестру, что они приедут в Ниццу. Но что-то не сработало, и они разминулись во времени. Была, правда, еще одна существенная причина отправиться на юг Франции – рядом Монте-Карло с его знаменитым казино. Заядлый игрок, Маяковский вскоре очутился за игорным столом в надежде сорвать крупный куш. Деньги, которые он щедро тратил и на свою возлюбленную, и на Арагонов, почему-то растаяли с поразительной быстротой. Увы, ему не повезло, он проиграл и те жалкие франки, которые еще оставались.

На его счастье, он случайно встретил на улице старого знакомого, Юрия Анненкова. Занял у него тысячу франков. А заодно спросил, когда тот намерен вернуться в Москву. Анненков ответил: никогда. Потому что он хочет остаться художником. Маяковский помрачнел и произнес хриплым голосом: «А я – возвращаюсь... так как я уже перестал быть поэтом...» Его многое разочаровало на родине, он признался в этом не только другу, но и женщине, которую любил. В то же время дома его ждали творческие замыслы, которые необходимо было воплотить в «строчки и другие добрые дела».. Они договорились с Таней, что он уедет ненадолго – не позже октября он снова будет в Париже для решающего события в их жизни. В конце апреля, расставаясь на вокзале, они сказали друг другу: «До встречи!»

АНАТОЛИЙ ВАЛЮЖЕНИЧ
Астана, Казахстан

Лилино ли теперь это поле? Где покоится прах Лили Брик
Эссе

*Она красивая –
ее наверно воскресят*
В.Маяковский. ПРО ЭТО. 1923 г.

В ноябре 2016 года исполняется 125 лет со дня рождения легендарной Лили Юрьевны Брик, музы В.Маяковского, благодаря усилиям которой всемогущий вождь присвоил ему небывалое звание *«лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи»*.

Ей он посвятил лучшие свои произведения, написав «про это» самые проникновенные слова. В ее доме и при ее непосредственном участии выпускались легендарные журналы «ЛЕФ» (1923-25) и «Новый ЛЕФ» (1927-28), собиравшие весь цвет тогдашнего советского авангарда. На протяжении многих лет она привечала у себя в доме, слывшем литературным салоном, талантливую поэтическую молодежь разных поколений: В.Хлебникова и С.Кирсанова, Н.Глазкова и М.Кульчицкого, А.Вознесенского и В.Соснору и их друзей и соратников по поэтическому цеху.

Через ее биографию прошли видные деятели отечественной и зарубежной культуры, и они оставили самые теплые воспоминания о ней. Ее знали и Ленин, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев. Но далеко не всегда их отношения с ней носили благостно-покровительственный характер.

Во второй половине прошедшего века у нас в стране развернулась гнусная идеологическая кампания, получившая впоследствии обобщенное название «Операция «Огонек»», отразившая «Как Коммунистическая партия Советского Союза боролась с Лилей Брик». Она, пожилая женщина, с честью прошла через это жестокое испытание.

...Ей шел 87-й год. 12 мая 1978 года, вставая утром с постели в своей городской квартире на Кутузовском проспекте, она упала и сломала шейку бедра. Большой боли травма не доставляла, но постельный режим до конца жизни ей был

гарантирован, ибо в таком возрасте эта «трудная» даже для молодых костей, как правило, не срастается. Постель на ее даче в Переделкино, куда ее перевезли в начале июня, стала для нее единственным местом постоянного пребывания.

Собственно, понятие «ее дача» имело в то время иной смысл, чем сейчас. Тогда ей с мужем, литератором Василием Абгаровичем Катаняном была выделена Литфондом половина «казенной» дачи в Переделкино, по ул. Погодина, №7. Вторую половину дачи занимала семья скончавшегося к тому времени писателя Всеволода Иванова, а за забором (ул.Павленко, № 5) была дача Бориса Пастернака.

Без косметики, привычного маникюра и педикюра, не одетая по моде и не достаточно прибранная – такой непривлекательной старухой ей предстояло выглядеть перед близкими людьми и визитерами.

Такой она предстала перед итальянским издателем Карло Бенедетти, который прилетел к ней из Рима с дюжиной авторских экземпляров только что изданной им на итальянском языке книге-интервью «Лиля Брик и Маяковский». Она ласково перебирала эту стопку книг и внимательно рассматривала иллюстрации...

Она вызвала из Париж пылко влюбленного в нее последние годы тридцатилетнего художника и романиста Франсуа-Мари Банье и трогательно распрощалась с ним...

Всё не приезжал только кинорежиссер Сергей Параджанов, благодаря ее стараниям досрочно освобожденный из мест заключения и сразу же укативший на родину – на Кавказ...

К смерти она относилась философски: «Ничего не подделаешь – все умирают, и мы умрем» и загадочно: «Не важно, как умереть – важно, как жить».

Свою смерть она предусмотрела заранее и когда-то поведала своим близким: «Я умереть не боюсь, у меня кое-что припасено. Я боюсь только, вдруг случится инсульт – и я не сумею воспользоваться этим ‘кое-чем’».

И вот этот день настал.

4 августа 1978 года Лиля Юрьевна, оставшись одна, достала из-под подушки сумку, где она хранила это самое «кое-что» – сильное снотворное «нимбутал» и пригоршнями стала глотать его, запивая водой из стакана.

В школьной тетради, лежавшей здесь же, она написала слабеющей рукой:

*«В моей смерти прошу никого не винить.
Васик!
Я боготворю тебя.
Прости меня.
Все друзья, простите...
Лиля».*

и слабеющим почерком дописала:

«Нембутал немб ».

Закончить слово уже не хватило жизненных сил.

Вернувшийся из города Василий Абгарович застал ее уже мертвой... Прощание прошло 7 августа здесь же в Переделкино.

Василий Абгарович был почти невменяем от горя. От семьи всем заправлял его сын (от первой жены) Василий Васильевич с женой Инной Юлиусовной.

Собралось много народа. Симоновы, В.Шкловский, запоздало приехавший в Москву С.Параджанов с сыном, Рита Райт, вторая жена О.Брика Е.Соколова, С.Шамардина, М.Алигер с дочерью, И.Зильберштейн с Н.Волковой, Плучеки, Зархи, Плотниковы, Паперные, Карло Бенедетти, Макс Леон, Ю.Добровольская, посол Канады в СССР Р.Форд, Л.Краснощекова, А.Парнис и многие другие.

Лиля Юрьевна в гробу была одета в белое холщевое украинское платье, вышитое по вороту и рукавам белой гладью. Это платье было подарено ей пять лет назад С.Параджановым.

Он же положил ей на грудь ветку рябины, смотревшуюся необычно и очень красиво.

Она лежала удивительно помолодевшая и красивая. Церемония прощания продолжалась примерно час.

Говорили: Плучек, Симонов, Шкловский, Тамара Иванова, Юлия Добровольская, Рита Райт, Соня Шамардина.

По окончании отправились в крематорий на Донском кладбище. Сюда приехали: Р.Форд, В.Андроникова, Н.Денисовский, Н.Брюханенко и кто-то еще.

Перед кремацией выступили М.Алигер и А.Зархи...



Лилин камень (1979). Фото автора

Жерло электрической печи поглотило ее тело, как поглотило ранее тела ее мужей: Владимира Маяковского в 1930-м, Виталия Примакова в 1937-м, Осипа Брика в 1945-м. А последний – Василия Абгарович Катанян рыдал здесь, провожая ее. (Ему предстоит это «огненное крещение» в 1980-м).

Урна с прахом Лили Юрьевны осталась в хранилище крематория до востребования для захоронения.

Потом на переделкинской даче прошли поминки. Столы были накрыты на террасе. Младший В.Катанян, открывая застолье, сказал: «Земля да будет ей пухом» и попросил минуту молчания. С тостами выступали Лариса Симонова-Жадова и Сергей Параджанов.

Благодаря невероятным усилиям Константина Симонова в «Литературной газете» за 9 августа 1978 года в нижнем уголке 3-й страницы была помещена траурная рамочка-извещение:

Друзья и близкие Лили Юрьевны Брик с глубоким прискорбием сообщают о ее смерти, последовавшей после длительной и тяжелой болезни 4 августа с.г. на 87-м году жизни.

Секретариат правления Союза писателей СССР и редакция «Литературной газеты» выражают соболезнование родным и близким покойной.

И всё. Больше нигде ни слова.

А за рубежом: во Франции, ФРГ, Италии, США, Швеции, Канаде, Индии, Чехословакии, Польше, Японии были тогда же опубликованы многочисленные некрологи, памятные статьи, ее фотографии.

«Поэты, артисты, интеллектуалы и многочисленные друзья до конца ее дней приходили к Лиле, плененные ее обаянием и неутихающим интересом ко всему, что творилось вокруг».

«Ни одна женщина в истории русской культуры не имела такого значения для творчества большого поэта, как Лиля Брик для поэзии Маяковского. В смысле одухотворяющей силы она была подобна Беатриче».

«Если эта женщина вызывала такую любовь, ненависть и зависть – она не зря прожила свою жизнь».



Лилино поле (2011)

Ее имя всегда легко обрастало легендами. И когда, много позднее одна из советских литературных дам вычурно назвала в своих мемуарах ее уход из жизни «римским самоубийством», менее подкованные в римской истории и мифологии

журналисты тут же догадливо сообщили, что Лиля Брик покончила самоубийством – в Риме!

Василий Абгарович организовал перевод только что вышедшей итальянской книги «Лилия Брик и Маяковский» на русский язык, размножил машинописный текст и отдал его в переплет, сопроводив Предисловием, в качестве которого включил перевод статьи-некролога Жана Марсенака «Лилия Брик – волшебница», опубликованной в парижской «Юманите» 7 августа 1978 года. Экземпляры этой самодельной книги он распространил среди близких Лиле Юрьевне людей.

После смерти жены Василий Абгарович нашел в ее бумагах адресованное ему завещание-распоряжение развеять ее прах в поле, и ничего более конкретно. Так она хотела защититься от вандалов над своей могилой на традиционном кладбище, а на хорошо охраняемое престижное Новодевичье, где были похоронены В.Маяковский и О.Брик, она рассчитывать не могла.

Василий Абгарович совсем потерял голову, решая эту нелегкую задачу. Он перебирал разные варианты, но не на одном не мог остановиться. Да к тому же, выяснилось, что для того чтобы получить урну с прахом из хранилища крематория туда нужно предъявить справку с какого-либо кладбища о его согласии на захоронение (Ну куда же в Советской стране можно было без «справки»?). Неожиданно ему помогли в этом два молодых энергичных человека, несколько раз ранее бывавших у них с Лилей Юрьевной. Это – писатель и журналист Арсений Васильевич Ларионов, работавший тогда заместителем главного редактора по культуре газеты «Советская Россия», и его приятель – Геннадий Алексеевич Попов, тогда – директор пансионата «Солнечная поляна» под Звенигородом. Последний, от имени местного Волковского сельсовета, депутатом которого состоял, находившегося поблизости от упомянутого пансионата, организовал ходатайство в крематорий по выдаче урны для захоронения. В.Катанян и А.Ларионов по этому ходатайству получили урну, и какое-то время она хранилась в доме Василия Абгаровича. По его просьбе, Г.Попов подыскал и подходящее для захоронения праха место (тоже недалеко от пансионата), которое показал 5 мая 1979 года Василию Абгаровичу для предварительного согласования.

«Мы с Василием Абгаровичем вышли на балкон пансионата, и я показал ему поле, которое выбрал. Это поле на берегу Москвы-реки, ближе к лесу. Над ним не проходили высоковольтные линии. Чисто русское поле, как в сказках. В этом лесу чуть подальше находились французские могилы – захоронения 1812 года. А для Лили Юрьевны Франция была второй родиной. Василию Абгаровичу понравилось это место» (Г.Попов).

7 мая 1979 г. В.А.Катанян с племянником привезли урну с прахом. (Его сын Василий и его жена Инна были в отъезде). К ним примкнули еще трое: А.Ларионов, Г.Попов и заведующий клубом пансионата Георгий Григорян. Все пятеро отправились к выбранному месту – полю у опушки леса.

«Мы вышли в поле. Только начиналась весна. Был яркий солнечный день с сильным ветром, прохладно. Поле все покрыто зеленью. Мы выбрали сосну, от нее отсчитали 88 шагов – по годам ее жизни (по-видимому, ошибка памяти мемуариста, надо – «86». А.В.). У Лили Юрьевны была именная серебряная ложка. Именно этой ложкой Василий Абгарович зачерпнул прах из урны и пошел развеивать его по полю. Ветер разносил прах, а я разбрасывал цветы – ее любимые красные цветы. Потом урну взял Арсений и продолжил. Потом я, и так далее... Зеленое поле было усыпано красными цветами. Мы вернулись к сосне и выложили рядом с ней пять камней, каждый по-своему. Они там еще долго лежали. Я давно не бывал в тех местах, поэтому не знаю, сохранились ли они до сих пор. Мы сели, выпили, помянули усопшую, и на том все закончилось.

Примерно через неделю Боря Винокуров, тракторист «Солнечной поляны», за бутылку привез мне громадный булыжник. Мы выбрали березу, у которой из одного корня растут два ствола, – в знак раздвоения Лили Юрьевны, что она была и с Маяковским, и с Бриком, и т.д. И рядом с березой поставили этот огромный валун, – такой коричневый, гранитный. Потом приехал художник Володя Грехов и на этом камне выбил три буквы «Л. Ю. Б.». Мы поставили туда скамейку и стали сюда приходить – 7 мая и 4 августа...» (Г.Попов).

Эти ее инициалы В.Маяковский в свое время заказал выгравировать на кольце, которое подарил ей. При

непрерывном прочтении они сливались в бесконечное: Л-Ю-Б-Л-Ю-Л-Ю-Б-Л-Ю-.....

Я впервые побывал там поздней осенью того же 1979-го. Нашел это место сравнительно легко по устному описанию Василия Абгаровича. По его же просьбе, по возвращении составил и передал ему маршрутную карту, как добраться на «Лилино поле» к «Лилиному камню», «для руководства тем, кто соберется туда».

«Посмотреть на место ее захоронения стали приезжать многие. Приезжал Вознесенский, жил два дня у меня в пансионате. Подарил свой сборник стихов. Бывал Бондарев, который мой дом и так часто посещал. Приезжали Федор Абрамов, Семен Гейченко. Приезжала и Пугачева... Зимой Алла с Георгием Григорьяном ходила к камню на лыжах. Или надевала шаль, валенки, да по сугробам в мороз... Одно у нас было спасение – баня. Пугачева слышала много рассказов о Лиле, ей было интересно узнать как можно больше. Поэтому и предложила о Лиле Брик написать» (Г. Попов).

Еще дважды, с интересующимися этим местом попутчиками, приезжал туда и я.

Вначале, об этом месте захоронения праха Лили Юрьевны было известно только посвященным, но постепенно эта тайна раскрылась, и местные жители даже стали гордиться этой достопримечательностью и охотно показывали приезжим дорогу туда.

Каждый раз, когда я бывал в этих местах и видел «Лилино поле», на память приходили слова Геннадия Шпаликова:

«Я к вам травую прорасту...»

И было как-то неловко ходить по этому его травяному покрытию.

Прошло тридцать с лишним лет. Многое изменилось.

А что же с Лилей Брик? Помнят ли потомки ее?

Как это не удивительно – помнят! О ней пишут книги, журнальные и газетные статьи, снимают фильмы. Составляя недавно библиографический перечень этих публикаций, я к своему удивлению нашел и описал 600 публикаций только за последние годы на русском языке!

А что же с Лилиным полем?

Какие-то непроверенные сведения на этот счет стали приходить...

В Москве действует Некоммерческое партнерство (НП) «Общество некрополистов», активные члены которого часто посещают московские и подмосковные погосты, разыскивая захоронения известных людей. К ним я обратился с этим вопросом. Оказывается, их поисковая группа уже побывала в тех местах в октябре 2011 года и даже разместили в Интернете свой репортаж. Что же они рассказывают?

Они не без труда разыскали «Лилин камень» спрятавшийся уже с опушки в глубину леса, разросшегося за прошедшие годы и надвинувшегося на поле.

А вот поле перестало быть таковым. На нем разместился поселок из недавно построенных коттеджей. На приусадебных участках – саженцы, грядки.

И что же теперь?

«Я к вам редиской прорасту...» ?

А кто ж запретит? Ведь не кладбище же здесь, а всего лишь «поле». Лилино ли оно или «общенародное»? Вот и Алла Пугачева, которой очень понравились эти места, поселилась неподалеку, в деревне Грязь, в построенном Максимом Галкиным замке.

А что ж? Имеют полное право (и немалые деньги к нему).

Константин Симонов (скончавшийся 28 августа 1978), будучи уже тяжело больным, расспрашивал Василия Абгаровича Катаняна, как и где был развеян прах Лили Юрьевны и неожиданно для окружающих сам написал завещание развеять его прах на Буйническом поле под Могилевом, где он чудом остался в живых в бою с гитлеровцами и где полегли его товарищи. Хотя ему по его общественному положению и заслугам было уготовано место на Новодевичьем. Это завещание (к недоумению и недовольству ЦК) было выполнено его семьей, и на этом месте также был установлен памятный камень.

2 мая 2015 году в Германии скончалась близкая знакомая Лили Юрьевны Майя Михайловна Плисецкая, хорошо знавшая об истории развеяния ее праха в поле под Звенигородом. И ей, балерине с мировым именем, гордости отечественного балета, тоже было гарантировано место на престижном Новодевичьем. Но и она завещала развеять ее прах «над Россией» вместе с прахом ее мужа Родиона Щедрина, после его кончины.

НАШИ ДЕБЮТЫ

СЕРГЕЙ А. КУЗНЕЦОВ

Б. Вашингтон, США

Амиго

Рассказ

Лицо хиспаника было того бронзово-красноватого, словно на древней монете, оттенка, которого не заработаешь, хоть год проваляйся на пляже, – с ним надо родиться. «Вернее, – подумал Павел, – нужно, чтоб предки твои пять тысяч лет эволюционировали под горным солнцем Южной Америки, отмечая вредные мутации, отбирая именно этот, от чего-то там обороняющий, колер». Лоб хиспаника прорезывали глубокие параллельные морщины, в чёрных прямых прядях проблескивала седина, редкие тёмные волоски на впалых щеках обозначали бородку. В правой руке он держал огромную, медную, рассыпавшую солнечные зайчики сковороду, на которой аппетитно шипел, – без сомнения, в кукурузном масле, – обширный блин, выпекавшийся, надо думать, из кукурузной же, лучше сказать, из маисовой, муки. Поблескивая узкими чёрными глазами, хиспаник сноровисто подбрасывал блин высоко в воздух, заставляя его перевернуться в полёте, и ловко ловил, у самой плиты, вышеупомянутой лучезарной сковородой.

– Two, – сказал Павел и, для верности, показал два пальца, как бы загодя провозглашая победу.

Хиспаник вытряхнул раскалённый блин на решётку и взялся за его остывающего собрата. Который безропотно принял в свои распростёртые объятия большую ложку риса, другую – чёрных бобов, помидоры с луком, кусочки авокадо, мелко нарезанную курятину, острый перец джалапино, ещё какие-то белые, зелёные, красные соусы и приправы. Всю эту разноцветную всячину хиспаник аккуратно закатал в блин, обернул салфеткой и поместил на бумажную тарелочку.

С двумя ароматными свёртками Павел вернулся к столику, где ждала Вера.

– Угощайтесь, мадам! Латино-американское блюдо по имени «буритто».

– Вкусно! – Вера захрустела поджаристой корочкой. – Люблю южно-американскую кухню!

– Кулинары они отменные, – согласился Павел, – если бы только на этом всё не кончалось!

– Да ладно тебе, – сказала Вера, – люди как люди. Не хуже других.

– Разумеется, не хуже, вполне возможно, даже лучше – где-нибудь там у себя, в пампасах. Но к постиндустриальному обществу решительно не готовы! Хиспаники – они ж, в основном, чистокровные индейцы. Пробираются сюда, в Штаты, нелегально, притом без всякого образования, – так на какую работу им рассчитывать? Двадцать лет живут – языка выучить не могут! Вот этот амиго, – он кивнул на хиспаника, – думаешь, ботает по-английски?

– Чего это – «амиго»?

– Испанское: «друг», «приятель». На одно только и способны: буритты свои заворачивать. Или там – газоны косить, ямы копать. Спасибо, хоть не мусульмане!

– Так нельзя говорить, – неуверенно промолвила Вера, – это расизм!

– Вот-вот. Во-первых, по-русски здесь не кумекают, ну а ты не заложись. Во-вторых, – распаляясь, Павел отодвинул в сторону своё, или свой, буритто, – никакой это не расизм! Я ж не говорю, что они ниже всех прочих. Единственное, что я утверждаю: разные нации приспособлены к различным условиям. А в-третьих, – самое возмутительное: живём в свободной стране, а говорить открыто боимся! Свобода слова, ядрёна вошь! А всё почему? Потому – политкорректность! Да если хочешь знать, я против хиспаников вообще ничего не имею: большей частью – простые, порядочные ребята. А вот против наших либеральных, с позволения сказать, политиков, разваливающих страну, – накипело! – Он передохнул. – Ну-ка мы его сейчас проверим на вшивость... насчёт английского!

– Оставь, Паша! – Вера наморщила носик, – не трогай ты человека, ради Христа! Ну чего ты вяжешься?

Но Павел уже завёлся.

– Hi, amigo, – громко окликнул он хиспаника, – how many grades have you finished³?

Хиспаник молчал, безо всякого выражения уставившись на вопрошавшего. По мере того, как затягивалась пауза, всё победнее глядел Павел.

– Одиннадцать! – ответил, наконец, амиго по-русски. – Среднюю школу номер два города Улан-Удэ с серебряной медалью закончил. – И, подумав, добавил. – Вот вы, товарищ, о политике рассуждаете, а у вас, я извиняюсь, ширинка расстёгнута!

ГРЕГОРИ СОЛЯР

Балтимор, США

Семик

Рассказ

"Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?"

Екклезиаст

Опускаю ладонь ближе к пламени свечи, пока не начинает жечь. Задерживаю, потом убираю. Пытаюсь сохранить ощущение тепла.

Огонь – единственная незапятнанная стихия творца, содержащая все его мысли.

Еще неделю назад я часами гладил голову своему коту Семик, стараясь передать ему собственное тепло. Семик лежал на боку на ковре в спальне. Лежал неподвижно. Я брал его передние лапки в руку, они подрагивали.

– А помнишь, как я провел ночь на кафельном полу в ванной комнате, глядя только что принесенного в дом жалобно мяукающего котенка? Он скучал по своей маме.

– Я как раз об этом же подумала, – сказала жена. – Только тогда он жаловался, а теперь уже не может

³ Сколько классов ты окончил?



Рисунок автора

Тогда, 16 лет назад, мы решили завести котенка для дочки – наш подарок к ее дню рождения. Искали пепельного цвета гималайского кота с голубыми глазами. По объявлениям в газете мы втроем объезжали места, где разводили котов. Иногда это были просто таунхаузы, где хозяева размещали этот свой нехитрый бизнес. Там на всех этажах, в каждой комнате стояли клетки с совсем маленькими котятами, а мебель, включая кухонную стойку, была застелена покрывалами и коврами, на которых группами сидели котята постарше. В одном из таких домов на колени жене запрыгнул годовалый кот и положив лапы и голову ей на грудь, заурчал. «Ну вот, он сам и выбрал Вас,» – сказала хозяйка. Но мы оттуда ушли ни с чем. Сердцу не прикажешь.

Наступил вечер. Стемнело. В нашем списке остался всего один адрес. Ехать пришлось долго. На этот раз это была ферма. Нас провели в одну из комнат, где на стенах очень низко висели детские рисунки, а в пластиковых открытых ящиках лежали игрушки. Здесь, по-видимому, размещался детский сад.

Через короткое время хозяйка стала запускать из соседней комнаты гималайских и персидских котят. Для того, чтобы они

«показали себя» на ковер был высыпан корень валерианы из раскрытых капсул. Котята валялись на ковре и играли друг с другом. Вдруг вышел огромный черный персидский кот – сама сила и грация. Его мордочка не была так сильно приплюснута, как у других, а в уголках медных глаз не было черных потеков. «Вот такого же котенка, только не черного,» – попросила жена, и на встречу с нами на ковер выпустили новую мяукающую делегацию от пушистохвостой партии. Все ее члены вели себя аналогично предыдущим. Все, кроме одного, рыжего. Тот сразу подбежал к стене и сорвал несколько приколотых кнопками рисунков на пол. Бандит! Свой! Огромные желто-зеленые озорные глаза, слегка вытянутая мордочка, ушки с кисточками, задние лапки в пушистом галифе. У меня екнуло сердце: а вдруг мои девочки его не выберут...

"Посмотри, какой он красивый!" – не переставала повторять жена, оглядываясь на заднее сидение, где дочка на руках держала нашего нового рыжего члена семьи. Мы возвращались домой. Выбор был сделан.

Поиск имени занял несколько недель. «Назвали Сэма,» – ответил я своей тете по телефону. Трубка долго молчала. Потом я услышал: « Как можно было дать коту человеческое имя! У тебя ведь дядя – Сэм!" А мне и в голову не приходила такая связь – всю жизнь называл дядю Сеня. Ну, да теперь в семье будут тезки.

Сэма решил спать рядом со мной. Приходилось быть очень внимательным, чтобы во время сна не лечь на котенка, который пытался придвинуться как можно ближе. Иногда посреди ночи я чувствовал, как из – под моего тела он молча выбирался, чтобы опять улечься на прежнее опасное место. Повзрослев, он обожал быть моей живой подушкой. Часами урчал во сне, когда я клал свою голову на его теплое пушистое тельце. В состоянии спокойствия и умиротворенности я засыпал.

Приближался Новый год. По восточному календарю это был год Огненного Кота. Астрологи, маги и предсказатели советовали приобрести кота рыжего цвета, а мы ничего не знали об этом раньше. Планеты говорили, что наш Сэма принесет радость и счастье в дом. Здорово!

Не обошлось без короткого процесса воспитания. Котенку брызгали в мордочку водой и говорили одно только слово No, когда он пытался царапать мебель, подходить близко к

открытой духовке или «метить» территорию. Последнее стало настоящей проблемой: кот мучился и начинал подолгу орать, в доме стоял тяжелый едкий запах, приходилось выбрасывать «тщательно» помеченную им обувь. Об этом еще предупреждала прежняя хозяйка и даже отказывалась давать документы на кота, пока не взяла с нас слово, что мы обязуемся «стерилизовать» животное. Но вопреки данному обещанию, я не собирался совершать ничего подобного. Основным мотивом у хозяйки было то, чтобы мы не конкурировали с нею в разведении котов, чего даже в мыслях у нас не было. Тонкость ее бизнеса состояла в наличии одного черного и одного рыжего котов с идеальными формами для производства потомства. В этом случае получаются кошачьи династии всех мастей.

Решился. Поехал с Семиком в ветеринарный госпиталь. Вид у меня был как будто операция предстояла мне самому. На следующий день к назначенному часу вернулся за оставленным в стационаре моим котенком, но ждать пришлось несколько часов. Когда его, наконец, вынесли, то глаза у Семы полностью не открывались, он потерял зрение. Это состояние продолжалось несколько недель. Оперировавший ветеринар избегал встречи с нами. Выходили медтехники, повторяя слово, значения которого на поверку не знали сами – «идеосинক্রазия», то есть неадекватная реакция. Наши знакомые хирурги и анестезиологи говорили, что очевидно произошла передозировка снотворным и животное может на всю жизнь остаться слепым. Вся семья болезненно переживала. Я винил во всем себя, а когда зрение его полностью восстановилось, то решил – больше никаких госпиталей.

Сема простил нас. Он играл, как положено по кошачьей природе, со всем, что можно зацепить когтями и притянуть ближе к пасти: шнурками, занавесками, мячиками, бумажками. Никогда нельзя было найти шариковых ручек, которые он сбрасывал на пол и таскал в зубах по всему дому. Урчал он, как говорила моя дочка, «беспереставая» в любом положении, лежа и на ходу. А если его начинали гладить, то «пыр-ру-ру-ру-ра-рыр» становилось настолько громким, что уснуть бывало трудно. «Делает свою работу», – заметил как-то наш родственник: от этого урчания исходило нежное ощущение домашнего тепла и уюта. Но когда Семика пытались взять на руки, то он, не чувствуя под собой земли, нервничал и пытался

лапой мягко отпихнуться от назойливой ласки одного из нас. Даже лежа в постели, его никогда не удавалось удержать, положив сверху на одеяло у себя на груди – он тут же удирал. Жена недоумевала, ошибочно считая, что все коты должны вести себя как тот, который когда-то сам прыгнул ей на колени и улегся. Но увы, характеры у всех разные, и коты – не исключение.

За мной Сема следовал повсюду, не давая уединиться даже в ванной комнате. Иногда было просто невозможно терпеть... и ждать пока за тобой проследует кот, прежде чем запереться изнутри. Иначе, оставшись «по ту сторону», он начинал громко барабанить в дверь лапами и недовольно мяукать: «Ай-яй-яй кампанья».

Мы интерпретировали его мяуканье и поведение на человеческий лад. Хотя иногда в том, что он хотел выразить, сомнений не оставалось. Как-то я заехал за Семиком, оставленным на время ремонта у нас в доме на попечение родителей жены, и застал их громко спорящими друг с другом о том, кто должен открыть коту балконную дверь. За дверью он оказался случайно во время проветривания комнаты и теперь требовал впустить назад в тепло. Дело было зимой. Войдя в дом, Сема неотступно ходил за своим спасителем, моим тестем и непрерывно орал, не стесняясь в выборе интонаций и «выражений». Потому – то мешкали и спорили родители, что видно это было не впервой. Им, в отличие от меня, было не до смеха.

Услышав эту историю, мой приятель рассказал мне другую – о своей ящерице, которую за какие-то бешеные деньги приобрел в Москве в «лихие девяностые». Ящерица была очень редкого вида, пестрых цветов и около двух метров в длину. Она, лежа на ветке в специально построенном для нее террариуме, не обращала никакого внимания на своего хозяина, тем самым сильно разочаровывая его, ожидавшего общения и признания. Ящерица даже укусила приятеля за палец, когда тот в очередной раз попытался погладить ее голову. Палец начал опухать. И тут произошло чудо – характер ящерицы изменился. Она буквально повсюду ползала за пострадавшим от нее хозяином. Она залазила и ложилась ему на грудь, когда он шел спать. Она ни на минуту не спускала с моего приятеля глаз, в которых стояли слезы от осознания содеянного. Естественно,

парень, решив, что наконец приобрел друга был очень тронут поведением раскаявшейся ящерицы. На улучшение ее жилищных условий и пропитания из корпоративного фонда были ассигнованы новые средства. Только боль в опухшем пальце продолжала сильно беспокоить. Но деньги разрешили и эту проблемку: был найден врач, специалист по укусам различных пресмыкающихся и животных. Поглядев на фото ящерицы, врач пришел в восторг: «О, это – редчайший вид ящерицы! Вид обладает очень слабым специальным ядом. Укушенная жертва может прожить несколько недель или месяцев. Но чтобы не пропустить начало настоящего пира, ящерица следует за своей добычей повсюду...» С ужасом мой приятель понял, что тот, которого считал раскаявшимся другом, просто терпеливо ждал его смерти, чтоб потом сожрать. Доктор сделал укол с противоядием. Опухоль вскоре прошла, а с ней и всякое желание ассоциировать поведение и язык ящериц с человеческим.

"Дай ему карандаш и бумагу," – советовала моя мудрая – в согласии со своим именем София – бабушка в ответ на мои рассказы о том, какой умный у нас кот. Она была внучкой цадика и, по-видимому, имела иные понятия об уме... А ведь достаточно было, взглядом попросив Семика, похлопать себя по слегка расставленным ногам, чтобы он начал проходить между ними взад – вперед. Потом можно было медленно шагать, а кот проходил «восьмерками» между ногами. Если же я указывал пальцем на стул в гостиной и произносил его имя, то Семик запрыгивал на него, а потом перепрыгивал на очередной указанный ему стул. Он даже пытался имитировать наши движения: маме от смеха порой приходилось прерывать свои занятия йогой на резиновом коврикe из-за того, что рядом начинал кататься на спине кот. А еще мы играли с ним в прятки. Поиграв, он тыкался в меня головой и мяукал, прося только ласки в награду.

"Не ходи босиком," – говаривала бабушка Соня, случайно наступив одному из своих котов на лапу. Это звучало своего рода извинением в ответ на устную мяу-жалобу потерпевшего. Собственную боль она могла вытерпеть не застав. Я как-то стал свидетелем, когда она вытерпела удаление зубного нерва, отказавшись от укола новокаина.

Только однажды, через годы, страдая от рака легкого, она призналась: «Сынок, если б ты только знал, как мне болит!" Ее любимая «кошка", моя дочь, часто ложилась рядом и обнимала свою больную бабушку. В свою очередь, дочь, когда у нее самой на душе «кошки скребли», укладывала рядом с собой Сему.

Семик был маленький и очень пушистый. Он брезгливо тряс лапой, когда касался перевернутого им на спину дергающегося светлячка. Его поединок с мышью был в лучших традициях мультиков: кошачьи лапы проскальзывали на кафельном полу кухни, мышь успевала юркнуть под газовую плиту, а бедный кот больно ударялся о дверцу головой. Мне приходилось ставить мышеловку – иначе кот, перестав есть, сутками дежурил у того места, куда скрылась злополучная мышь. Мои девочки – жена и дочь – продолжали говорить, что наш кот «не настоящий", но только до тех пор, пока Семик, прыгнув из окна на карниз между первым и вторым этажом, не обошел весь дом, а они обе сами не натерпелись страха, затаскивая кота в дом из окна второго этажа. «Не настоящий" окончательно исчезло с их языка, когда однажды утром нас разбудил громкий низкий свирепый вой. Мы сбегали вниз и увидели, что в сетку балконной двери со стороны улицы вцепился передними лапами крупный енот, которого я иногда прикармливал, а со внутренней стороны – кот. Выл только охранник Сема. Тогда до меня дошел смысл выражения «не буди во мне зверя".

"Сын, вы уже прилетели из отпуска? Ты когда заберешь домой Сему? « – утром раздался в телефоне мамин дрожащий голос. Из ее сбивчивого рассказа я выяснил, что котик свалился со стула и долго бился в конвульсиях не в силах подняться. Она брала его на руки, но ничего не помогало, казалось, он умирал. Через несколько минут он пришел в себя. Но мама приглядывала за ним всю ночь и не спала. Думаю, что попросила забрать кота из-за чувства беспомощности.

У нас с мамой в памяти живы бабушкины рассказы о том, как когда-то бабушка, ее три сестры и брат жили все вместе с родителями в Белоруссии. В субботу двери их дома были открыты и любой человек мог войти и разделить праздничный стол с хозяевами. Порой задержавшимся к ужину детям ничего не оставалось поесть, и мать тайком стала припасать несколько картофелин для них. Считалось, что жили в достатке. Бабушкин

отец, потерявший на мельнице палец, любил играть на скрипке. Его братья и сестра уехали в Америку. Он с семьей остался: Америка тогда могла не впустить инвалида.

"Ну куда я поеду? Я пожилой человек. Немцы культурные, дисциплинированные люди. Чего у меня взять немцам?" – отвечал он на бесполезные уговоры бабушки, которая специально приехала с моей трехлетней мамой на могилу своей недавно умершей матери. Это было начало Второй Мировой войны, и он опять остался, не эвакуировался... Отняли у него самое дорогое – жизнь.

Во время нашего очередного визита в ветеринарный госпиталь врач, осмотрев животное, опять настаивала на одном: не лечить, не мучить – усыпить. Опухоль во рту причиняла ему боль при еде и питье. Операция была невозможна и бессмысленна. У Семика на здоровой десне выпали зубы. Врач объяснила, что, очевидно, он тяжело болеет уже давно и что именно коты умеют терпеть боль и хорошо скрывать свои проблемы. Вняв нашим просьбам, она все же выписала рецепт на специальные консервы для котов, перенесших хирургические операции. Маленькими порциями два месяца Семик слизывал еду с наших пальцев. Он был для меня как раненный на поле боя товарищ, а для жены как больной ребенок. Вытащить. Вернуть ему силы. Спасти. Сделать все возможное... Рыбий жир, травяные настои, различные масла из пипетки... Надеюсь на чудо, мы боролись за продление его жизни...

Солнечный теплый день – редкость для конца октября. Семик попросился на улицу. Он улегся на разогретом солнцем крыльце – рыжий среди желто-красных опавших осенних листьев и урчал. Жена сделала снимок мобильным телефоном... В тень от ее головы вписана мордочка Семы: его хвост – ее волосы. Так он и останется потом в голове и в сердце нашем...

– Не могу, устала смотреть, как он мучается. У меня сердце обрывается. Пожалуйста сделай что-то.

– Не хотел бы я, чтоб меня усыпили. – Он не может решать за себя, а ты можешь!

Но я считал, что дать разрешение на «усыпление» кому-то другому, можно, если только хватит духа совершить «это» своими руками. Никто не знал, что уже несколько дней в доме лежал шприц с содержимым для эвтаназии. Вместе со шприцом мне дали подробные инструкции по его применению.

Часто приезжал мой добрый приятель, пытаюсь помочь слабеющему животному. Он руками снимал боль. Я выходил – не мешал им. Семик после сеанса засыпал. Постоянно присутствовало чувство, что мой любимый кот взял на себя болезнь кого-то из нас, а, может, и мою...

Дочка недавно призналась мне, что до моего прихода с работы она обычно сидела в гостиной и смотрела телевизор, а Семик мирно отдыхал на столе, на котором ему лежать запрещалось. Но стоило мне подъехать к дому, как кот спрыгивал со стола и бежал меня встречать ко входным дверям, а дочка быстро подымалась в свою комнату делать школьное домашнее задание. Когда я уже входил, она сбегала вниз, чтоб обняться со мной. Вот так мило они оба обманывали строгого папу много лет. Давно это было...

Был у Семика пернатый друг Френя (Френкинштейн): мы подобрали выпавшего из гнезда птенца малиновки и выходили всей семьей за четыре месяца. От этого крошечного беззащитного существа появилось какое-то странное чувство абсолютной наполненности дома счастьем и светом. Кормили по часам, брали с собой в открытой коробке на работу или навевывались в течение дня. Кот, поставив лапы на коробку с птенцом, недоумевая, наблюдал за Френей и всегда пытался быть рядом, чтоб получить свою долю хозяйской ласки. Для него это было дороже любого деликатеса.

Примечательно первое знакомство Семы и Френи. Я держал в одной руке кота, а в другой птицу. Семик осторожно стал тянуться мордой к Френе, но в испуге отпрянул назад, когда птенец, привыкший, что к нему приближаются только, чтоб покормить, вдруг с криком широко раскрыл клюв.

Кот везде стал сопровождать своего младшего друга. Даже, когда мы стали выпускать Френю на открытую веранду поклевать мурашек, то всегда рядом с деловито снующим птенцом лежал Семик, оберегая того от посягательств белок и соседского кота.. Но позже Френя, выросший в большую птицу, стал бояться своего ангела – хранителя и однажды, полетав в очередной раз в саду, не вернулся в дом. Свобода – частая причина расставаний...

Звоню другу в мою родную Одессу: «Не стало моего Семика.» В ответ: « У меня тоже вчера умер котенок. Давал ему лекарство. Не помогло.»

Неужели я и мой друг тоже уйдем в один день. Говорят, в мире том можно встретиться с дорогими нашему сердцу. Выходит, что разлука присуща только миру земному?

Завершилась первая неделя ноября вместе с коротким веком на земле моего любимого кота... Серая проза конца: лопата, замерзшая земля, одеревенелое бездыханное тельце, гранитная плита на холмике, чтоб не откопали хищники. А после, я высаживал проросшие конские каштаны, словно следуя какому-то языческому обряду продолжения жизни в иной ее форме...

Надгробный камень на кладбище получает жизнь. До сих пор был он частью скалы, ее бесформенным осколком. Теперь к нему ходят поклониться. У него свое место, фундамент, полировка, грани. На его теле выбиты имена тех, которые станут тем, чем был он сам миллионы лет. Он на службе у Памяти...

Почти невесомый Семик – у нас в ногах на кровати, немного набравшись сил, перелезает через меня и укладывается на грудь жене – то о чем она так долго мечтала. Замерев, она старается не двигаться, не говорить – только очень легко гладит голову кота. Вот оно – счастье. Потом, по моей мысленной просьбе, он один единственный раз за свои шестнадцать лет взбирается и укладывается на грудь и ко мне. Останавливается время. Обмениваемся взглядами. Молчание наполняет всех нас...

Проходит год. Опускаю ладонь на гранитную плиту. Обжигает холодом. Задерживаю. Теплеет... В доме опять горит свеча.

ПАВЕЛ ТОВБИН
Сан-Франциско, США

Два голоса любви
Рассказ

Осень пришла. Ручей вырвался из-под камней, ухватил пригоршни листьев с берегов, расстелил их по поверхности прозрачных струй и двинулся дальше, набираясь сил по мере спуска с горы. Это повторится девяносто три раза за его жизнь.

Нет, это неудачное начало. Начнем с середины этого осеннего дня понедельника, ведь у него сегодня день рождения – почти на восемь месяцев раньше, чем официальная дата. Время его появления на свет было тревожным, банды лютовали по городам и селам. Его беременная мать бегством спасалась от них. Было не до регистрации рожденных, мертвых не успевали записывать. Рассказы матери он забыл уже давно. Его жена тоже не знает точный день его рождения.

Еще тепло, ветер стих. Летние туманы ушли из города. Он идет домой нетвердой походкой, с палкой для опоры, но довольно быстро. Немного припадает на левую ногу. У него большой рот. Когда улыбается, глаза молодо вспыхивают из-под морщинистых век. Хорошо выбрит. Волосы в ушах прикрывают медальоны слухового аппарата.

Он возвращается от сына, живущего неподалеку, хотя повидаться не удалось. Покричал лишь в переговорное устройство у входной двери. Голос у него громкий: годы войны, проведенные в экипаже танка, почти лишили его слуха, и аппарат помогает мало. Из окон выглядывают любопытные соседи: откроет или не откроет в этот раз? Рядом проходит женщина с ребенком. От громкого голоса ребенок начинает плакать, и мать берет его на руки. Старик переступает с ноги на ногу. Наконец микрофон торопливо произносит:

– Папа, ты иди, иди домой. Я должен побыть один, депрессуха страшная. Ты иди, пожалуйста. Давай в другой раз я приду к вам с мамой.

– Дима, – вновь зовет он, потому что не услышал ответ сына. Но сын уже более не откликается, и он уходит домой. Разочарованные соседи закрывают окна.

Сын Семена и Сони начал спиваться несколько лет назад, когда спрос на его картины резко упал под влиянием экономического кризиса. Он ходит по квартире, заваленной тюбиками красок, старыми кистями, окурками и беседует со своими картинами, развешанными по стенам. Лица на его полотнах вглядываются в него, порою спорят, чаще соглашаются. Справа у окна несколько холстов, где он вспоминает город своего детства с его набережными, величественными проспектами и угрюмыми дворами. Он даже для компании посадил себя маленьким бесенком в картину, в которой бело-синий снег опускается на улицу, на реку, на бульжники мостовой. Но полотна молчат, а ему так хочется слушателей. Он быстро ходит по комнате, убирая с лица длинные волосы с полосами седины. Он все реже выходит из дома. Когда он пьян, становится груб, зол, и еще более одинок.

На дом, где последние лет тридцать живут Соня и Семен, игривая рука строителя навесила под окнами верхнего этажа лепные украшения, более всего напоминающие игрушечные голубые унитазы. До их квартиры два пролета вверх. Семен проходит первый пролет и останавливается, держась за перила. В подъезде скучно пахнет старым ковролином, темно-красным, протертом в середине ступенек, да еще дырявым мусоропроводом. Как всегда в это время соседка по этажу играет на виолончели. Почему-то виолончель и скрипку он слышит хорошо, хотя музыку, кроме простых танцевальных ритмов, не любит и не понимает.

– Уже который год все пилит да пилит, – думает он. – А что толку, раз не может выбраться из этого дома? Иначе чего бы ей молодой здесь сидеть? Здесь только старики живут, да помирают.

– Я так рада, – встречает его жена, гладкие волосы почти без седины, ярко-белая без морщин кожа на полных щеках, тонкие губы. – Пока тебя не было, ко мне пришел Димочка, сидел со мной. Так мы хорошо поговорили. У него дела идут на лад – получил большой заказ. Он все повторял: «Мамуля, ты у меня просто красавица».

Семен не возражает ей:

– Когда же он успел прийти? И почему меня не дождался?

– Но у него же дела, он очень занят.

– У него всегда дела, только на родителей у него нет времени.

Соня вступает за сына, который не был у них уже более двух месяцев, и они немного ссорятся. Потом расходятся по своим комнатам.

На стенах висят вышитые ею картины невиданных деревьев. У Сони удивительное чувство цвета, хотя она никогда не училась этому: деревья пылают яркими красками, тянутся вверх, заполняя её комнату.

Семен разбирает свой слуховой аппарат, меняет в нем батарейки. Потом принимается раскладывать по списку вечернюю порцию лекарств для себя и для жены, которая стала часто забывать о них. Он думает о молодой женщине-враче, в которую влюблен уже почти три месяца, и о том, какая у нее легкая открытая улыбка. Он подсчитывает, что сможет пойти на прием повидать ее уже через полторы недели, а потом засыпает, чтобы это время быстрее прошло.

Природа милосердна к людям, хотя они, возможно, не лучшее ее творение. Как хорошо, что с возрастом память приближает к нам детство с голосами родителей, детство с его запахами и вкусом ягод, с людьми, забытыми давно, – с особенной радостью каждого давно ушедшего дня. Для многих оно остается самым счастливым в их жизни временем. Мы вновь проживаем его много позже, чтобы скрасить горечь неизбежной слабости и болезней.

Пусть они подремлют пока, сил наберутся для нового дня. Беспокоем сон старости.

Соня всегда спит лицом к окну, на правом боку, и накрыв ухо простыней. В молодости она была очаровательна, немного похожа на белочку. Она и сейчас кокетлива: – Я не могу переодеться в своей комнате. Все время из соседнего дома кто-то смотрит с третьего этажа и свистит мне.

Ей снится осень. Трамвай № 12 взбирается по горе к самой верхней точке города: один старый неторопливый вагон. Утром прошел дождь. Улицы и рельсы засыпаны мокрыми листьями. В конце маршрута большая коленом изогнутая ручка контроллера, которая служит и для ускорения и для торможения, снимается с крепления и переносится в другой конец вагона.

Иногда отец доверяет ей нести тяжелую ручку. Потом она стоит возле него и теребит громкий звонок, напоминая, что время не ждет и пора в обратный путь. Она звонит до той поры, пока отец не кладет ей руку на плечо, притормаживая другой рукой на крутом спуске с горы. Она помнит, что у отца были небольшие, всегда теплые ладони.

... Полированное дерево вагона нагревалось на солнце. Она любила этот чистый запах, который напоминал ей отца.

Со своим будущим мужем, что сейчас спит в соседней комнате, она и познакомилась на остановке трамвая. К тому времени ее отца уже давно не было с нею. Великая война тогда недавно закончилась, и всем хотелось жить стремительно, молодо, долго. Ее не покидала уверенность в том, что она единственная любовь его жизни, что весь он до последней улыбки, до последнего дыхания принадлежит только ей. Со временем это чувство уходило, сменялось обидой на его неверность, потом возникало вновь.

Краткие увлечения Семена были привычны, более длительные измены обсуждались на большом семейном совете, где его стыдили сразу несколько поколений родственников. Жена его, небольшого роста, как и он сам, то садилась, то вскакивала и очень быстро повторяла неожиданно резким голосом: «За что мне такое? Сколько можно таскаться и бегать из семьи?» Мужчины вздыхали с завистью, женщины переглядывались.

Как известно, в долгих браках мужчина и женщина часто становятся настолько близки и привычны друг другу, что даже лица их с годами перетекают в иные формы и становятся похожими. До самых последних лет Сою не покидало чувство, что не все ей известно о муже, что какая-то часть его существа ей принадлежать не будет никогда. Пять лет назад она торопилась в больницу, где Семен приходил в себя после сложной операции, хотя было известно уже, что опасность миновала.

У входа в палату она остановилась от неожиданной мысли, что уж теперь-то он будет принадлежать только ей без остатка. Последующие годы укрепили ее в этом поздно пришедшем чувстве, окрашенном некоторым торжеством.

Ни одной из своих возлюбленных он не повторял слов той цыганки. Он был тогда еще почти мальчишкой, но сила страстных желаний и пронзительная реальность сновидений пугали его. На курорте у моря, где он был с родителями, весь мир, казалось, состоял из грудей, бедер, гибких ног, покрытых пушком и совсем гладких, которые все время находились в движении вокруг него.

День выдался неожиданно холодный, разрывающий рутину курортного ритма, словно под ноги танцующим выплеснули ведро воды. Он помнил этот оттолкнувший его вначале запах ее кожи и шуршание юбок, которые она подняла для него. На щиколотках, на запястьях у нее были повязаны разноцветные нитки – видимо, на счастье или на мудрость. Она издавала странные звуки, частью хрипы, частью окрики, и еще ему слышался какой-то металлический стук над головой. Когда они оба устали от любви, он увидел капельки пота и морщины у нее на шее. Один из шаров в изголовье кровати, на которой они лежали полуодетые, был неплотно привинчен. Тогда на прощанье она и сказала ему те слова, которые он помнил всю жизнь, хотя более он не встречал эту женщину. Он приходил к ней несколько раз, но дверь была всегда на замке, а потом лето закончилось, и он с родителями уехал с курорта.

Бывают люди, необычно одаренные искусством любви. Всю долгую свою жизнь он находился в состоянии влюбленности. Искренность его восторга перед чудом Женщины при всей прямолинейности подхода обычно находила отклик в женских сердцах, и когда они расставались, женщины помнили его через много лет. Однако сильных, уверенных во власти своей красоты женщин он побаивался и сторонился, они смущали его.

В промежутках между своими увлечениями он искренне ухаживал за своей женой, часто заставляя ее вновь поверить, что только она – настоящая любовь в его жизни.

Где-то там все земное сочтено да взвешено. Он не мог знать того, но известно было, что любил он девятьсот девяносто девять женщин, и первую была та цыганка. Она-то и сказала: «Пока можешь любить, будешь жить», – и он поверил, что каждая влюбленность останавливает движение времени и потому жить он будет вечно. Ну, может не вечно, но очень долго.

Пожалуй, более всех занималась делами стариков их дальняя родственница, которую Соня недолюбливала за то, что та была в жизни слишком успешной. Родственница привозила им иногда продукты, возила к врачам, даже нашла им женщину для помощи по дому, так как они оба постепенно слабели. Но Семен, всегда восхищавшийся красотой и веселостью нрава родственницы, воспротивился появлению иной женщины в их доме: «Нет. Не хочу никого. Я ведь могу в нее влюбиться, и мою Сонечку это может огорчить. Я буду сам за ней ухаживать. Да, ну и что? Ну и помою ее, конечно, сам. Не первый же раз.» И он действительно моет ее, и старики смеются громко и молодого.

Но грустно ему стало, что отказался он от этой неизвестной ему женщины. И так он загрустил, что лег на диван и сказал жене:

- Буду, наверно, умирать, Соня. Даже вставать не хочу.
- Ну давай вместе.

Легли старики каждый в своей комнате –она под яркими деревьями своих вышивок на стенах, он рядом с пачками газет и журналов, и лежат. Тихо. Он повернется с боку на бок, побряхтит громко так да грустно. Она его спрашивает: «Ну как ты?». Помолчал он, потом ответил: «Знаешь, нет, я передумал. Давай в другой раз».

В среду рано утром Семен проходит возле дома, где живет его сын. Одна из штор на окне в спальне приоткрыта, и ему кажется, что сын стоит у окна. Он знает, что сын еще, конечно, спит, но, на всякий случай, он переходит улицу и некоторое время стоит у подъезда, опираясь обеими руками на палку и глядя на второй этаж. У него начинает кружиться голова.

Он перекладывает палку в левую руку и уходит в сторону медицинского центра.

Молодая женщина-врач, в которую он влюблен, приезжает на работу между 8:20 и 8:25. Из окон маленького кафе хорошо видна ее светло-серая машина, всегда стоящая в трех-четыре метра от рекламного щитка этого центра. Сегодня холодный день. Она выходит из машины, ежится от ветра, быстро идет ко входу, и он думает, что на ней тонкий свитер и она слишком легко одета. А еще, что у нее очень красивые стройные ноги и что она может опять простудиться. Месяца полтора назад так и случилось. Она ходила в маске. У нее были совершенно больные, налитые слезами глаза, и он так расстроился, что, выйдя из ее кабинета, стал задыхаться и долго сидел в коридоре с закрытыми глазами. Семен не может приходить часто, чтобы не вызвать смятение жены, поэтому он приходит на прием лишь раз в полтора-два месяца, просто чтобы посмотреть на нее вблизи. Когда он говорит, что просто видеть ее продлевает ему жизнь, она смущается и краснеет.

Семен сидит с чашкой горячего чая у окна в кафе, где уже привыкли к его утренним визитам по средам. Он думает, как хорошо, что у него еще есть силы любоваться ее красотой, и что в эти минуты он забывает об унижительных процедурах обслуживания своего очень усталого и больного тела. И ему кажется, что какая-то часть в его душе все еще молода, хотя каждый день и она становится все старше и слабее.

Он обнимал женщин во всех странах и городах, где он бывал, начиная с той цыганки, которой уже конечно давно нет на свете, что дала ему познать любовь обладания. А сейчас, когда почти все желания уже ушли из его тела навсегда, он узнал любовь созерцания и тихое счастье, приходящее от возможности видеть эту женщину, думать о ней, находиться иногда рядом с нею, пусть совсем недолго. Семен греет руки об остывающую чашку и думает, что может быть, как это часто бывает, она что-нибудь забыла в машине, и тогда он увидит ее сегодня еще раз.

А в пятницу он умер. Очень легко. Повернулся во сне, вздохнул, и отлетела его душа. Никому не досталась.

Соня посидела возле него. Медленно перешла в свою комнату и легла лицом к окну, как всегда любила просыпаться, чтобы сразу увидеть солнце. К началу третьего дня ее не стало. Их нашла соседка-виолончелистка.

Сын ходил по знакомым – испитое, некогда прекрасное лицо, спутанные седые волосы – и повторял: «Я теперь сирота. Я сирота». И многим было его жалко.

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ
Волгоград, Россия

Любовница
Рассказ

Они встретились на симпозиуме. Андрею было сорок четыре, Свете пятьдесят два.

Она была его куратором, до этого они общались только онлайн – моментальные сообщения, почта.

Провели бриффинг, раздали материалы, Света рассказала о новых продуктах. Андрей показал образцы и рассказал о каждом из них подробно. Потом был фуршет. Заслушали представителей филиалов. Потом ресторан – за счет фирмы. После него баня.

В баню Света не пошла, сказала: муж ждет. Андрей тоже не пошел – отправился за ней. Знал, что она остановилась в гостинице, и знал, что никакого мужа там нет – ему сказала об этом организатор Аллочка.

Света открыла ему в халате. Он смутился – она смотрела спокойно и без всякого, как он надеялся, ожидания. Что-то между ними днем произошло – ему так показалось.

– Приготовил столько умных слов, – сказал он, – и все забыл.

Она молчала.

– Пойдем куда-нибудь? – предложил Андрей, помолчал и поправился. – Пойдемте.

Она продолжала молчать. Он решил, что терять ему уже нечего и быстро сказал:

– Послезавтра я уезжаю. Всю жизнь я такой – хожу долго кругами, присматриваюсь. А тут решил вдруг...

– И я, – сказала она
– Что?.. – не понял он.
– И я послезавтра уезжаю.

Они помолчали.

– Не хотел бы потом всю жизнь думать о том, что я мог, но не сделал, – сказал Андрей

– Ну пока вы ничего такого не сделали, – сказала она.

– Я на пути к тому, чтобы.

Он замолчал, давая понять, что ей самой нужно додумать, что должно было прозвучать после этого «чтобы».

Света сказала:

– Я сейчас.

И ушла в номер.

Потом вышла – уже в костюме.

Они спустились в бар. Заказали, выпили. Заказали еще.

Потом долго гуляли по городу.

Он расспрашивал Свету про нее. Про себя она не рассказывала – говорила про образцы. Он рассказывал о себе – немного и только самое, на его взгляд, интересное. Она слушала без всякого выражения. Он даже подумал: «Правильно про нее говорят – бесчувственная. Я про нее себе все насочинял».

Он проводил ее в гостиницу.

Зашел в номер – она его не приглашала, но вроде и не возражала. Поцеловал ее. Она не отстранилась, но и не ответила. Он снял с нее блузку – она молча и бесстрастно смотрела куда-то ему в нос.

Он уложил ее на постель, помедлил, и погасил свет.

Утром на совещание они вышли вместе. Потом он отстал и пошел другим путем.

После совещания Андрей пришел к Свете в номер. Она впустила его, держа у уха телефон – по разговору Андрей понял, что на том конце муж.

– Нет, приезжать не надо, – сказала она. – Давай в следующий раз. У меня изменились обстоятельства.

Так и сказала – «изменились обстоятельства».

Не кладя трубку, начала раздеваться. Сбросила юбку, трусы. Блузку. Лифчик.

Сделала рукой приглашающий жест – Андрей, опасливо косясь на телефон, разделся.

Света выключила свет, сказала в трубку:
– Приезжаю завтра в шесть тридцать. Встречай.
Нажала отбой и подошла к Андрею вплотную.

На вокзале он не знал, что ей сказать. Что ему было хорошо и он хочет увидеть ее еще? Что он будет скучать? Что они могли бы быть вместе, если бы не?

Она пожала ему руку, сказала коротко:

– До понедельника.

Как будто они и правда увидятся на работе в понедельник.

Зашла в вагон.

В окно выглядывать не стала, и Андрею пришлось оббежать поезд, чтобы увидеть ее купе. Она сидела у окна и смотрела в стол. Внутри у него все сжалось, он крикнул:

– Света!

И замахал руками.

Света посмотрела на него, кивнула и опять стала смотреть в стол.

Он подумал: правду про нее говорят.

И ушел.

В понедельник Андрей как обычно прислал ей отчеты. Она как обычно прислала ему графики и дайджест новинок.

Он стал писать ей каждый день. Света отвечала – как правило, односложно.

Через шесть месяцев он сказал, что приедет к ней. На три дня. Остановится в гостинице – дата, время, адрес гостиницы.

Она написала:

– Приезжайте.

Он сказал жене, что едет на симпозиум, и уехал.

Света сказала мужу, что едет в командировку за Урал, пешком дошла до гостиницы Андрея и сняла там номер.

Он приходил к ней в обед, уходил утром. Любовью занимались они в темноте – хотя он часто спрашивал разрешения включить свет. Она не разрешала. Она аккуратно снимала одежду, вешала на плечики. Строго смотрела на него, словно следила за тем, чтобы он тоже делал все аккуратно. Он раздевался по ее примеру спокойно и не торопясь, хотя внутри у него все бурлило.

Она по-прежнему называла его на «вы». Он очень хотел сказать ей «ты», но не решался.

Света рассказывала ему про их новинки, он рассказывал ей о себе – уже не выбирая, все подряд. Расспрашивал про нее. Про себя она говорить не желала и вместо этого рассказывала ему про их филиалы, про тех, кто там работает сейчас, работал раньше и будет работать в скором будущем.

На вокзале она пожала ему руку, развернулась и пошла к выходу. Он подумал, что, наверное, любит ее. Подумал было догнать и сказать, а еще спросить, любит ли она его, но посмотрел на ее прямую ровную спину и передумал.

Через полгода он приехал снова.

Они снова сняли гостиницу – два разных номера. Он приходил в обед, уходил утром. Ночью они занимались любовью. Раздевались, выключали свет, ложились в постель – делали это уже почти синхронно.

На вокзале он сказал, что любит ее.

Она ничего не сказала, пожала ему руку и ушла.

Андрей приезжал к Свете каждые полгода в течение шести лет.

Осенью в начале октября и весной в начале апреля.

На седьмой год в апреле он не приехал. За полгода до этого ее сделали заместителем генерального, и переписывались они теперь редко. Писал, как правило, он – но последние два года про себя ему рассказывать стало нечего, а про других ему было неинтересно – так он ей объяснял. Телефон она знала только его рабочий, но никогда по нему не звонила – они все вопросы решали перепиской. Даже фамилию она его не знала. Андрей Сергеевич и все.

По рабочим вопросам они теперь не пересекались вообще.

Она подождала до конца апреля. Потом до конца мая.

Потом прошло лето – на море ехать она категорически отказалась, чем очень удивила мужа.

Каждый день в сентябре у нее начинался одинаково – она проверяла почту и спрашивала у личной секретарши, не было ли звонков или сообщений от Андрея Сергеевича – даже если приходила в понедельник и раньше секретарши.

Он не написал ни в сентябре, ни в октябре – она прождала весь месяц, и две последние недели ходила каждый четный день на вокзал встречать поезд, на котором он обычно приезжал.

Первого ноября она позвонила в его офис.

Там ей сказали, что десять месяцев назад Андрей Сергеевич умер. Что-то с почками. Застудил в поезде, вроде.

Света прямо так, с чем была и в чем была, поехала на вокзал. Купила билет. Просидела в зале двенадцать часов, ожидая поезд. На звонки она не отвечала, домой ей идти не хотелось – она не знала, что будет там делать и что будет говорить.

В его город поезд прибыл вечером.

Она отправилась к нему домой. Адрес она знала – сказали в его офисе. Жену его звали Василина Ивановна – об этом ей тоже сообщили.

В дверь постучали.

Василина Ивановна пошла открывать.

Полчаса назад ей позвонила женщина, назвалась коллегой ее мужа и спросила разрешения приехать – она в городе проездом, сама из головного офиса, часто общалась с Андреем Сергеевичем по работе, потом ушла на повышение и о том, что случилось, узнала только сейчас. Случайно.

Василина Ивановна сразу решила, что это та самая, к которой ее Андрей мотался два раза в год. Он говорил, что ездит на симпозиумы, и она ему верила – он никогда ей не изменял, но после того, как его не стало, вдруг засомневалась. Дошли кое-какие слухи. Говорили, что любовница его, хоть и старше ее мужа, но выглядит потрясающе. Ей ни за что не дашь даже сорока.

Эти полчаса Василина Ивановна готовилась к встрече. Не то чтобы она хотела скандала, но встретить любовницу должна была во всеоружии. Она одела лучшее свое платье, затянувшись предварительно в корсет, вымыла и уложила волосы, накрасилась. Она даже успела сделать эпиляцию – хотя не делала этого уже лет семь.

Открыла дверь и поняла, что готовилась напрасно.

Перед ней стояла хорошо одетая старуха. На вид ей было лет восемьдесят, если не больше. Губы ее тряслись, руки дрожали, белки глаз были все в красных прожилках. На ней была короткая дорогая шубка, деловой костюм и кожаный берет.

Василина Ивановна вздохнула с облегчением. Очевидно было, что никакая это не любовница, – возраста та была как мать Андрея. Она была именно та, за кого себя выдавала, – коллега по работе, с головного офиса.

Василина Ивановна пригласила женщину войти.

Та сказала, что ее еще ждут остальные – они поедут группой, а поезд у них отходит через два часа. Василина Ивановна назвала номер места, объяснила, как проехать. Кладбище было недалеко, до него можно было дойти пешком. Край забора его был виден из окна. Сказала, что сама пойти не может – ей нужно на работу.

Коллега поблагодарила и ушла.

Через два дня Василина Ивановна шла вдоль кладбищенского забора. Увидела в проезде между могил стоявших полукругом людей и машину скорой помощи.

– Она давно там сидела, я еще вчера ее тут видела, – сказала полная женщина.

– Не хотела уходить, – покивал головой высокий парень. – Я ей говорю – холодно, идите домой. Она – ни в какую.

Василина Ивановна прошла мимо. Мельком увидела лежащий на земле кожаный берет и шубку.

Подумала, что где-то уже это видела, притом совсем недавно, попыталась вспомнить где, – не смогла.

Еще раз посмотрела на людей, на «скорую», вздохнула, подумала, что надо бы навестить могилу мужа, перекрестилась, и зашагала дальше.

ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА
Москва, Россия

Тринадцать метров и одна жизнь. Из жизни цирковой артистки



Фото Владимира Гапцова

Размер зрительного зала может быть разным. А вот сам манеж во всех цирках мира имеет одинаковый размер – тринадцать метров в диаметре.

Она – цирковая. Большая часть её жизни проходит внутри этого чёртового тринадцатиметрового круга.

Правда, сейчас мы находимся у неё в гримёрке.

1.

– Это можно подвинуть? – не дожидаясь ответа, я смещаю ближе к зеркалу её баночки, краски, кремы, фотографию в рамке с неровными краями, ещё какие-то вещи.

– Да, конечно, – она мягко перехватывает инициативу, освобождая мне место для ноутбука и выживая из отодвинутой кучи маленького плюшевого львёнка. – Так тебе будет удобно?

– Вполне.

– Ты прости, я немного волнуюсь, – она проводит кончиками пальцев по плюшевой игрушке. – Иногда приходят журналисты, которые прочли два абзаца на сайте цирка, и считают, что всё обо мне знают. С такими не страшно. А с тобой мы давно знакомы.

– Да я стандартные вопросы задавать буду, родилась-училась, что умеешь, что удалось, что не удалось, каковы творческие планы?

– А зачем я буду рассказывать о том, что не удалось? Не буду! Если не удалось – его ж не было, зачем о нём рассказывать!

– Логично, – соглашаюсь я.

– Ты меня спроси что-нибудь такое приятное, чтобы мне было легко ответить и не пришлось сильно врать. Хорошо? – она поправляет локон.

Её тонкий голосок звенит, а ещё в нём шелестит осенняя усталая листва. Звон и шелест вместе – так бывает?

2.

– Чай будешь?

– Конечно, буду. И вон те конфетки. Она пододвигает мне коробку, попутно бросая взгляд на мою талию. Делает она это аккуратно, но я замечаю.

– Не всем же быть такими от природы стройными! – роняю я.

– Если я буду в день съесть по конфетке, через две недели у меня будет знаешь какая попа? – говорит она грустно. – От природы я склонна к полноте.

– Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! – выпаливаю я. – Не, воспитывай меня, я ж не возражаю.

– Я не буду воспитывать, ты сама должна захотеть быть стройной. Диета и два раза в день гимнастика, три раза в неделю зал. Ладно, зал можно два.

– Ой, в мире так мало радостей, надо же себя чем-то баловать!

– Танюш, от того, что ты всегда красивая, настроение улучшается гораздо больше, чем от сладкого. Ну, можешь побаловать себя иногда расслабляющими упражнениями.

– И сколько времени ты себя вот в таком ритме истязала?

– Да я так живу.

– Всю жизнь? – я таращу глаза.

– С того момента, когда решила, что хочу быть привлекательной.

Она виновато улыбается.

– Артист не может плохо выглядеть. А артистка – тем более. Но вообще мне кажется, что любая женщина должна любить и уважать своё тело. Оно тебе обязательно скажет спасибо, ты ведь не спортивные рекорды устанавливать собираешься!

– Ха, а ты тоже не собираешься? Уверена?

– Это моя работа, и я её люблю. Я целый день могу провести в манеже, репетируя что-то новое. Мне так жалко людей, которые занимаются нелюбимым делом! А я загораюсь и бьюсь, пока не получится. Меня до сих пор на «слабо» легко взять.

Она, наконец, наливает себе чай.

– И потом, зрителю всё равно, в каком я состоянии сегодня, он пришёл и за свои деньги хочет видеть праздник и рекордные трюки. Цирк – это не спорт. Знаешь, в чём разница? В спорте ты бьёшься, чтобы на соревнованиях показать всем то, чего никто до тебя не делал. Ты показал – и ты герой. Это очень, очень трудно. А в цирке ты этот рекорд должен демонстрировать каждый раз, на каждом представлении. И ещё улыбаться при этом, и хорошо выглядеть, и красиво двигаться. Мы артисты, а не спортсмены.

Она кивает на фотографию.

– Правда, впечатляет? Мы тут как две летящие птицы. Но сейчас ещё лучше стало получаться. Вот трюк новый придумали, мы его называем «Носочки».

Я видела этот трюк. У меня от него бегают мурашки размером с крупного таракана. Если руками ещё можно схватиться за полотно или друг за друга, то цепляться ногой за ногу партнёрши и висеть, раскачиваясь... вот как? И зачем?

– Смешная ты. А зачем всё наше искусство? Наверное, чтобы поверить в себя. И чтобы зрители поверили в то, что человеку доступно почти всё, если он очень этого хочет и идёт к цели.

Она встряхивает головой.

– Фу-у-у, нагнала я пафосу! Хочешь, расскажу про попиков?

3.

– Мне долго коллеги предлагали разных животных. Я отказывалась, не лежала душа. И вот как-то речь зашла про попугаев – и тут я созрела! Я загорелась!

– Почему?

– А как узнать, где замкнёт? Почувствовала: это моё!

– Кто тебя учил?

– У нас в коллективе много животных, но попугаев не было. Я много читала, интересовалась, и мне казалось – была готова полностью. И вот...

Она помогает себе жестами.

– Первого, Прошу, – теперь его зовут Дуглас! – мне подарили. Он достал всех домашних – и его отдали с радостью. Но я ж ничего не знала! Три дня он был ангелом, а потом выдал по полной программе. Потом я купила Стивена-какадушку... Это всё были цветочки, так как Дуглас был немного приручен, у Стива оказался наидобрый характер, и мне казалось, что попугаи – это сказка! И вот я приобрела зеленокрылых ар, Генриетту и Джеймса. Привезла их в Тверь, как сейчас помню. Это оказались огромные дикие птицы, для которых даже темнота ещё не означала, что надо закрыть рот и не кричать. Я смотрела на них и думала, как мне жить дальше.

– Придумала?

– Ну, поздняя метаться, надо было что-то делать. Сказать, что я была покусана – это не сказать ничего. Мы потом поехали в Беларусь, у меня был уже новый попик, Артур, – и в Минске местный хирург на время гастролей стал моим лучшим другом, так как попугаи кусали мне руки постоянно, и они у меня гнили, приходилось вскрывать раны и ставить оттоки. Такое происходило каждые два-три дня. Но я нашла к этим птичкам подход, и мы стали друзьями.

– И так каждый раз?

– Нет. Теперь, когда я беру новых попугаев, я обычно налаживаю с ними отношения за сутки. Хотя нет, с малышкой Дэном я намучилась, он был нервный и кидался в лицо.

– Ты сама придумываешь им имена?

– Всех птиц называю именами писателей: Дуглас Адамс, Стивен Кинг, Дэн Браун, Артур Конан Дойл, Джеймс Чейз, Теодор Драйзер, Генри Хаггард. Правда, иногда потом они оказываются девочками, поэтому Генри у меня стал Генриеттой. С Оскаром Уайльдом вообще неудобно получилось.

– Тоже девочка?

– Да. Но она, когда я её назвала, стала орать: Лара! И так продолжалось целый месяц. Я её: Оскар! – она не поворачивалась даже, а орала: ЛАРА!!! Так и стала Ларой. Но по документам Оскар.

Про каждую птицу она готова рассказывать часами.

– Они талантливые?

– Есть более способные, есть менее. Дрессировщик наблюдает за своими подопечными, смотрит на их природные данные и склонности. Животные в цирке не делают никаких движений, которые были бы для них противоестественны в дикой природе. Задача дрессировщика – найти с животным такие контакт и понимание, чтобы зверь или птица согласились выполнять эти движения тогда, когда это надо дрессировщику. То есть в нужной последовательности во время выступления.

– За корм?

– Я не работаю с голодными птицами. Во время выступления за исполненный трюк они могут получить вкусняшку. Но это только поощрение – так же, как мой ласковый голос.

– Они ж не ласкаются, наверное, это ведь не собаки, не кошки.

– Я их «за ушками» чешу, им это очень нравится. А вообще они, конечно, как маленькие дети, но на своём уровне всё-всё понимают. И ласку любят. Некоторые чуть что – целоваться лезут. Говорю ж, контакт, умение договариваться. Любовь. И терпение. Много терпения. Как в браке.

– И сколько месяцев тебе понадобилось, чтобы сделать номер?

– Три года.

4.

Она сама начала эту тему.

– Он всегда со мной.

Она кивает на плюшевого львёнка.

– Видишь, старенький совсем стал. Но он хороший, такой мягкий, – она прижимается к игрушке щекой. Или прижимает игрушку к щеке?

«Сейчас будет про любовь», – думаю я.

– Мы тогда в Душанбе на гастролях были. Ну, как «мы»... Родители в программе работали воздушный номер. Львёнок у мамы на столике в гримёрке стоял.

Она снова поправляет локон и продолжает ровным голосом:

– Когда они упали, прямо во время представления, я прибежала в гримёрку, схватила мамино львёнка и держала крепко-крепко. Сначала было неизвестно, как и что с ними. Точнее, взрослые знали, что всё плохо, но мне сказали только на следующий день. Всё это время я сжимала львёнка в руках. А мама умерла по дороге в больницу.

– Так долго молчали? – говорю я, чтобы что-то сказать.

– Мне девять лет было. Наверное, так было правильно. Я не знаю, я не психолог. А львёнка я с тех пор с собой везде вожу. Он мягкий такой, – повторяет она, наконец поднимая на меня глаза. – Тёплый. Никому его не отдам.

Да, это про любовь.

5.

– И Алёна мне говорит: а давай сделаем номер «Добро и зло», я чёрненькая, ты беленькая. Ага, говорю, готичненько так. А потом подумала хорошенько, и идея мне понравилась!

Она рассказывает, как случай привел её к работе на воздушных полотнах. Коллега репетировала свой номер и в шутку предложила подруге повиснуть на канате.

– А я возьми и повисни. Ого, говорит Алёна, а вот так? Да мне-то что, можно и вот так. Мышцы есть. Природная грация тоже. Нашу красоту никакими полотнами не испортишь, – она закатывает глаза. – Если серьёзно, то всё пришлось начинать с нуля, но дело пошло быстро.

– И не страшно было новый жанр осваивать, будучи уже совсем взрослой?

– Танюш, а что делать? После Душанбе и всех больниц папа запретил мне работать воздух, даже мечтать об этом. И я думала, что так и проживу на земле. И жила ведь сколько лет! Баланс работала, номер «Кукла», хула-хупы. Но от судьбы, видно, не уйдёшь. Так легко пошло, вот как будто я все эти годы копила в себе энергию для воздушных номеров. И потом, я настолько в Алёне уверена, я знаю, что она сама порвётся, но меня не уронит. И она уверена в том же самом. Однажды я упала на репетиции, сломала ногу, но это не с полотен, мы с партнёром другой воздушный номер готовили, там не очень высоко было.

– Послушай, что это за бравада – работать без страховки. Пощекотать нервы зрителям и себе?

– А как ты себе представляешь страховку на полотнах? Мы в ней запутаемся и скорее упадём. Страховка в воздушных номерах нужна в отрывных жанрах, когда гимнаст прыгает, руки отпускает. Воздушный полёт, например – его работают со страховочной сеткой. Или трапеция – там на гимнасте крепится лонжа. А наш жанр основан на силе трения. Мои руки меня держат. Ну, и Алёнины ещё. Ручки у меня хорошие, сильные, я их кремчиком мажу. Конечно, не перед работой, перед работой мы их наоборот высушиваем одеколоном. Мало ли чего можно наверху испугаться, и ручки вспотеют. А этого никак нельзя в воздухе. Я ведь ещё ремни теперь работаю, и корд-де-волан, и рамку. Воздушница-многостаночница.

– Ты что, поставила себе целью освоить все жанры? – небрежно замечаю я, понимая, что цирковую терминологию мне ещё учить и учить.

– Не все, конечно. В цирке ведь как: попробовать нужно всё. А потом понять, что ты можешь легко, что в принципе способна освоить, а что тебе не дано. У меня вон с клоунадой туговато. Тут надо и актёрские способности иметь, и меру знать, особенно девушке. А Алёна вот умеет быть смешной – и совсем не пошлой, и не жалкой. Но при этом она не может жонглировать. Вот не может – и всё тут!

– У вас прям соревнование. Зато Алёне легко даётся джигитовка.

– Так и я работаю уже этот жанр.

– Лошадей?

– Вот Вы, да-да, Вы, женщина в розовой кофточке, на интервью со звездой нужно приходить подготовленной! – она делает строгое лицо, но тут же фыркает от смеха. – Давным-давно, когда я только начинала работать в цирке, папа поставил номер «Жонглёры на лошадях», он был очень успешным. Мне было трудно, если честно, к тому же до этого в нашей стране женщины этот жанр никогда не работали. Но я старалась, и у меня получилось! Так что с лошадками я давно. Они добрые.

– Попугаи тоже добрые?

– Вообще животных, как и людей, очень мало злых. Надо просто идти к ним с открытым сердцем и стараться понять. Если они будут видеть, что ты их любишь, они захотят выполнить твою просьбу. Пусть не сразу, но обязательно сделают!

– Наверное, трудно всё время держать свое сердце открытым?

– Да брось ты. Мы же с тобой блондинки. Правда, обе крашенные, но мужчинам это не важно! Они к нам и относятся как к блондинкам. Не знаю, как тебе живётся с твоим цветом волос, а мне на первое апреля коллеги каждый раз какой-нибудь розыгрыш устраивают. Я не обижаюсь. И каждый раз на радость им ведуся.

– Они думают, что ты глупая, а ты не глупая, ты добрая.

Она надувает губки. Потом пожимает плечами.

– Не вижу смысла быть злой.

б.

– Не понимаю, как ты всё это успеваешь.

– Что именно?

– Вот всё, о чём ты мне рассказала.

– А ты успеваешь сделать что-то своё. Успеваешь? Тут ведь главное – правильно расставить приоритеты и сконцентрироваться на том, что для тебя важно. И тогда всё получится.

– А жить когда?

Она удивляется.

– Так ведь это и есть жизнь! Я тут разговаривала с одной школьницей, она говорит: мне повезло больше, у меня вся жизнь впереди! А я ей отвечаю: детка, зато я уже знаю, что не напрасно прожила годы, которые нас с тобой разделяют. А как ты их проживёшь – пока ещё неясно.

– Здорово, теперь я тоже так буду всем говорить!

– Так я ей мысленно отвечаю, зачем обижать человека? Или вот ещё одна наша артистка мне тут выдала: ты десять лет потратила на мужчину, а потом он нашёл другую женщину, десять лет ты жила зря! Как же это зря, когда я жила с любимым? И потом, он ведь тоже десять лет на меня потратил. Всякое бывало, конечно, но по большому счёту мы были счастливы эти годы, зачем о них жалеть?

– И что такое, по-твоему, счастье?

Она молчит. Потом говорит серьёзно и тихо:

– Счастье – это когда не надо притворяться, что тебе хорошо.

Ком застревает у меня в горле.

– Ты что? – она широко улыбается. – Жизнь продолжается. И счастье возвращается к нам, когда в нашем доме для него снова появляется место.

Я недоверчиво смотрю на неё. И вижу её сияющие глаза. Она берёт меня за руку и заключает:

– И тогда снова не надо притворяться.

МАЙЯ ГЕЛЬФАНД
Тель-Авив, Израиль

Ищут Йонатана *Рассказ*

Осень, пятница. Погожий денек. На нашем рынке по пятницам можно купить все: от свежих овощей до антикварных тарелок.

Покупатели неспешно прохаживаются между рядами, примеряют самодельные ремешки из кожи, нюхают цветы.

Вдруг слышится голос. Сначала тихий, осторожный:

– Йонатан!

Никто не обращает внимание на зов. Все заняты своими делами.

– Йонатан! – звучит громче.

– Йонатан! – в голосе слышатся нервные нотки.

– Йонатан! – голос срывается на крик.

– Йонатан! Йонатан! Йонатан!

Торговцы отрываются от своих лотков, покупатели отвлекаются от выбора товаров.

– Йонатан! Йонатан! Йонатан! – зовет голос.

И вот выходят из синагоги молящиеся – ищут Йонатана. И вот торговцы покидают лотки – ищут Йонатана. И вот хозяйки бросают свои корзинки – ищут Йонатана. Весь рынок ищет Йонатана. Весь город ищет Йонатана.

И вот его находят. Это здоровый бугай, лет шести. Он идет в сопровождении двух полицейских, не то смущенный, не то испуганный. И к нему бросается мать – у нее в коляске хнычет второй ребенок, а в слинге сопит третий. И она не знает, то ли убить Йонатана, то ли расцеловать.

И весь рынок свободно вздыхает. И молящиеся возвращаются в синагогу. И хозяйки подхватывают свои корзинки. И продолжают свой обычный разговор:

– Почему эти симпатичные помидоры? Сколько-сколько? Так это же грабёж!

2.3. ИСКУССТВО

АЛЕКСАНДР СИРОТИН

Нью-Йорк, США

Лермонтов, Фальк и связь времён

В Нью-Йорке Еврейский репертуарный театр играет пьесу Артура Миллера «Смерть коммивояжёра». Пьеса была переведена на идиш. Миллер, хотя и еврей по происхождению, писал только по-английски. Пьеса стала классикой мирового театра. Среди театральных критиков разгорелись споры. Одни говорят, что классика может и должна звучать на любом языке.

Другие – что у евреев достаточно своих классиков, писавших на идише и на иврите.

В связи с этим вспомнилось, что в Московском государственном еврейском театре – ГОСЕТе – с огромным успехом шли пьесы классиков мировой и русской драматургии, например, «Король Лир» Шекспира и «Испанцы» Лермонтова...



Сцена из «Ромео и Джулетты». Фишель Лахман и Нехам Сиротина

А в театральном техникуме (позднее училище) при ГОСЕТе студенты играли в переводе на идиш Шиллера, Лессинга, Мольера, Лопе де Вега, Бомарше, Гуцкова, Гюго, Мопассана, Фейхтвангера, Лабиша... Об этом свидетельствуют старые фотографии, сохранившиеся в моём семейном архиве.

Сцену из «Ромео и Джулетты» играют студенты Фишель Лахман и Нехам Сиротина (самостоятельная работа на втором курсе).

В 1934 году в ГОСЕТе был поставлен один из лучших водевилей Эжена Лабиша «Миллионер, дантист и бедняк». Для

постановки власти разрешили Михоэлсу пригласить из Франции режиссёра Леона Муссинака. Декорации создал Александр Лабас. Писатель Жан-Ришар Блок высоко отзывался о спектакле, который, по его мнению, мог бы украсить даже французскую сцену. Главные роли исполняли Михоэлс и Зускин. А в массовке были заняты студенты техникума. На фотографии ниже – сцена из спектакля. В центре стоит мой отец Фишель (Фима) Лахман, который был тогда студентом техникума при ГОСЕТе.



Сцена из спектакля. В центре Фишель Лахман

Все фотографии не очень хорошего качества, измятые, с царапинами. Дело в том, что в 1949 году, когда пришёл приказ о закрытии ГОСЕТа, было велено «ликвидировать» декорации и театральные костюмы, книги, фотографии, весь архив. Во дворе театра (на Малой Бронной) «ликвидаторы» днём жгли книги и фотографии, а в конце рабочего дня заливали костры водой. Когда «ликвидаторы» уходили, из актёрских общежитий (одно находилось во дворе театра, другое в трёхэтажном доме №12 по улице Станкевича) прибегали наиболее смелые актёры и вытаскивали из обгорелой, мокрой кучи то, что ещё можно

было спасти. Потом спасённые книги и фотографии прятали в тайниках. Я помню наш шкаф в коридоре коммуналки на Станкевича. Шкаф был всегда на замке вплоть до времён «оттепели». Так в нашем семейном архиве сохранились какие-то фотографии. Вот, например, фотографии студенческой работы – отрывка из пьесы Бомарше «Женитьба Фигаро». Марселина – Сиротина, Сюзанна – Агорович.



Пьеса Бомарше «Женитьба Фигаро». Марселина - Сиротина, Сюзанна - Агорович

Вскоре после того, как Михоэлс принял выпускницу театрального техникума Нехаму Сиротину в труппу ГОСЕТа, он предложил ей роль Ноэми в трагедии Лермонтова «Испанцы». Постановка была поручена режиссёру из Ленинграда, сооснователю Театра имени Ленсовета, Моисею Исааковичу Кроллю. Курировал работу сам Михоэлс. Он же пригласил в качестве консультанта лермонтоведа Ираклия Андроникова.

Спектакль готовился к 200-летию со дня гибели Михаила Юрьевича Лермонтова. Пьеса была переведена на еврейский язык драматургом Ароном Кушниковым. Музыка написал Александр Крейн. Декорации и костюмы создал Роберт Рафаилович Фальк.

Даже по чёрно-белым фотографиям можно получить некоторое представление о сценографии Фалька.



Нозми - Нехам Сиротина, Фернандо - Яков Гертнер. ГОСЕТ

Художник Фальк умело сочетал историчность и условность. К тому же он хотел, чтобы костюм не мешал актёрам играть. Моя мать рассказывала, что он говорил актёрам: «Вы должны себя чувствовать свободно, будто вообще никаких костюмов нет». А ещё в самом начале работы над костюмом художник просил актёров и актрис раздеться догола, чтобы он мог увидеть все линии тела. Кто-то согласился, но моя мать – а ей было тогда 22 года – никак не хотела раздеваться, вплоть до отказа от роли. Наконец, Фальк пошёл на компромисс и разрешил ей позировать в купальнике.

Так случилось, что в конце 1950-х годов мать привела меня к Александре Вениаминовне Азарх, вдове создателя Московского еврейского театра, режиссёра Алексея Михайловича Грановского-Азарха. Она была когда-то актрисой,

а затем – преподавателем театральной студии-техникума училища при ГОСЕТе вплоть до его закрытия. В 1930-х годах она учила актёрскому мастерству мою мать, а в начале 1960-х готовила меня к поступлению в Щукинское училище. Её сестра – Раиса Вениаминовна Идельсон-Лабас – была третьей женой Фалька. Между прочим, второй его женой была дочь К.С. Станиславского Кира Алексеева. С сёстрами Александрой и Раисой дружила четвёртая и последняя жена Фалька Ангелина Васильевна Щекин-Кротова. В комнате сестёр в коммунальной квартире на 9 этаже дома напротив Главпочтамта, возле Чайного дома на улице Кирова, ныне Мясницкая, №21, кв.36) Ангелина Васильевна иногда устраивала небольшие показы картин покойного мужа. Я, будучи студентом, помогал ей в этом: ставил картины на напольный треножный мольберт, менял их. Потом Ангелина Васильевна стала приглашать меня для такой помощи в мастерскую Фалька. Мастерская и квартира, где жила Ангелина Васильевна, находились в редкой красоты здании на Пречистенке, угол Соймоновского проезда. Мастерская находилась в мансарде, где было огромное окно. Дневной свет прекрасно падал на картины, и фальковские краски поражали своей сочностью. Домашние показы устраивались потому, что открытых персональных выставок художника добиться было невероятно трудно. С печальным смехом вспоминали мы, как во время знаменитой выставки живописи в Манеже Хрущёв набросился на художников. Особенно он был возмущён картиной Фалька «Обнажённая». «Это что за голая баба! – кричал он. «Работа Фалька,» – ответили ему. «Валька? Убрать эту голую Вальку!» После этого скандала Фалька долго не выставляли.

Уезжая в Америку, я купил у Александры Вениаминовны несколько театральных эскизов. Она утверждала, что наброски сделаны Фальком. Подписи под ними нет, но то, что это сделано рукой мастера, сомнений не вызывает. Портрет юноши – скорее всего связан со спектаклем «Уриель Акоста» (пьеса Карла Гуцкова). На рисунке с изображением женщины в полный рост надпись сбоку по-русски: «Костюм Рейзеле в Америке. Блуждающие звёзды». На вывоз эскизов из СССР я получил разрешение Министерства культуры с печатью и подписью искусствоведа в штатском. Этих рисунков нет в каталогах. Они никогда не публиковались.



Фальк «Обнажённая в кресле»

Я сделал снимки специально для этой статьи.

С ГОСЕТом был связан не только Фальк, но и такие художники, как Марк Шагал, Александр Тышлер, Натан Альтман, Александр Лабас, Исаак Рабинович... Александра Вениаминовна Азарх любила рассказывать забавные истории о работе Марка Шагала в Еврейском театре.

Когда театр Грановского переехал из Петрограда в Москву, он разместился в доме №12 по Большому Чернышёвскому переулку (позднее улица Станкевича, а ныне Вознесенский переулок). Это был трёхэтажный дом, отделанный белой кафельной плиткой.

На втором этаже был оборудован театр с небольшой сценой и зрительным залом. Марк Шагал, которого Грановский пригласил в качестве главного художника, решил расписать стены зрительного зала. Но одними стенами он не ограничился и расписал кресла: спинки и сиденья. В день открытия театра, когда зрители стали заполнять зал, им мешал занимать свои места очень странный кудрявый молодой человек, который

бегал по рядам и кричал: «Подождите! Сначала посмотрите, на что вы садитесь!»

Вскоре театру дали новое помещение на Малой Бронной, а в старом стены, расписанные Шагалом, были замазаны, и кресла, расписанные им, выброшены.



Рисунок предположительно Роберта Фалька

Здесь вспоминается история о том, как в 1960-х годах Шагал предложил создать в своём родном Витебске музей его имени и готов был подарить добрый десяток своих работ, но тогдашний министр культуры СССР Фурцева отказалась от дара: мол, советскому народу чужда буржуазно-националистическая живопись этого художника. Дом, откуда уехал Еврейский театр, был превращён в общежитие актёров ГОСЕТа, потом его переделали в коммунальные квартиры – по 13 квартир на

каждом этаже, с общей уборной, общей ванной, общей кухней и общим телефоном на 30 человек. В конце длинного коридора на третьем этаже была комната, в которой жили Нехам Сиротина и Фишель Лахман и где родился я. Вернее, я родился в роддоме имени Грауэрмана на Арбате, в котором рожала чуть ли не вся Москва.



Портрет, предположительно написанный Робертом Фальком

Через 26 лет после меня в том же роддоме появился на свет и мой сын. Но это совсем другая история. Я родился в конце января 1945 года, когда мой отец был ещё на фронте. Мать рассказывала, что по роддому бегали крысы. Хотелось поскорее вернуться в театр. Какое имя дать сыну? Свекровь звали Сара. Может быть, назвать сына Сашей? С кем посоветоваться? Ну, конечно же, с Соломоном Михайловичем Михозэлсом – с ним советовались все и обо всём. Он посмотрел на малыша, которого актриса принесла в театр, и сказал: «Александр? То есть Сендер. Сендер Мукдн. Македонский. Хорошее имя». И

вопрос был решён. Кстати, у многих актёрских семей ГОСЕТа были сыновья с этим модным тогда именем.



Портрет, предположительно написанный Робертом Фальком

Мать сначала приносила, а потом приводила меня в театр. Во время спектаклей сажали меня в правой от сцены ложе осветителей. Я сидел под прожектором и, не замечая жары, не отводил глаз от сцены. Мне было всего 3 года, но я помню два спектакля: «Колдунью» и «Фрейлахс». В «Колдунье» я очень переживал, когда моя мама, игравшая злую мачеху, сгорала в огне на крыше домика. А во «Фрейлахсе» я с восторгом смотрел на очень красивые платья танцующих актрис. Помню совсем молодого Эмиля Горовца в роли жениха... О нём в этой роли я рассказываю в документальном двухчасовом фильме, посвящённом его памяти (режиссёр Валерий Шатин).

...В комнате, где жили Александра Вениаминовна Азарх и Раиса Вениаминовна Идельсон, висели несколько картин. Не просто висели, а жили в этой комнате вместе с сёстрами. Мне

хорошо запомнились две: на правой стене «Автопортрет в красной феске» Фалька, на левой «Девушка с кошкой» художника Пэна – это портрет юной Раисы Вениаминовны с кошкой на коленях. Александра Вениаминовна рассказывала, что Юдель Пэн плохо говорил по-русски и называл эту картину «Две кисеёчки». Это был тот самый Пэн, который создал школу живописи в Витебске и учил рисовать Марка Шагала, Эль Лисицкого, Оскара Мещанинова, Осипа Цадкина. Я, будучи ещё школьником, впервые узнал об этих художниках от Александры Вениаминовны.

В советской школе и в советской печати их не упоминали. В доме Александры Вениаминовны я впервые познакомился с живописью Хайма Сутина по французским альбомам и каталогам, пришедшим из Парижа. Азарх прожила во Франции несколько лет, знала многих поэтов, писателей, художников. В частности, Модильяни. О нём она шутила: «После хорошей порции гашиша фигуры, естественно, начинали плыть, вытягиваться, а глаза становились узкими. Вот вам и разгадка живописи Модильяни».

Когда я бывал у Александры Вениаминовны, мне казалось, что я то ли в парижской мансарде на Монмартре, то ли в московском литературном салоне начала 20-го века. Здесь часто говорили о Блоке и Маяковском, о Лиле Брик, с которой Азарх была хорошо знакома. Сюда часто приходили не облаканные советской властью писатели и поэты. Здесь я впервые увидел и услышал Евгению Семёновну Гинзбург, автора «Крутого Маршрута» и мать Василия Аксёнова. Здесь я познакомился с ленинградским поэтом Виктором Кривулиным и московским писателем Юрием Мамлеевым.

Но самыми весёлыми были здесь встречи бывших артистов ГОСЕТа. Особенно, когда к ним присоединялся бывший директор еврейского театрального училища Моисей Соломонович Беленький, друг Михоэлса. В 1949 году он был арестован и получил 10 лет лагерей по делу о Еврейском антифашистском комитете. Отбывал срок в шахтах под Карагандой. После смерти Сталина был реабилитирован, освобождён и вернулся в Москву в 1954 году.



Александра Вениаминовна Азарх

Когда он приходил к Александре Вениаминовне, то на столе появлялась водочка и застолье всегда сопровождалось дружным пением еврейских песен из спектаклей ГОСЕТа. Запевалой был сам Беленький. Причём, он пел очень громко, да ещё стучал в такт по столу так, что ложки звенели. От него я услышал, что среди евреев были стукачи, доносчики, и среди них, по его словам, был главный редактор еврейского журнала «Советиш геймланд» поэт Арон Вергелис. Сотрудничал с КГБ и другой поэт – Ицик Фефер, который следил за Михоэлсом, но, несмотря на лояльность органам, был расстрелян с другими еврейскими писателями в 1952 году. Уже после смерти Беленького я позвонил в Израиль его вдове, бывшей актрисе ГОСЕТа Эльше Моисеевне Безверхней, когда она отметила своё столетие (это было в 2010 году). Она практически ослепла, но память у неё была отличная. Разговор зашёл об артистах и о том, как они к ней относились, когда мужа арестовали. Она поимённо назвала тех, кто перестал с ней здороваться и, завидев её, переходил на другую сторону улицы. Я называл фамилию и слышал в ответ: «Он подлец». Называл другую, и опять: «Подлец».

Но надо помянуть добром тех, кто благородно поступил по отношению к соратникам и ученикам Михоэлса. Актрису Эттель Ковенскую сразу после закрытия ГОСЕТа не побоялся взять в свой театр имени Моссовета Юрий Завадский. Он дал ей роль Дездемоны в «Отелло» (с Мордвиновым), Гертруду в Гамлете, представил её к званию Заслуженной артистки РСФСР. Завадский взял в театр режиссёра Нину Соломоновну Михоэлс, младшую дочь «врага народа». Мария Осиповна Кнебель пригласила еврейского актёра Шварцера в Центральный Детский театр. Иосифа Гросса (Колина) взял театр имени Пушкина. Григория Лямпе – Московский областной театр имени Островского. А ректор Щукинского училища при театре Вахтангова Борис Евгеньевич Захава предложил работу сразу троим госетовцам: Моисею Беленькому – место преподавателя философии, актрисе Эльше Безверхней – место сотрудницы секретариата по составлению расписаний, и балетмейстеру Якову Ицхоки – место педагога по сценическим танцам. Поступив в Щукинское на актёрский, а потом и на режиссёрский факультет, я оказался учеником этих замечательных, незабываемых преподавателей. Я помню, какое уважение к памяти Михоэлса, объявленного американским шпионом и агентом Джойнта, оказывали ещё при жизни Сталина Иван Семёнович Козловский, Сергей Владимирович Образцов, актёр Ханов и многие другие.

Будучи студентом, потом актёром, затем режиссёром эстрады и, наконец, литератором, я продолжал приходить к Александре Вениаминовне. Ей я читал свои первые стихи, одноактные пьесы, рассказы. Потом мы всегда пили чай с печеньем или сушками, и разговаривали...

Был ещё один дом в Москве, славившийся чаепитием – это дом Виктора Ардова на Большой Ордынке дом №17, кв. 13. Я познакомился с ним, когда был режиссёром Творческой мастерской сатиры и юмора в Москонцерте. Мы готовили конференцию о юморе на эстраде, и Ардов должен был на ней выступить. У нас с Виктором Ефимовичем возникла обоюдная симпатия, и мы даже написали вместе несколько рецензий на эстрадные программы. Ардов тоже был из старого времени. Я приходил к нему после 6 вечера. Днём он спал, и вставал около шести. Если он ещё спал, чаем угощала меня его жена Нина Антоновна Ольшевская. Виктор Ефимович выходил к столу

иногда прямо в пижаме. Он вообще был человеком экстравагантным. В жизни гораздо остроумнее, чем в литературе. Он был мастером экспромта. Любил рассказывать о своих «находках». Встретив как-то вахтанговского актёра Владимира Абрамовича Этуша, он произнёс: «Вот вижу я фигуру эту ж!» Этуш не понял, и сказал: «Ну, а дальше?» «Дальше не нужно, – ответил Ардов. – Я всё сказал». Когда Сергей Владимирович Образцов выпустил в 1956 году свою первую книгу под длинным названием «О том, что я увидел, узнал и понял во время двух поездок в Лондон», он очень этим гордился и, встретив Ардова в Центральном доме работников искусств громко, чтобы все слышали, спросил: «Вы читали мою книгу?» На это Ардов, не задумываясь, процитировал из Грибоедова: «Я глупостей не чтец, а пуще образцовых». Когда я спросил у Ардова о его происхождении, он ответил: «Думаю, я эфиоп. Посмотри, как мы похожи с императором Хайле Селассие Первым!» И, будучи хорошим карикатуристом, он тут же на салфетке набросал свой профиль и профиль Хайле Селассие. «Видишь! Одно лицо! Я мог бы быть его двойником. Думаю, во мне, как и в нём, течёт кровь царя Соломона и царицы Савской!» При этих словах Ардов выпятил грудь и вздёрнул вверх свою козлиную бородку.

Изредка к чаепитию присоединялись сыновья Виктора Ефимовича Борис и Михаил. Борис потом стал актёром, а Михаил – православным батюшкой. Каково было бы его деду Ефиму Моисеевичу Зигберману узнать об этом! Воистину неисповедимы пути евреев! Впрочем, я с удовольствием читаю воспоминания протоиерея Михаила Ардова.

В комнате, где мы пили чай с сушками и вареньем, напротив стола висел большой портрет Анны Андреевны Ахматовой, написанный пасынком Ардова актёром Алексеем Баталовым...

...В Америке, в Нью-Йорке моя мать надиктовала переводчице Линн Виссон свои воспоминания. Она рассказала, что «Испанцев» репетировали в 1940 году, а премьеру сыграли в феврале 41-го. Тогда каждую премьеру ГОСЕТа широко обсуждали рецензенты не только еврейских, но и центральных газет вплоть до «Правды». Отзывы об «Испанцах» были самые восторженные. Ни у кого не возник вопрос, как посмели евреи играть Лермонтова на языке идиш.



Обложка пластинки с портретом Нехамы Сиротиной

– Наибольший успех выпал спектаклю в Ленинграде, – вспоминает Нехама Сиротина. – Стихотворная трагедия, написанная 15-летним Лермонтовым, ставилась очень редко, хотя Лермонтов был в России и в СССР одним из любимейших авторов. На «Испанцев» шла вся ленинградская интеллигенция, которая, по-моему, была требовательнее и искущённее московской. Перевод Кушнирова был превосходным. Из-за того, что вскоре после премьеры началась Вторая мировая война и театр эвакуировали в Узбекистан, спектакль просуществовал недолго. Но роль Ноэми настолько близка мне, что я помню все монологи даже спустя более 40 лет.

В 1983 году в Нью-Йорке продюсеры Ренее Раскин (Renee Raskin) и Мэл Кайзер (Mel Kaiser), интересовавшиеся историей еврейского театра и культурой на языке идиш, выпустили пластинку Нехамы Сиротиной под названием «Их хоб а шпрах» (I Have a Language). Для пластинки была сделана запись монолога Ноэми из «Испанцев», но в окончательный вариант эта запись не вошла.

Лермонтов... Фальк... Москва... Нью-Йорк... Век девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый... Всё связано.

Не прав Гамлет, не распалась связь времён.

ВЕРА ЧАЙКОВСКАЯ
Москва, Россия

Разворот к центру. Вольные размышления над книгой о Возрождении

Эта книга не новая.⁴ Но как быть, если она только сейчас попала мне в руки? Прочла ее уже после сравнительно недавней замечательной книги автора «Принцип рая» (2011), за которую он получил Государственную премию. Я сама была бы несказанно рада, если бы вышедшая в том же «рубежном» 1999 году моя собственная книга «Удивить Париж», – сейчас кого-то настолько задела, что он стал бы о ней печатно размышлять.

На ловца и зверь бежит! Недавно в Интернете в некотором шоковом остолбенении рассматривала присланную картинку. Охотники с собаками – часть известнейшей картины Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу» (1565) – возвращались не в родные жилища, а в огромные современные многоэтажки, со всех сторон окружившие заснеженный холм.

Собственно говоря, передо мной возникла своеобразная метафора разбираемой книги, «магическое» соседство искусства Возрождения с современностью, его «стук в дверь».

В сущности, для Михаила Соколова Возрождение – всегда в Центре культуры, всегда манит к «мистерии соседства». И все последующие «закидоны» искусства получают свою подлинную меру только в соотношении с этим «мировым Центром», где счастливо объединились интенции прошлого и будущего.

На меня некогда большое впечатление произвела книга о Возрождении, написанная Алексеем Лосевым. Так вот, в лосевской «Эстетике Возрождения» (1978, 1982) – самые выразительные страницы посвящены «обратной стороне титанизма» – тем кровавым и ужасным злодеяниям, которые совершались выдающимися людьми эпохи, герцогами и папами, покровительствующими искусству. Это была изнанка «антропоцентризма», когда, кроме человека и его «стихийного индивидуализма», – в мире как бы ничего не оставалось.

⁴ М. Соколов. «Мистерия соседства: к метаморфологии искусства Возрождения», М., Прогресс, Традиция, 1999



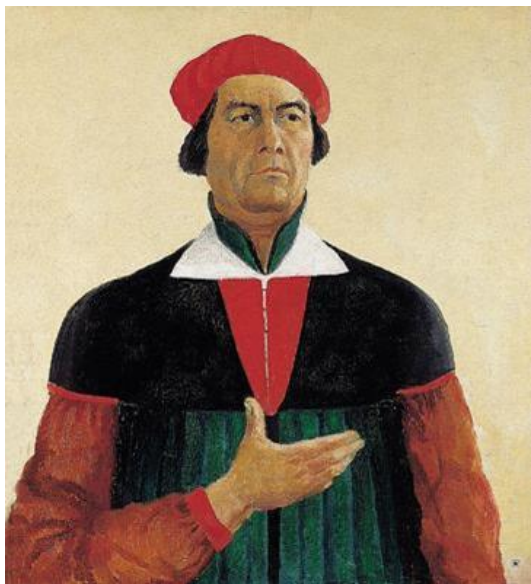
Питер Брейгель Старший. «Охотники на снегу»

И самому Лосеву подобный «антропоцентризм», судя по всему, был глубоко чужд.

Михаил Соколов предлагает совершенно иной подход к Ренессансу. Его вдохновила бахтинская идея «Большого Времени», и он по-своему ее интерпретирует.

Автор избегает понятия «антропоцентризм» в применении к этой «срединной» эпохе. И это принципиально. Возрождение не только Человек, но и нечто Иное. Все сакральные образы и божественные смыслы, накопленные в Древности и Средневековье, никуда не исчезли. Они просто по-новому претворились в новых художественных формах, заданных Возрождением. Интересна применяемая автором фрейдовская модель взаимодействия подсознания, срединного эго и супер-эго, которая приложима и к Возрождению. Тут тоже происходит творческое взаимодействие трех культурных эпох с разными ментальными доминантами. Возникает счастливый миг их «срединного» равновесия, освещенного возрожденческим, открытым миру и «радостным» мышлением. Здесь перед нами «полнота», а не ограниченность и усредненность, как в искусстве последующих эпох. И об этой-то «полноте» автор

особенно убедительно говорит, на мой взгляд, в главе об «изо-герое».



Казимир Малевич. Автопортрет

Она чрезвычайно актуальна и побуждает к соразмышлению. Самое захватывающее, что разговор касается возникновения в ренессансном портрете той меры человеческого, которая в последующие эпохи нарушалась или просто забывалась. И автор прослеживает эту цепочку, а читатель может сам ее продолжить. Мера касается даже мимики и взгляда. Чрезмерная улыбка или чрезмерно пристальный взгляд могли восприниматься как знак каких-то порочных, искушающих сил, что конечно же, шло от средневековых воззрений (Тут-то мне припомнилось шокирующее определение Алексея Лосева улыбки Джоконды, как «бесовской»). Но ведь, как я поняла автора, и это, позаимствованное из Средневековья «бесовское», органично вплеталось в образ возрожденческой личности, придавая ей прежде невиданную полноту, магизм, отблески сакральной недосказанности. Недаром автор вскользь замечает, что Грушенька Достоевского (вот уж подлинно-дьяволица!) скорее соотносима с возрожденческими дамами, чем с весьма «правильными» портретными героинями-современницами.

Я подумала о том, что через много лет Гоголь в своем «Портрете» как бы продолжает эту возрожденческую линию «магического» взгляда портретного персонажа. А Лермонтов даже рисует своего мифологизированного предка, некоего герцога Лерма, наделяя его магической внешностью своего двойника. Тут идет работа не с абстрактным иконным «ликом», а с человеческим лицом, в визуальное изображение которого включаются архаические и сакральные смыслы. Можно уже не бояться «кощунства», изображая себя неким подобием Христа, как делает это Дюрер в своем знаменитом автопортрете, – ведь человек вмещает в себя всю вселенную. Или же изобразить себя в «неподобающей» позе с женой на коленях, повторяющей средневековые сценки беспутств «блудного сына» (рембрандтовский «Автопортрет с Саскией на коленях»). Но и эти средневековые «беспутства», в той ренессансной перспективе, которая намечена автором, меняют знак на противоположный, мерцают двойственностью, добавляя автопортрету гениального художника дразнящей многозначности и веселой полноты.

Особенно интересны в плане дальнейшей «эволюции» размышления автора о метаморфозах лица. Я сама давно слежу за этими зловещими метаморфозами, и ход авторской мысли мне был чрезвычайно интересен.

Вот, к примеру, тициановский портрет поэта Аретино, представшего во всем своем внешнем и внутреннем неблагообразии. Автор без стеснения определяет его лицо как «харю», но при этом герой не разбивается на «осколки» масок и личин и даже не теряет «человеческого», благодаря «свечению» тех сакральных смыслов, которые вплелись в возрожденческий портрет. Аретино неприятный человек, но человек – и его облик значителен.

Окончательное торжество «хари» (а также маски и личины) автор видит, к примеру, у Олега Целкова. Я бы добавила, что художник здесь во многом следует за «натурой». Вместо живых лиц нас все чаще окружают мертвые маски, умело подобранные имиджи.

В женском облике аналогом «расподобления» лица становится, по Соколову, уже не «харя», а напротив – этакая миленькая «мордочка» (наподобие головок Ротари), где тоже теряется возрожденческий масштаб человека. Интересна мысль

Соколова, что у знаменитого маркиза идет непримиримая война «харь» и «мордочек», но отнюдь не возрожденческих многосложных и светящихся глубинным смыслом лиц.

Мне представляется, что метаморфозы лица на этом не закончились. Лицо (как и сам жанр портрета) вообще исчезли из поля зрения современных художников. «Мордочки», как мужские, так и женские, восторжествовали на телеэкране, в рекламных роликах и в глянцевых журналах. Исчезла и та «автопортретность», которая, по Соколову, пронизывала все возрожденческое искусство, проявляясь в каждой детали и каждом мазке. Увы, личность умалается, и не это ли знак цивилизационного тупика? Что же делать, как выбраться?

Почему мы ждем ответов от политиков и экономистов?! Вот же он – глухой ответ философа-искусствоведа, скорее даже в форме вопроса, как и полагается мыслящему человеку!

Нам предложен некий Путь, Возрождение (какое, однако, многозначное слово!) как некий Центр космического процесса с его ноосферой (термин Владимира Вернадского) и пневмосферой (термин Павла Флоренского). То есть с теми богатствами созданных человеческой культурой смыслов и форм, которыми Возрождение сумело так гармонично распорядиться.

Я вспоминаю блистательный, мой любимый у Казимира Малевича «Автопортрет» в костюме дожа (1933). На исходе жизни гениальный мастер, как бы положивший своим «Черным квадратом» некий предел фигуративному искусству (или даже искусству вообще), – возвращается к Возрождению. Пишет себя не просто венецианским дожем, но дожем, представшим на фоне «Большого Времени», говорящим с эпохами и культурами.

И меня, например, этот разворот к Центру весьма впечатляет. И дает надежду на будущее искусства и человечества...

ИРИНА ЛЕММ
Гаага, Нидерланды

Рембрандт возвращается на родину *Дебют*

Рембрандт для Голландии – это святое. Как Пушкин для России.

Работы его должны находиться на родине и быть доступными для каждого жителя страны. Так рассуждал Вим Пайбес, директор Госмузея в Амстердаме, когда объявил о намерении приобрести две картины великого соотечественника. Эксперты аукциона Кристи оценили их в 150 млн. евро. Встал вопрос: сможет ли музей осилить такую баснословную сумму?

Но все по порядку. В начале этого года появилась информация о том, что французский меценат Эрик де Ротшильд выставил на продажу два портрета работы Рембрандта – исключительный шанс для музеев и коллекционеров. Портреты написаны в 1634 году и связаны между собой – это жених и невеста. Богатый антверпенский торговец Мартен Соолманс (21 год) держит в левой руке перчатку, что означает: он прямо на глазах у зрителей делает предложение девушке Опыен Коппит (23 года) из зажиточной амстердамской семьи.

Они жили по соседству с Рембрандтом и в честь будущего бракосочетания заказали картины художнику, который только недавно переехал в Амстердам, но уже имел статус «модного». Портретируемые изображены в полный рост, что раньше являлось привилегией только коронованных особ и высшей знати. Но голландцы никогда не отличались бездумным почитанием традиций. Молодой амбициозный Мартен Соолманс, нувориш своих дней, жаждал видеть себя причисленным к кругу избранных, выставить благосостояние напоказ.

Именно из-за этого портреты оказались раскритикованы современниками. Их высмеивали за слишком явное выпячивание богатства. Особым насмешкам подверглись туфли Соолманса – с огромными розетками, придававшими всей его позе несерьезный, клоунский вид.

Было написано даже несколько эпиграмм, высмеивающих те несуразные «помпоны».

Но нам интересны не модные предпочтения самовлюбленных нуворишей семнадцатого века, а то, с каким искусством они изображены.



Рембрандт. Портреты Мартена Соолманса и Опыен Коппит

Теперь эти помпоны вызывают не ироническую улыбку, а восхищение мастерством художника. Для наибольшего реалистичного эффекта он просто выдавил краску на холст и расправил кистью. Получилось объемное изображение. Говорят, если провести пальцами в том месте, можно ощутить, как помпоны «торчат» из картины.

«Рисунок очаровательный, широкий, легкий, уверенный, абсолютно естественный. Живопись ровная, с твердыми контурами, настолько плотная и сочная, что, каким бы слоем – тонким или густым – ни были наложены краски, все равно ничего нельзя ни прибавить, ни убавить», – говорит известный французский критик Эжен Фромантен.

Типичный «почерк» раннего Рембрандта. Он был в расцвете жизни (28 лет) и в расцвете творчества. Заказ Соолманса принес ему 500 гульденов, что соответствовало годовой зарплате хорошего мастера-ремесленника.

Он также приобрел новых клиентов из богатых кругов. Это позволило убедить родственников любимой девушки Саскии в том, что он способен обеспечить семью. В конце того же года они поженились.

Вернемся к портретам, которые во многом уникальны. Они никогда не разлучались. Это единственный раз, когда Рембрандт написал членов семьи в полный рост. Портреты мало известны публике. С тех пор, как в 1877 году оказались во владении семьи Ротшильдов, они почти не выставлялись, последний раз выезжали за границу шестьдесят лет назад. Оба портрета в отличном состоянии, будто созданы недавно. Лишь на воротнике невесты имеются потертости, нанесенные неаккуратной чисткой.

Директор Госмузея Вим Пайбес, который зорко следит за подобными возможностями, тут же начал переговоры. Его гражданский патриотизм и увлеченность ценителя искусства заслуживают всяческих похвал. Еще он обладает верой в удачу и умением добиваться цели. Потому что возмечтать приобрести экспонаты за 150 миллионов мог только неисправимый оптимист.

Не все шло гладко. Поначалу возникли сомнения – разрешит ли французский Департамент культуры продажу ценных картин за границу. Закон таков: после объявления о выставлении на продажу, предметы искусства можно задержать на 30 месяцев в стране в надежде, что найдется местный богач, который их приобретет. Но за неимением средств, Лувр отказался от покупки сразу, заявок от частных коллекционеров не поступило.

Разрешение на продажу было получено. Из-за этого владельца картин Эрика де Ротшильда на родине обозвали предателем и охотником за большими деньгами. С последним можно согласиться: узнав о горячем интересе голландца, он увеличил первоначальную цену на 10 миллионов. Какая мелочь – Пайбеса было не остановить. И ведь ему удалось! Деньги поступят из разных источников. Половину суммы – 80 миллионов – дает правительство Голландии. 50 выделит лично министр финансов из дохода по гособлигациям. 20 – от министра культуры. Остальное – из фонда «Рембрандт» и пожертвований частных лиц, которым местная налоговая

полиция обещала по такому случаю пойти на некоторые уступки.

Вим Пайбес счастлив – его жизнь и карьера удалась. Если все получится, покупка войдет в анналы истории как самая дорогая из совершенных государственным музеем. Кстати, предыдущее самое дорогое приобретение было сделано Гаагским Музеоном, который в 1997 году купил абстракционистскую картину Пита Мондриана «Буги Вуги» за 37 миллионов евро. Тогда покупка вызвала взрыв возмущения в стране: абстракционизм, все эти цветные полоски и пятнышки – не самое популярное направление у любителей живописи.

Сейчас же критиков не слышно. Действительно, ну что нам какие-то 160 миллионов? Если пересчитать на душу населения, получится по 10 евро с человека, включая стариков, младенцев и беженцев. Не жалко ради высокого искусства. Рембрандт – это святое. И пусть весь мир замрет в восхищении. Потому что ни одна другая страна не способна на такое.

ЛЕЙЛА АЛЕКСАНДЕР ГАРРЕТТ
Лондон, Англия

Два Саввы – Морозов и Мамонтов

Отрывок из повести «Москва, мы все к тебе придем!»

В начале XX века страстью к искусству «заболели» многие московские купцы. О разрушительной страсти русского купечества (в частности, о Савве Морозове) безошибочно высказался один из основателей Московского Художественного театра Немирович-Данченко: «Человеческая природа не выносит двух равносильных противоположных страстей. Купец не смеет увлекаться. Он должен быть верен своей стихии, стихии выдержки и расчета. Измена неминуемо поведет к трагическому конфликту». О себе самом Савва Морозов высказывался не менее критично: «У меня нет биографии. Я ведь не человек, я – фирма». Оба великих московских мецената из купцов, заразившихся одержимостью к искусству,

закончили жизнь трагически: Савва Морозов застрелился в Каннах 13 мая 1905 года (в возрасте 43 лет); а Савва Мамонтов разорился, что по тем временам расценивалось как позор и гибель.

Существует версия, что самоубийство первого было инсценировано. Убил же его большевик-террорист Леонид Красин (мечтатель создания бомбы величиной с грецкий орех!) за то, что купец отказал ему в очередном денежном транше на нужды революции. Рядом с телом убитого французские полицейские обнаружили две записки. В одной было написано: «Долг – платежом. Красин» (циничный намек на известную русскую поговорку: «долг платежом красен»). В другой – Савва Морозов просил в своей смерти никого не винить. Рядом с запиской находился томик стихов Пушкина, любимого поэта Саввы Морозова, таинственно потом куда-то исчезнувший. После Кровавого воскресенья 9 января 1905 года Савва Морозов в беседе с Максимом Горьким произнес пророческие слова: «Революция обеспечена. Годы пропаганды не дали бы того, что достигнуто в один день. Позволив убивать себя сегодня, люди приобрели право убивать завтра. Они, конечно, воспользуются этим правом». И народ воспользовался.

Самоубийство Саввы Морозова породило множество слухов. Одни говорили, что он не смог пережить измены своей возлюбленной, актрисы МХАТа, Марии Федоровны Андреевой (партийная кличка – «госпожа Феномен»); она предпочла ему Максима Горького. По просьбе «госпожи Феномен» Савва Морозов снабжал большевиков «большими» деньгами. Некоторые исследователи романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» предполагают, что именно Мария Андреева являлась прообразом Маргариты. И жила Маргарита Николаевна в доме Саввы Морозова на Спиридоновке 17. В предпоследний день нашего пребывания в Москве мы с Леной отправились на экскурсию, связанную с «закатным» романом, и увидели этот дом, похожий на средневековый замок.

Когда большевики убедились, что Савва Тимофеевич денег на революцию больше не даст, они пошли на крайние меры – на убийство. По завещанию Мария Андреева наследовала после смерти Саввы Морозова сто тысяч рублей. Этим завещанием он



Савва Морозов

и подписал себе смертный приговор. Спустя несколько месяцев после «самоубийства» Морозова мхатовская красавица получила обещанную сумму. Большая часть этих денег пошла на нужды партии большевиков.

Есть версия, что Савва Морозов вообще не стрелялся, а бросил все свое состояние, переделался в простолюдина и отправился бродяжничать по необъятным просторам России. Причиной странных домыслов послужило то, что старообрядца Савву Морозова похоронили на Рогожском кладбище в семейной усыпальнице при закрытом гробе, а по законам староверов самоубийц на кладбище не хоронят.

29 мая 1905 года на похоронах Морозова собралась многотысячная толпа. Пришла вся труппа Художественного театра, кроме одной актрисы – Марии Федоровны Андреевой. В тот день у нее был насморк. Речей над могилой не произносили: у старообрядцев это не принято. Хоронили молча. С Морозовым похоронили и тайну его гибели.

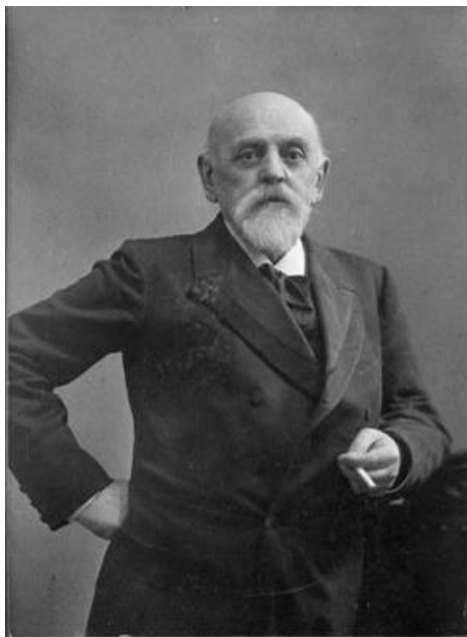
Любопытная деталь: после окончания Московского университета Савва Морозов стажировался в Кембридже. Там у русского магната родилась мечта «положить англичан на

лопатки!». Внешне Савва Морозов напоминал мне Савву (Савелия) Ямщикова – известного реставратора, также страстно любившего и служившего русскому искусству (Савва Ямщиков был консультантом фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев»).

Жизнь российских меценатов – богатых купцов и промышленных магнатов – бесспорно, была метанием между искусством и предпринимательством, стремлением к высшему – к звездам, и к низшему – к наживе. Они, как кентавры: «несовместимость двух начал» .

Москва обязана многим своим купцам: Третьяковской галереей, непревзойденными живописными коллекциями Ивана Морозова и Сергея Щукина, усадьбой Абрамцево Саввы Мамонтова. О Савве Мамонтове современники говорили: «Другие коллекционировали искусство, а он его двигал» .

Чем, кроме светских скандалов да хищений, запомнятся грядущим поколениям наши «предприниматели»? Измельчал век современных толстосумов.



Савва Мамонтов

Савве Ивановичу Мамонтову повезло гораздо больше, чем его тезке: он остался жив, но не осуществил свою мечту: не создал самый грандиозный театр в Европе. Его вообще называли великим дилетантом: он увлекался музыкой, керамикой, скульптурой, живописью, майоликой и театром. Молодым человеком он жил в Италии, где брал уроки пения. Его подмосковное имение Абрамцево стало центром притяжения русского искусства: к нему приезжали Репин, Васнецов, Суриков, Коровин, Серов, Врубель, Полenov и многие другие художники. Всем им Мамонтов оказывал свое покровительство. Федор Иванович Шаляпин писал: «У Мамонтова я получил тот репертуар, который дал мне возможность разработать все основные черты моей артистической натуры, моего темперамента». В окрестностях Абрамцева Виктор Васнецов написал своих знаменитых «Богатырей» и «Алёнушку». Валентин Серов в столовой дома создал один из своих шедевров – «Девочку с персиками» (портрет дочери Мамонтова Веры). Здесь устраивались театральные представления со Станиславским и Шаляпиным, создавались декорации, выполненные по эскизам гостивших в доме художников. Несмотря на страсть всей своей жизни – театр, Савва Мамонтов продолжал строить железные дороги. В 1882 году он закончил строительство Донецкой каменноугольной железной дороги. Театральная деятельность Мамонтова многих раздражала: зачем купец лезет в искусство! Но Мамонтов продолжал вкладывать в театр огромные деньги. «Не Вы с Вашей чистой душой призваны быть деятелем железной дороги – в этом деле необходимо иметь кровь холодную, как лед, камень на месте сердца и лопаты на месте рук», – писал Мамонтову известный скульптор Марк Антокольский. И оказался прав: в результате рискованных финансовых сделок, предпринимательская карьера мецената закончилась крахом: дело довели до суда, Мамонтова арестовали и посадили в Таганскую тюрьму. Несмотря на все усилия друзей, Савва Мамонтов несколько месяцев провел в заключении. Федор Шаляпин, для которого так много сделал Савва Мамонтов, ни разу не навестил своего покровителя в тюрьме и не выступил на суде в его защиту. Смалодушничал и Константин Коровин: от страха он сжег всю переписку с

Мамонтовым, а хозяин «абрамцевского кружка» собирался ангажировать его в создании «Метрополя».

Следствие установило, что Савва Мамонтов не присваивал казенных денег. Из зала суда «купец» вышел под шквал аплодисментов. После погашения долгов Савва Мамонтов потерял все свое состояние, но хуже всего – репутацию честного предпринимателя и порядочного человека, что равносильно было смерти. До конца жизни Савва Мамонтов сохранил любовь к искусству и к её создателям. Он умер 6 апреля 1918 года в возрасте 76 лет и похоронен в Абрамцеве. На фоне потрясшей страну революции, которую так щедро и безрассудно поддерживал его тезка Савва Морозов, смерть русского мецената осталась незамеченной. Мечта его жизни: построить в сердце столицы ни с чем не сравнимый театр так и осталась мечтой. Как сказал великий англичанин: «Весь мир – это театр, а люди в нем актеры».

Созданные великими Саввами «детища» пережили своих создателей: МХАТ стал гордостью русского театра XX века; «Метрополь» театром не стал, зато превратился в лучшую московскую гостиницу, которой в 1991 году, первой в России, присвоили статус – «пять звезд».

ЭЛЕОНОРА МАНДАЛЯН
Лос-Анджелес, США

Возвращение Джеймса Бонда с фильмом «Спектр»

Радость для киноманов, особенно мужской их составляющей, – ловкий, изворотливый и непобеждаемый Джеймс Бонд, многократно сменявший свои обличья, вновь на экране. На сей раз – в фильме *Spectre* («007: Спектр»), 24-м по счету в «бондиане» и четвертом, где подряд в роли агента 007 снимается Дэниэл Крэйг (Daniel Craig).

Spectre, в переводе с английского, означает: угроза, призрак, фантом, привидение и даже – предзнаменование. Каждое из этих значений впечатляет и вполне подходит для названия фильма. Но в русском варианте решили переводом не

воспользоваться, так и оставив «Спектр». Возможно потому, что это название организации, причем организации тайной и не просто страшной, а зловещей, в руки которой лучше не попадать никому.

Что из себя представляют фильмы о Бонде, объяснять никому не надо. Этакое легкое зрелище, щекочущее нервы и уши, заставляющее в крови играть адреналин и ничего не оставляющее для души. Но о вкусах, как говорится, не спорят. Тем более, что для кого-то это – событие, праздник.

В США и России Spectre заполонил экраны одновременно – с конца первой недели ноября. А «на родине героя фильма» мировая премьера состоялась в рамках Специального Королевского показа, в Лондоне, за неделю до конца октября, с участием членов королевской семьи – герцога и герцогини Кембриджских, Уильяма и Кейт, а также принца Гарри.

Придуманный английским писателем Яном Флемингом в начале 60-х прошлого столетия герой победно шествует по миру уже более полувека. Старее от серии к серии он сам, стареют и актеры, его воплощавшие. А он по-прежнему влечет к себе зрителя своей элегантною неистребимостью.

Агента 007 сыграло немало актеров, и все они отличались статью, породистостью и чисто мужским обаянием. Достаточно вспомнить блистательного Шона Коннери в первых семи фильмах (увы, сейчас ему уже 85). Ему на смену пришел австралиец Джордж Лэзенби, всего на один фильм. Голубоглазый красавчик Роджер Мур отдал этой роли 12 лет (сыграв в семи фильмах, последний – в 57 лет). Не менее хорош был в молодости Тимоти Далтон, его преемник, ставший Бондом дважды. А чего стоит вальяжный симпатяга Пирс Броснан, украсивший собой четыре серии!

И вот теперь всем им на смену пришел Дэниел Крэйг. «Спектр» – четвертая серия «бондианы» с его участием в главной роли. Конечно, по внешним данным Крэйгу до его предшественников далеко. Он вроде бы даже невзрачен. Но в том-то и фишка. Взамен внешней, несколько даже слащавой красоты прежних Бондов он предложил красоту и силу иного качества, особенно ярко проявляющую себя в экстремальных ситуациях. Он полон чисто мужской притягательности как человек, обладающий огромным внутренним потенциалом, туго

свернутой внутри него пружинной, выстреливающей в нужный момент.

Не всем такая новая трактовка любимого образа пришлась по душе. Но с первым же фильмом его приняли, в него поверили настолько, что «бондиана» взлетела на новый виток популярности – три фильма с его участием («Казино Рояль», 2006, «Квант милосердия», 2008, «007: Координаты «Скайфолл»», 2012), перещеголяв все предыдущие серии, принесли в общей сложности больше 2 миллиардов долларов в прокате, установив своего рода рекорд. (Конечный результат четвертой еще впереди.)

Дэниел Крэйг, профессиональный игрок в регби, в кино снимался много, где-то с 1992-го, но настоящая известность и признание к нему пришли значительно позже, с ролью Джеймса Бонда, в которую он впервые вступил в 38 лет (сейчас ему 47).

До этого он сыграл соперника Анджелины Джоли – Алекса Уэста, в фильме «Лара Крофт: расхитительница гробниц». Затем была гангстерская драма Сэма Мендеса «Проклятый путь», фильм-биография «Сильвия», с Гвинет Пэлтроу, триллер Стивена Спилберга «Мюнхен»... В числе самых заметных его работ роль детектива-журналиста Микаэла Блумквиста в триллере «Девушка с татуировкой дракона» (2011). После полюбившегося многим романа-трилогии шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум», частью которого является «Девушка с татуировкой дракона», фильм был воспринят более чем позитивно. А вместе с ним и Крэйг. Он снова, как и с Бондом, попал в яблочко – с ним уже заключили договор на участие в экранизации двух других романов трилогии.

Свою восковую фигуру в образе Бонда (кстати, великолепно выполненную), в лондонском музее мадам Тюссо, Крэйг уже заработал.

Режиссер «Спектра» тот же, что и в предыдущей серии («007: Координаты «Скайфолл») – Сэм Мендес (Sam Mendes). Сам он себя позиционирует, в первую очередь, как театральный режиссер, сделавший себе имя на постановках пьес и мюзиклов. В числе самых известных и популярных из них – мюзикл «Кабаре», «Вишнёвый сад» с Джуди Денч, «Голубая комната» с Николь Кидман, «Компания».

Но, видно, Мендес несколько заблуждается на свой счет, вернее сказать – недооценивает себя. Поскольку – редчайший

случай – стоило ему дебютировать в качестве режиссера большого экрана («Красота по-американски», 1999), и фильм его «схлопотал» сразу пять (!) Оскаров, во главе с заветной статуэткой за режиссуру. Случай, можно сказать, беспрецедентный.

В 2003 году, совместно с продюсерами Каро Ньюлингом и Пиппой Харрис, Мендес основал компанию «Neal Street Productions», как представляется, больше для того, чтобы экранизировать театральные постановки.

А потом настал звездный час его популярности как кинорежиссера – с выходом на экраны, в 2012-м, 23-его фильма о спецагенте М-16 (он же 007). По оценкам кинокритиков, фильм, названный Skyfall («007: Координаты «Скайфолл»), стал одним из лучших в «бондиане» за всю её историю и первым миллиардером (при бюджете \$200 миллионов). Не удивительно, что следующий фильм о Бонде снова снял он, Сэм Мендес. А бюджет был увеличен почти до \$300 миллионов. И снова поставившие на него и Крэйга не просчитались. Более того – «Спектр» вывел «бондиану» на новый виток, превзойдя самого себя.

Он уже бьет прокатные рекорды в родной Британии (\$80,4 млн за неделю). В американских кинотеатрах за уикенд с 6 по 8 ноября фильм заработал \$73 млн и стал лидером проката. Правда, трудно сказать, чья тут заслуга больше – Мендеса, удачно снявшего фильм, полюбившегося зрителю Дэниэла Крэйга или «раскрученного брэнда» суперагента, на который зритель заведомо пойдет не задумываясь.

В одном из интервью Сэм Мендес на вопрос, насколько он был свободен при съемках фильма, отвечает: «Спектр» – очень личный фильм, наполненный любовью, но при этом в нём много вещей, интересных мне самому. «Скайфолл», например, рассказывал о кризисе среднего возраста, о старении, смерти и других основополагающих вещах. «Спектр» же концентрируется на теме наследия, на том, возможно ли скрыться от прошлого, уйти от своего призвания ради любви. Что касается политической составляющей, то «Спектр» рассказывает о эрозии гражданских свобод. И все мы знаем, что Бонд работает на секретные службы, доверие к которым в современном мире подорвано. К таким людям больше не

относятся как к героям. Всё, что вы увидите в фильме, появилось там потому, что мне позволили это сделать».

Мендес не скрывает, что история с экс-сотрудником АНБ США Эдвардом Сноуденом, получившая громкий международный резонанс как раз в тот период, когда велась работа над сценарием, оказала свое влияние на сюжетную канву «Спектра».

«...И дело не только в Сноудене, – говорит он, – но и в гражданских свободах, в том, что мы сейчас ощущаем на себе. Когда мы вынуждены доверять людям, под началом которых работаем. Сначала мы шпионим за всем миром, а затем весь мир следит за нами. Всё это мы и попытались привнести в фильм. Чтобы быть уверенными, что Бонд выбрал правильную сторону, мы придумали нового персонажа по имени Макс Денби (его сыграл Эндрю Скотт), прозвище которого «Си». Между ними будет своеобразный конфликт. Это сделано для того, чтобы Бонд мог доказать состоятельность классических методов. К тому же, как говорит в картине «М»: «Лицензия на убийство – это ещё и лицензия на то, чтобы не убивать».

Однако Дэниэл Крэйг придерживается иного мнения: «Я не думаю, что эту картину стоит анализировать настолько глубоко, – говорит он. – Всё-таки это боевик о Джеймсе Бонде, яркое зрелище, основанное на чистом вымысле. Конечно, в фильме можно найти явления, созвучные современной ситуации в мире, но в нём не отстаиваются какие-либо политические взгляды. Эта лента призвана развлекать»

Честно, без заумствований и по существу.

Сэм Мендес с гордостью отмечает, что был свободен в выборе методов и действий при съемках фильма, благодаря более чем внушительному бюджету. Авторы кинопроектов с меньшим бюджетом вынуждены прибегать к спецэффектам, смоделированным на компьютере, говорит режиссер, тогда как у него была возможность все делать «взаправду», в добрых старых традициях кинематографа – настоящие взрывы, настоящие каскадёры, настоящая массовка. «Актеры и съемочная группа составили более 1000 человек, – рассказывает он. – Где мы только не побывали. Это было грандиозное предприятие».

Судя по откровениям ведущих актеров и самого режиссера фильма, съемки его оказались не из легких. Дэниэл Крэйг, практически пять лет отрезанный от семьи и дома (столько

ушло на два последних фильма – Skyfall и Spectre), из-за чего сильно переживал, очень эмоционально выплеснул: «Я перережу себе вены, если мне снова придется сниматься в этой роли». Да, видно, передумал кончать суицидом. В интервью журналу Event прозвучали совсем иные настроения: «Мне все сложнее играть Бонда. Но такова жизнь. Я собираюсь исполнять эту роль, пока у меня хватит сил». И даже попытался оправдаться: «Представьте, что вы участвуете в марафоне. И у финишной черты вас спрашивают: готовы ли вы пробежать эту дистанцию еще раз? Вы ответите так, что по телевизору ваши слова уж точно не озвучат».

Это напомнило мне женщину, когда, измученная родами, она сквозь стиснутые зубы бормочет: «Все, больше ни за что на свете...» Но сладкий результат мучений очень скоро заставляет ее забыть о них и начать думать о следующем.

Не далек от такой аналогии и Сэм Мендес: пять лет съемок ассоциировались у него со сплошным, ни на минуту не дававшим покоя хаосом. «Это было нечто из ряда вон выходящее, не столько работа, сколько стиль жизни. Но с меня хватит. Я не смог бы пройти через все это еще раз», – признается он репортерам.

На свою последнюю театральную постановку «Чарли и шоколадная фабрика» он выкраивал время в промежутках между съемками «Бонда», мечтая поскорее закончить работу над фильмом и с головой окунуться в привычную, любимую среду театральных репетиций. Именно там и только там он чувствует себя на месте, находя истинное счастье и отдохновение в работе с небольшой труппой под сводами родного театра... Однако Сэм неожиданно заявляет: «Но все это после того, как я сделаю еще один фильм про Джеймса Бонда». И заключает контракт на производство следующего – третьего для него и пятого для Крэйга, фильма о британском супергерменте.

Думается, успех «Спектра» еще больше подстегнет его на новые подвиги и театру придется еще, как минимум, на пару лет уйти на задний план. Успех и Слава – парочка коварная.

Мне не хотелось бы пересказывать сюжет. Во-первых, он слишком путаный, с массой имен и «кодовых кличек», во-вторых, для «бондианы» сюжет второстепенен, а в-третьих – для тех, кто все же хотел бы заранее с ним ознакомиться – он

очень подробно изложен в Википедии («007: Спектр»). Упомяну только, что города и страны, куда перекидывается действие фильма, сменяют друг друга, как в калейдоскопе – Лондон, Мехико, Рим, Марокко (Танжер и Эрфуд), Австрия (Зельден, Обертиллиах и Альтаусзе)... Альпы и Сахара. Одним словом, есть на что посмотреть.

Ну и под конец приведу мнение некоторых кинокритиков:

«В той или иной мере в новой картине оживают знаковые элементы из классических частей «бондианы», что делает зрелище особенно ценным для преданных поклонников. Для остальных же это будет просто развлечение, мощный взрыв экшна... – говорит Гай Лодж (Variety). И добавляет: «Бондиана» стойко удерживала позиции в индустрии все 50 лет, но ранее от неё никто не требовал шедевров».

Кстати, «шедевром» можно назвать саундтрек – музыкальное сопровождение, осуществленное Томасом Ньюманом. Ему удалось удивительно гармонично вплести в современную музыкальную канву всем хорошо знакомые мотивы прошлых кинолент, создав тем самым необходимый зрительский настрой, будоражащий и умиротворяющий одновременно.

«На протяжении всей картины то и дело оживают «призраки» из предыдущих частей бондианы, вызывая приятную ностальгию», – отмечает Робби Колин (Daily Telegraph).

«007: Спектр» сочетает всё лучшее из предыдущих лент с Крэйгом, и получается размашистый, воодушевляющий, зрелищный фильм. Своего рода круг почёта для «бондианы» с Крэйгом», – отмечает Том Хаддлстон (Time Out).

«Особенно хороша первая половина фильма, в которой сосредоточены самые впечатляющие сцены и грозные предзнаменования, которые разрешатся во второй половине», – считает Стефан Далтон (Hollywood Reporter).

«Крэйг в роли Бонда органичен как никогда – он, наконец, утвердил свой уникальный почерк. Его агент 007 выглядит очень естественным, человеческим. Слушая напыщенные речи начальства и злодеев, он не может сдержать улыбку. Но если между ним и его целью стоит стена, он пробьётся через неё голыми руками», – говорит Николас Барбер (BBC).

А вот мнение простого зрителя, оставшегося недовольным:

«В «Спектре» агент 007 – этакий терминатор, выживающий во всех взрывах, крушениях и стрельбищах и в конце гордо возвышающийся над поверженным злодеем без единой царапины на лице. Даже бесконечные сражения не добавляют ни капли жизни лицу Крэйга, словно выточенному из камня. Как будто Бонда уже не может разогреть ни секс с горячей красоткой, ни драка с Дэйвом Батистой, ни пламень многочисленных взрывов, сотрясающих зал».

ОЛЬГА ТРИФОНОВА-ТАНГЯН
Дюссельдорф, Германия

О дневниках художника Амшея Нюренберга



А.Нюренберг Автопортрет, 1950-е годы

Когда я стала работать над архивами художника Амшея Нюренберга, изучать его неразборчивый почерк, гадать над полувыцветшими буквами, написанными подчас карандашом, мне как внучке хотелось найти личные признания автора о самом себе, о бабушке Полине, о маме Нине Нелиной. Кроме того, хотелось больше узнать о его отношениях с зятем и моим отцом Юрием Трифоновым. Наконец, я надеялась прочесть о семье Нюренбергов. Ведь у моего деда было девять братьев и сестер, много племянников.

Однако меня ждало разочарование. Нюренберг почти ничего не писал о своей семье, в его дневниках не было частных подробностей. Иногда попадались заметки о младшем брате Деви, но и то только потому, что тот разделил с братом его судьбу, став художником — Давидом Девиновым-Нюренбергом.

Нюренберг писал преимущественно о своем художественном ремесле, о коллегах по цеху из Дома художников на Верхней Масловке в Москве, где он жил в 1930–60-х годах. Среди соседей по дому было много выдающихся личностей: Фальк, Грабарь, основатели «Бубнового валета» Кончаловский и Машков. Недаром Дом на Верхней Масловке сохраняют теперь как исторический памятник. Из своих друзей-писателей он вспоминал Маяковского, Ильфа, Бабея. Вместе с братом Дэви и со своим близким другом — художником Виктором Мидлером — он ездил в творческие командировки. В начале 1920-х годов они по направлению правительства оценивали сохранность узбекских архитектурных памятников, о чем они издали книгу, а в 1930-е годы посетили шахтерский поселок Прокопьевск в Сибири, после чего Нюренберг написал серию работ на «трудовую тему». Правда, мне его шахтерки всегда больше напоминали танцовщиц Дега.

В Доме художников на Верхней Масловке Нюренберг чувствовал себя неуютно. Слишком много несправедливости он наблюдал вокруг — почести и должности доставались стоящим близко к власти, как он писал, «художникам-генералам». Французское искусство, горячим сторонником которого он являлся, считалось в те годы реакционным и несоответствующим советскому духу.



1930 год. А.Нюренберг (слева) с братом Давидом Девиновым-Нюренбергом (справа) в мастерской

Импрессионистов называли индивидуалистами, которых интересовали не насущные общественные проблемы, а отвлеченные эстетические вопросы. Кому, к примеру, нужны 33 вида одного и того же Руанского собора при разном освещении у Клода Моне? Так утверждали советские искусствоведы, и Нюренберг не решался им противоречить. Авангардисты и новаторы уже были разгромлены. Велась борьба с формалистами, к которым относили его друзей из «Бубнового валета» Кончаловского и Осмеркина. Русские художники-эмигранты, в том числе Шагал, с которым дружил Нюренберг в юности, были объявлены врагами революционного искусства. Сам же Нюренберг до конца жизни не устал рассказывать и писать о Париже, выражать свое восхищение импрессионистами. Хорошо помню его бесконечные рассказы о парижских бульварах, салонах, о друзьях-художниках: Федере, Мещанинове, Шагале. Удивительно точно сохранила его память не только атмосферу Парижа 1910–20х годов, но и адреса, по которым он когда-то жил. Благодаря его ярким рассказам, не только мне, но и многим друзьям Нюренберга, когда они впервые попадали в Париж, казалось, что они уже прежде знали этот город. В дневниках 1950–60х годов значительное внимание уделялось природе и сути пейзажа. Именно тогда у Нюренберга появилась серия «Деревья и люди».



А.Нюенберг с женой Полиной и дочкой Нелей в Доме художников на Верхней Масловке, фото 1932 года

Примечательно, что в картинах люди по сравнению с деревьями часто оказывались второстепенными. Людей он мог просто назвать «фигурами». Например, у картин были такие названия, как «Фигуры в парке». При этом люди изображались условно, а деревья приобретали собственные характеры. Нюенберг любил писать деревья самых причудливых форм.



А.Нюенберг Из антивоенной серии, 1942

Сразу бросалось в глаза, что дневники написаны художником. Описание людей он часто начинал с анатомического анализа их головы и тела. Замечал, какие у персонажа подбородок, лоб, профиль, череп. Обращал внимание на походку, осанку. Из внешних данных складывался портрет человек. Помню, как дед говорил, что у меня руки красивой формы и англо-саксонская улыбка (из-за двух крупных передних зубов). Однажды я представила ему одну молодую женщину, и он удивил меня высказыванием о том, что у нее «низкая талия». Тогда мне казалось, что в его возрасте все молодые женщины должны были казаться ему прекрасными. Но для него как художника важнее всего были правильные пропорции тела.



А. Нюренберг Маяковский в Окнах РОСТА, 1930 год

Если описания людей в дневниках Нюренберга можно было назвать словесными портретами, то описания природы можно было обозначить как словесные пейзажи.

Описания деревьев, погоды имели свои краски, свою цветовую гамму. Не случайно, в молодые годы Нюренберг читал лекции и писал статьи о Барбизонской школе. Известно, что барбизонцы — Милле, Добиньи, Коро — проводили все дни с мольбертами в лесу Фонтенбло около деревни Барбизон. Нюренберг тоже много времени провел на этюдах под открытым небом в лесах Подмосковья.

На протяжении лет мировосприятие Нюренберга заметно менялось. Если в 1930-е годы он был полон энергии, страсти и творческих планов, то в 1950-е годы его отношение к жизни стало отстраненно-созерцательным. Перефразируя известное высказывание о собаках, Нюренберг мог бы сказать о себе: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю деревья».



А.Нюренберг *Пейзаж с фигурами*, 1960-е годы

Дневники Нюренберга написаны немного старомодным, очень образным языком. Временами в них проглядывала грусть и некоторая обида на несовершенство общества. Помогали Нюренбергу и способствовали его долголетию любопытство к жизни, преданность искусству и особое «одесское» чувство юмора.

Большая часть ранних дневников, этюдов, фотографий и писем Нюренберга погибли в 1920-е годы во время Гражданской войны, когда ему приходилось много перемещаться по Украине, подвергаясь нападкам со стороны разных банд — белых, петлюровцев, казаков.

Одно такое происшествие, чуть не стоившее ему жизни, когда ему удалось спастись, лишь бросив в поезде весь свой багаж, было описано в мемуарной книге А.Нюренберга «Одесса–Париж–Москва»: Казаки проворонили меня. Сколько раз ночь в эти погромные дни меня спасала! Но куда идти?... Без чемодана, правда, легче двигаться... Но примириться с тем, что он сейчас в грязных руках бандитов, что они руками, покрытыми кровью, ворошат мои труды последних лет и рисунки крупнейших французских скульпторов Бурделя и Жозефа Бернара... Это было выше моих сил.

... Стою у путей и мысленно оплакиваю свой погибший чемодан, в котором было все мое художественное достояние. Прощай, мой верный друг, перенесший со мной столько горя и радостей!

Мои акварели, рисунки и письма будут развеяны по снежным степям или брошены в вагонную уборную, а их место в чемодане займет награбленное жалкое добро местечек, пахнущее нафталином, горем и слезами.⁵

Другая часть дневников, статей, писем, фотоальбомов Нюренберга конца 1920–30-х годов сохранилась. В конце жизни он передал большую часть этих материалов в Отдел рукописей Третьяковской галереи (ГТГ, Отдел рукописей фонд № 34), где они содержатся в идеальном состоянии и выдаются для работы только по специальному разрешению. Именно благодаря этому стала возможна данная публикация.

⁵ А.Нюренберг Одесса–Париж–Москва, М., Гешарим–Мосты культуры, 2010, стр. 174–5.

АМШЕЙ НЮРЕНБЕРГ
Москва, Россия

Из дневников разных лет

Записи 1934-40-х годов

О художниках с Верхней Масловки

«Этот походь, – пишет один из его участников, Лабох, – был тем более страшен, что совершенно исказил наши характеры, и у нас появились пороки, чуждые нам до сих пор. Люди, бывшие до этого времени честными, чувствительными, великодушными сделались теперь эгоистичными, скупыми, ростовщиками и злыми...»

Вклеенная А.Нюренбергом газетная вырезка дореволюционного времени

Когда художник говорит о художнике, он становится диким зверем.

Из дневника А.Нюренберга

Машков!

Мы встретились с ним в коридорах МОССХа. Замечательный тип! В нем так же, как в нечистой руде – все виды пород. Главенствует над всем дикий, необузданный, страшно эмоциональный казак, скиф. Один из талантливейших наших художников. В начале революции он был против жидов, коммунистов. Шагал мне рассказывал, что как-то он его встретил на Красной площади в первые годы Революции. Машков свирепо на него взглянул и, указывая пальцем на фонарь, воскликнул: «Все вы будете на этих фонарях!»

Теперь он выступает как профессиональный революционер: нудные, глупые, чудовищно путаные разговоры о Революции и о том, как он ее нежно и горячо любит. Он любит со мной пофилософствовать на тему о советском Ренессансе. Тон его фраз не лишен яда:

– Не скоро, не скоро мы дадим то, что хотят от нас. Надо раз навсегда отказаться от того, чтобы каждый член МОССХа мечтал о «Боярыне Морозовой». Пиши то, что умеешь, к чему призвание есть. Умеешь писать хорошие пейзажи – и пиши. Не засматривайся в сторону большого фантастического полотна. А у большинства наших советских художников кишка тонка.

И после паузы:

– Вот, я уже третий год пишу одну вещь, да никак не доработаю. Чувствую, что не то.

– А что Вы пишете?

– Что? Партизан пишу... Меня выбрали в совет районный. Я попечитель школы, вожусь с детворой. Зовут меня, просят, уважают. Что ж, художник должен быть общественником.

Я до сих пор не знаю, что он представляет собою в своих интимных уголках сердца и души. Окончательно ли он сросся с нашей советской властью или... или только окончательно принял... Но он не один.

Не верю я ему... Как не верю Родионову.

Сегодня заседал МОССХ. Опять правление. 25–30 спящих, импотентных ребят. Все были заняты тем, чтобы не обнаружить крепкой склонности к дремоте. Порой мне кажется, что Пиквикский клуб мог бы казаться динамичным учреждением, если бы его поставили рядом с нашим МОССХом. Пиквикцы разъезжали, говорили, спорили. Они, несомненно, были живыми ребятами. Да, это были не члены МОССХа...

Наши ребята пришли в сознание только, когда председатель объявил, что «теперь коснемся квартирных дел». И тут все бросились жить и глубоко дышать. Как жаль, что журнал «Крокодил» не посылает своих сотрудников на наши собрания. Он мог бы получить вкуснейший материал.

Имел разговор с Шурпиным. Этот парень совмещает в себе все. И бандитизм, и хулиганство, и жидоедство, и антисоветский дух к французской живописи, и романтизм. Типичный крестьянин. У него и челюсть, как у крестьянина: широкая, рассчитанная на вечное жевание. Упрямый, невысокий лоб.

Перельман:

– Да, рисуешь себе, Амшей, кем мы окружены. Один бандит крепче другого. Если Советская власть будет в опасности, он первый бросится резать жидов. И мы с тобой, Амшей, у него заплачем.

Вообще нам не везет с молодыми дарованиями. Второй экземпляр: Ромадин – человек с богатой палитрой душевных запахов и воней. Как и Шуркин, он природой оформлен скудно и предательски. У Шуркина тяжелые крестьянские челюсти и падающий назад лоб, у Ромадина – лицо, представляющее смесь японца, хорька и туберкулезника. Несомненно, талантливый человек с острым ощущением жизни и особенно музейной старой живописной культуры. Но отвратительный человек и неприятный товарищ.

За последнее время вырос Сергей Васильевич Герасимов. Интересная личность. С.Герасимов великолепно знает, насколько выгодно и выигрышно положение середины...

Он сумел перехитрить самого Януса, имея на одну голову больше, нежели сам римский Бог. У Герасимова целых три головы: одна обращена в сторону левых, другая – обращена к правым и, наконец, третья, преданная группе заслуженных товарищей.

Он никогда не сказал ни да, ни нет. Он один из самых фальшивых среди заслуженных и самый осторожный. Он никого не любит, кроме своей персоны. Он не любит ни жидов, ни партийцев, но он научился умело и тонко обращаться с ними. Его, несомненно, талантливые вещи (он, безусловно, интересный и хороший художник) при ближайшем и внимательном рассмотрении так же фальшивы, как и он сам. Когда-нибудь это станет понятным. Кончаловский мне сказал о нем:

– Этот научился всех обкрадывать и от всех прятаться. Вот ловкий мужик. Но нам видно часто все у него.

13 июня 1934

Замечательный вечер! Прекрасное заседание, посвященное разделу жилплощади в новом доме на Верхней Масловке. Я уверен, убежден, что если выпустить всех зверей зоопарка в одно место и бросить им пищу в одно корыто – то они себя приличнее и человечнее вели бы, нежели наше уважаемое правление вкупе с достопочтенными активистами.

Хороши были все. Решительно все. И брюнеты, и блондины, худые и толстые, тихие и болтливые! Вокруг каждой кандидатуры разгорались такие страсти, точно дело шло о том, чтобы спастись с тонущего корабля, кого оставить на тонущем корабле и кого взять на спасательную лодку. В зале свирепствовал тайфун. 12 баллов! Никто никому не подчинился. У большинства были красные, потные лица. Жесты рождались в припадке белой горячки. Весь президиум, кроме Перельмана, оказался заинтересованным. Почему-то всем членам его нужны были большие квартиры, крупнейшие мастерские. Все оказались многосемейными. То же наблюдалось и у членов правления.

Противнее всех был Лехт. Этот парень меняет жен, бросает старых в старых квартирах и требует для новых баб новых квартир. Ну и тип! Его многие поддерживают из боязни, очевидно, что он в озлоблении обрушится на других и напакостит им. Мол, ни мне, ни вам.

Фальшивая публика. Как мало искренних и честных у нас ребят. Ряжский – образец двуличия. У него два анфаса и три профиля...

1935 г. В Сибири. Прокопьевск

Девин⁶ меня встретил с заспанным, усталым лицом. Он где-то душу отводил и выпил.

В Прокопьевске жизнь не знает лучезарных моментов. Столовка с цветами и жирными, грудастыми подавальщицами, наброски в мрачных и сырых шахтах, уборные, после которых не хочется ни есть, ни срать. И сплетни. Большим утешением на фоне всего этого – молодежь. Наша чудесная советская молодежь.

⁶ Девин – художник Давид Девинин-Нюрнбергер, брат А.Нюрнберга.

Ах, этот Деви! Мы ему дали новый титул (по Ильфу и Петрову) Остап Бендер Маркович. Все, что он делает, полно диких, бредовых номеров. Ничего твердого, устойчивого, ясного. Особенно блистательны его финансовые дела и отчеты. В нем совместно с нашим временем соц-строительства лихо живут озаренные буйной романтикой дни эпохи военного коммунизма.

Виктор⁷ в общежитии хороший парень. Нет того чванства, которое он любит напяливать на себя, находясь на людях на собраниях, заседаниях и банкетах. Он понимает, что простота – самая гениальная вещь... Природа ему отпустила небольшое чело и большой ум. И порою он чувствует от всего этого ряд неудобств. Очевидно, он хотел бы иметь известный баланс. И прав.

1936. Февраль

Начались неистовые дебаты по вопросу о борьбе с формализмом. После статей, появившихся в «Правде», в которых здорово прохватили наших патентованных формалистов, в Москве пошли драки. И, как всегда, морально на них заработали те художники, которых больше всего крыли.

Штеренберг, Лабас, Тышлер. Это три тощих провинциальных еврея, начищенных мазью европейского искусства и натертые тряпкой театральной культуры. Самый талантливый среди них – Тышлер.

Истерично выступает Бескин, редактор журналов «Искусство», «Творчество». Этот Вазари имеет массу кличек среди художников: Пижон, мелкий Бескин, Адвокат... Кацман как всегда работает на фальцетах.

1936 г.

Во главе всех, разумеется, тщеславнейший еврей Кацман. Этот беспокойный, психически неуравновешенный, напористый парень никому покоя не дает.

Еще в прошлом году он умудрился заставить т.Зенкевича (прозванного ассистентом Кацмана) с листом обходить всех жильцов на Масловке и собирать подписи под лирическим

⁷ Виктор Мидлер – художник, близкий друг А.Нюренберга.

требованием отметить 25-летие Кацмана достойным сего великого случая званием Заслуженного. Другая скорбящая группа собирается по сему достойному случаю: Богородский, Ряжский и др. А скорее бы дали этот чин Жене, и он бы нас больше не трогал.

13 июня 1936 г. Похороны М.Горького. В карауле

Сегодня меня вызвали в караул к гробу Максима Горького. В гробу лежал усталый, чахоточный булочник. Смерть его сделала опять таким, каким он когда-то был. Пожалуй, Дом Союзов не знал таких простых, рабочих лиц. Я долго, не отрываясь, глядел на невысокий старческий лоб, на рыжие усы, ниспадавшие без всякого стиля. На большую, острую, вздернутую ноздрю...

Был венок от внуков. Присутствовал Бабель.

1936. Осень

Приехали из Немирова, где провели неплохих два месяца. Сожрали несколько тонн вишен, яблок и груш. Особенно вишен.

Писал евреев. Чудесный, живописный материал! Какие руки, шеи и глаза. Ах, как жаль, что я раньше не занимался этим матерьялом. Я только теперь вошел во вкус. Как жалко, что столько лет было потрачено зря на разные безделушки, никому не нужные, никого не волнующие. Написал триптих из Гражданской войны: 1. Еврей-партизан уходит на фронт и прощается с семьей; 2. Еврея, тяжелораненого привозят домой. Его встречает семья. Осень за окном. Привозят русские товарищи; 3. Новая жизнь, после всех трудов – веселье. Танцует молодежь. Молча, грустно-радостно наблюдает старость.

Первые числа апреля 1937 года

Заседание. Как всегда особенно достается Кацману и Перельману. Этих обливают помоями... Заслуженно и незаслуженно... Разумеется, все это является подготовительным обстрелом, после чего пойдут атаки. Контуров этих атак уже намечаются.

15 апреля 1937 года

Опять похороны и опять одессит. Нежная, хрупкая, тонкая душа. Ильф.

Стоял в почетном карауле с карикатуристом Радаковым, похожим на спившегося старого лакея. Это похороны, в которых печаль сталкивается с тишиной и покоем. Никто не плачет, но лица у всех окрашены в бледные цвета грусти.

Запомнилось лицо жены Ильфа. Приятное, русское. Вероятно, была чудесной женой и великолепной матерью. Она, опустив свои руки в гроб, как бы пыталась согреть ими труп своего мужа. Губы Ильфа были черны. Лицо со следами глубоких страданий. Венки от поэтов и редакций.

Встретился с Бабелем. Он, как всегда, острит в стиле героев Мопассана и Бальзака, которых он неплохо изучил. Он мне рассказал, что Е.Петров ему сказал жуткую фразу:

– Как тяжело видеть свои собственные похороны.

Да, это так. Как теперь Петров будет жить, продолжать свою литературную работу? Без Ильфа! Без Ильфа!

Его тело стояло в клубе писателей на ул. Воровского рядом с английским посольством. Приходили пионеры с цветами. На улице густое весеннее солнце и люди, им озаренные.

Сменяется власть Изофронта. Выбрали новое правление с С.В.Герасимовым во главе. Этот талантливый художник имеет все шансы на председателя МОССХа. Он никогда никому не сказал ни да, ни нет. Никогда никого не критиковал. Он больше отделялся легкой мимикой.

Но правленцев преследует страшная судьба. МОССХ совершенно искажает их характеры. У них появляются пороки, чуждые им до сих пор. Люди, бывшие до этого времени честными, чувствительными, великодушными и товарищами – делаются эгоистами, скупыми, жадными и совершенно равнодушными к горю и делам других.

21 апреля

Умер Налево. В поликлинике МГУ на Петровке. Шесть месяцев он угасал.

У него был рак. Он об этом не знал. Долго жил иллюзиями. Его страдания кажутся сверхчеловеческими. Бывали дни, когда он хотел выброситься из окна, когда он просил врачей отравить его. 6 месяцев назад я с Глузкиным пригласили специалиста. Он сказал нам:

– Ну, что вам сказать? Дела вашего товарища плохие. Обреченный человек. Да, обреченный.

Чтобы утешить и развлечь, я написал о нем статью в «Советском Искусстве».

22-го его хоронили. 15 человек друзей. Я открыл траурный митинг. Потом Ромм, Парнах. Все отмечали купеческую широту. «Как неудачна была вся его жизнь, – думал я. – Жена его обобрала и была с ним крайне жестока».

В гробу лежала мумия, да и то с одной ногой. Отрезал Бурденко 10 месяцев назад.

Литератор Парнах знал его по Парижу: «Нечестолюбив, скромн. На Монпарнасе он был одинок, но и в Москве он был одинок среди дельцов».

26 марта 39 г.

Сегодня был у Кончаловского. Интересная фигура на фоне наших. Портрет Мейерхольда. Возврат к старым приемам «Бубнового валета». Работа живописна, но она вся выполнена в плане декоративного панно. Мало внутренних качеств.

– Поедем! Пообедаете. Увидите Сурикова. Не пожалеете.

Съездили. У Кончаловского собственный автомобиль. Эмочка! Он сам за рулем. Его сын Миша сидел рядом с ним и давал советы. Жена Ольга Васильевна и я позади. Несмотря на ее 60 лет, она довольно молодо глядит. Пудрится и кокетничает. Заехали к Осмеркину и его захватили для веселого ансамбля. Кончаловские живут около Зоопарка в новой, небольшой, но уютной квартире, подаренной им Моссоветом.

За обедом разговоры обо всем и обо всех.

Вначале А.Герасимов.

Подали кофе и сладкое.

Потом И.Иогансон.

– Иогансон лучше Герасимова и как человек, и как художник.

После кофе коснулись И.Грабаря. Сказал про него:

– Лакей, а так ничего. Знаете, – обратился он ко мне, – я ему по телефону так и сказал: «Вы, Игорь Эммануилович – лакей». И, знаете, ровно через 5 дней он со мною беседовал, точно ничего не было. Хвалит тех, кого за день до этого хулил... Человек с мягкой спиной.

Кончаловский хвалил Пикассо и Матисса. Про себя сказал:

– Я сейчас превратился в художника сирени и пионов. Черт знает что! Пусть.

Наливал Осмеркину красного вина. Говорили о Пушкине, Дидро.

– Спасибо, что приглашают меня на выставку. Сказали: «Будете висеть среди «ведущих»». Спасибо, а то думал, что я из числа ведомых. И, знаете, кто среди ведущих? Щеглов, Покаржевский.

Он опять расхохотался.

Заговорили о грунтах.

– Грунтую так. Пишу на лаке. Только на английском. Он не черный. Лак развожу на скипидаре.

1940

26 февраля

Опять вечеринка у Кончаловского. В связи с вечером, устроенным в редакции «Советское искусство» по моей инициативе.

На вечеринке, кроме хозяев, были Осмеркин, Ражин и я.

Ели и много пили. Ражин и Осмеркин опьянели и много говорили.

Кончаловский был в радостном настроении. Пел испанские песенки. После пения, в качестве сладкого, разговоры о художниках. Он с большим мастерством рассказывал о посещении им Герасимова.

– Сколько в нем и в его искусстве от провинциала! Показывал натюрморты – пошлятина! Сам пошляк, и его искусство пошлятина! У него нет ни рисунка, ни цвета. Все это кое-как и приблизительно. А цветы его. Розы!

Кончаловский рассмеялся.

Ольга Васильевна рассказывала, как им показывали работы. Едко и ехидно.

– Разве это искусство? Большинство вещей по фото. А розы его будто ломовым извозчиком написаны.

Партийное собрание

Поздней осенью этого года приняли в партию троих: Соколова-Скаля, Иогансона и Покаржевского.

Я не ходил на собрания. Мне трудновато было бы сидеть в партере и спокойно глядеть на то, что делается на сцене. Сердце не выдержало бы.

Все трое были, я знаю и помню, очень далеки от советской власти в годы Революции. Скаля бежал к белым в Сибирь и был в компании Михайлова у Колчака. Иогансон бежал на Украину и жил в г. Александрии у знаменитого погромщика Григорьева. А Покаржевский? Этот не был у белых, но его семья, я хорошо знаю, была антисемитски и реакционно настроена. Его отец был мастером на самом антисоветском заводе Эльборга. На этом заводе убивали жидов и коммунистов. Рабочие и особенно мастера несколько раз выступали против большевиков. Кроме всего этого, Покаржевский был в царской ставке и писал царские картины.

Хороша тройка! Сейчас они свое прошлое считают навсегда погибшим и потусторонним. Еще бы. Избалованные, окруженные почестями, заваленные заказами, они поют советские песенки.

Статья Грабаря

Сегодня в «Правде» помещена статья И.Грабаря о художественных журналах. Статья с положительной оценкой журналов «Искусство» и «Творчество». И это вопреки склочным делам группы Кеменова и Соколовой, все делавшим для того, чтобы состряпать антибескинскую статью.

В статье есть одна искренняя (это редкость в писаниях Грабаря!) фраза:

«Журнал слишком занят одной группой художников, без конца лансируя их. Между тем, история показывает, что часто раздуваемые художники впоследствии развенчиваются временем. И художники, стоящие в тени, занимают первые места».

Выборы в МОССХ

Кончились выборы в МОССХ. У большинства художников полуравнодушное отношение к выборам. Объясняется это неверием в истинность двух предыдущих правлений. Говорят: были и будут дельцы.

Особенно много раздражения против Александра Герасимова и его компании – остатка сгнившего давно АХРРа. Этот «купец Епишкин» (так его назвал критик Хвойник) гладко провел роль хитрейшего председателя МОССХа. При нем была сделана кормушка для Модорова, Яковлева, Котова и других.

Характерно, что вскормленный им Модоров теперь так отзывается о своем меценате:

– Это человек, который думает только о себе.

Сейчас будет шефствовать Сергей Герасимов – самый хитрый и фальшивый человек в МОССХе. При нем опять расцветут выцветшие герои – Родионов, Чернышев, Почиталов и др.

Каждый председатель приводит свою гастрономию и своих прихлебателей.

В правление вошло несколько художников из умершего «Бубнового валета» (из французского лагеря): Кончаловский, Куприн, Осмеркин. В связи с этим забеспокоились старые ахровцы, увидевшие в этом событии бунт и победу левых.

Бедные умы! Опять первыми были Кацман и его свита, от которых крепко разит нафталином. О советском искусстве, о его судьбе, о его путях – мало думают эти ребята. Главная война ведется вокруг пирогов и сладкого.

2 марта

Открылась одна из первых групповых выставок. Лентулов, Зенкевич и Чернышев.

Ярко и эффектно выступил Лентулов. Сейчас совершенно очевидно, что перед нами один из крупнейших живописцев-колористов. Пожалуй, отдельные вещи получше сделаны, чем у Кончаловского. Лентулов умеет очень точно выражаться. Его цветовые гаммы голубо-розовые и лилово-бледно-зеленые – первосортны. Кончаловский кажется рядом с ним грубоватым.

К сожалению, он плохо рисует, и его автопортрет, несмотря на ряд ценных живописных качеств, не ценен. Плохи руки и шея. Обидно – вещь очень тонко задумана и тепло рассказана.

Какими жалкими рядом с ним кажутся наши ведущие художники. Ефанов, Иогансон, Герасимовы, и А., и С.

Пожалуй, единственным недостатком в работах Лентулова бывает часто заметный эклектизм. Немного от Марке, чуть от Боннара или Ван Гога.

Но он берет вкусом и тактом.

Звонил Осмеркин, любитель телефонных разговоров:

– Знаешь, побывал на юге и расцвел. Очевидно, мы, южане, нуждаемся в теплом воздухе. Другой тонус работы, другое состояние, пульс. Надо съездить туда и там работать. Художника все же тянет на родину.

Ноябрь

Жаловался Тихомиров:

– Сегодня приставал ко мне Иогансон: «Дайте мне материалы для моего доклада «Пути советского изобразительного искусства»». Получил звание доктора искусствоведческих наук, а выпрашивает советы для головы. Хорош доктор, не знающий своего предмета!

Говорят, что этот доктор никогда не читал книг и что его никогда не видали в обществе книги.

4 декабря

Был у Кончаловского.

Были Фальк и другие. За ужином, как водится, говорили о наших изодельцах. Кончаловский с большим раздражением говорил о шайке дельцов, захвативших инициативу в устройстве выставки «Наши достижения».

– Они себе по залу отхватили, а о других не думают. Комитет во главе со Шквариковым приезжал ко мне упрашивать дать работы. Не хотелось, очень не хотелось. И все же дал. И что вы думаете? Эти молодчики зарезали все четыре портрета, отобранные комитетом. Я, как узнал – к Шкварикову. «Говорил я вам, что это лавочка? («И грязная», – добавил я.) Вы обиделись. Теперь согласны». Шквариков меня успокоил: «Не волнуйтесь, Петр Петрович, все уладится. Ваши портреты будут висеть».

Добычина говорит:

– С такой фамилией, как Шквариков, нельзя заведовать изотделом Комитета по делам искусства. Как нельзя заведовать больницей с фамилией Гробов.

Один и тот же натурщик позирует на разных этажах и в разных мастерских в разных позах и ролях.

Так, один натурщик – пожилой, в поношенном костюме, с небритым, желтым лицом человека, потерявшего вкус к жизни, – позировал на 5-м этаже в качестве вредителя, на 3-м – председателя колхоза, на 1-м – в роли стахановца.

Бывает наоборот.

Закупочная комиссия

Закупочная комиссия обходит наш производственный дом на Масловке и закупает для выставки пейзажи и натюрморты. Чтобы сохранить установившуюся традицию, МОССХ назначил председателем комиссии художника, не пользующегося ни любовью, ни уважением художнической массы. Это, разумеется, натуралист, пишущий под цветные фотографии. Ходят слухи, что первым номером высокой деятельности комиссии было приобретение у ее председателя продукции на 43 000 рублей. В нашем доме комиссия приобрела картины только у трех художников, живущих на первом этаже. На сто двадцать мастерских это, конечно, маловато. Рассказывают, что на втором этаже комиссию встретили руганью. На третьем – фразами, в которых чувствовался накал нуждающихся. На четвертом – кулаками.

Небывалый в жизни дома скандал. Особенно всех возмутило то, что комиссия входила к нам, как в инфекционные камеры. Не здороваясь, не прощаясь, не разговаривая.

Москва, 1952-1954 годы

Мне нравится поведение природы. Ее характер, манера держаться. Ее стиль.

21 апреля 1954 года. Из дневника А.Нюренберга

Воспоминания о Париже! Как часто в часы уныний, пинков и неприятностей они были сладким вином и валерианкой одновременно для меня!

О пришедшей утомительной, нудной старости думать неприятно и скучно. Ничего остроумного не придумаешь. Надо все идти вперед, пореже оглядываясь. Бывают часы, когда, обратив свой взгляд к судьбе, чувствуешь себя кроликом, загипнотизированным удавом.

В бутылке вина осталось так мало. Только на дне... А жить и работать еще столько нужно.

Как много и увлеченно работает на Верхней Масловке смерть.

Прошло два месяца после смерти Егора Рязского. Только два месяца, а о нем уже крепко забыли. Это лучший, искренний венок Рязскому. И, хотя о покойниках не принято плохо отзываться, но истина и справедливость требуют другого. Плохой был человек и холодный художник... Его душа была похожа на тундру с вечной мерзлотой, а сердце на холодильник, где ничто... жить долго не могло, увядало и умирало. И живопись его, рожденная в лице фотографии, отражала его внутреннее состояние.

Рассказывают, что Лентулову принадлежит красочная фраза:
– Ребята, гляньте поскорее глазами, пока Комитет по делам искусств не запретил это делать.

Слово импрессионизм принято считать ругательным. Наши искусствоведы считают это своей победой.

Но так как спрятаться от него стало очень трудно (все новое и свежее порождено этой опасной школой), то пустили в ход скромное, малоэффективное слово «пленэризм». Лицемерие восторжествовало.

Снимаю первый шляпу перед тремя лицами:

1. перед председателем домкома.
2. перед судебным следователем моего района
3. перед партгором МОССХа, возглавляющим борьбу с импрессионизмом.

Знакомая старая врач-психиатр рассказывала:

– Мне приходилось прятать от мужа то, что он доживает последние дни. Я часто пыталась его утешить: «Ну, что тебе цепляться за эту тяжелую жизнь? Что в ней хорошего? Мучения, страдания. Нет радости. Редко дни душевного покоя». А он тихо отвечал: «Нет, нет. Ты не права. Есть радости. А первый снежок? А ранняя зелень? А весеннее море и солнце? Нет, ты не права».

Перед смертью Осмеркин мне заявил: «Если на том свете я встречу Сашку Герасимова, я подойду и обязательно плюну в его ряшку»

*Смерть Осмеркина
1953, 27 июня (суббота)*

Белорусская железная дорога, станция Пионерская. Приехал Шура Разумный⁸ и передал печальную, давно ожидавшуюся, весть – умер Осмеркин. Поспешили в Москву в Банковский переулок, на ул. Кирова.

⁸ Александр Разумный – старейший советский кинорежиссер, оператор, художник и актер. Как А.Осмеркин и А.Нюренберг родом из Елисаветграда (ныне Кировограда), на Украине. Дружил с обоими.

Надя нас не пустила в мастерскую, где стоял гроб с телом. «Не стоит, – тихо сказала она – не хорош он. Жара сильно разложила. Лицо все в красных пятнах, и дух пошел».

В квартире Гальпериной, его второй жены, уже были Фальк, Фейгин, Хазанов, его две дочери и какие-то незнакомые женщины.

Надя (мы ей передали букеты цветов, купленных нами на рынке) рассказала, как он умер:

– Сидел на этюде в соломенной шапочке и писал. Я сбегала на кухню Дома отдыха, чтобы приготовить чего-нибудь. Возвращаюсь к Шуру и еще издали вижу – нет его шапочки. Думаю, сам пошел поесть чего-нибудь. Подхожу ближе – лежит на земле. Этюд на мольберте стоит рядом. Я бросилась к нему. Рот искривлен, глаза не вращаются. Что делать? Сама не донесу. Смотрю, идут мужчины от строящегося здания. Я их упростила. Они его принесли. Уложили в постель. В правой руке зажатой была кисть с краской. Просит карандаша и бумаги. Написал – кушать хочу. Даю ему ягод, но он глотать не может. Вот горе, думаю, паралич горла. Потом, смотрю, он хрипит, в горле что-то как будто переливается и булькает. Взяла я его голову в руки, и тут я поняла, что он умирает. Дыхание все хуже и хуже. Прибежала врачиха. Хотела пиявки ставить, сделала укол. Но Шуру все хуже и хуже. Глаза закатились кверху. Дыхание стихло, и он тихо умер у меня на руках.

Потом осложнения с актом о смерти. Как трудно хоронить людей, я даже себе не представляла. Свидетельство от милиции нужно, а для этого чуть ли не нужно ехать с гробом обратно в отделение милиции того района, где находится Дом отдыха. Я насилу упростила нашего московского начальника милиции. Пришел такой дядька мрачный и согласился наконец-то подписать акт о смерти. Помог мне очень внимательный и любезный врач. Сегодня перевезем тело в морг. Там его вскрыют. Хоронить будем в понедельник.

В понедельник я и Шура Разумный опять отправились покупать нашему несчастному земляку и другу юности цветов. Долго выбирали. Наконец выбрали такие, чтобы покойник был доволен. Он ведь знал толк в цветах, которых столько написал в своей жизни. Когда мы с букетами направились к выходу, одна цветочница нас остановила и весело сказала: «Такие приличные

люди с такими венками! Ай, ай! Возьмите у меня чуть дороже, но зато красота. Если для женщины, не пожалейте десятку».

Пришлось добавить из ее красочных 7 георгин кое-что для наших венков.

МОССХ отказался дать свое помещение и право на гражданские похороны. Причина отказа:

– К нему, – сказала чиновница из МОССХа, – было плохое отношение.

Итак, формалистам не положено уходить на тот свет с музыкой, цветами и некрологами.

Надя, угрожая жаловаться в ЦК, добилась того, что Осмеркину разрешили полежать в Доме художников на ул. Горького, но без полагающихся почестей. Мы его там и нашли. Его выгружали из похоронного автобуса в тот момент, когда мы подошли к дверям Дома художников. Впечатление – точно товар какой-то привезли. Народу, вопреки желанию правления МОССХа, было много.

Гроб поставили на голый стол. Сзади висела измятая тряпка, которая должна была быть символом того, как относятся члены МОССХа к умершему символисту. Ни одного из начальников и ни одного цветочка от них, только от друзей.

Но ученики и друзья, любившие Осмеркина, не посчитались с МОССХом и в теплых, взволнованных речах много хорошего сказали о покойнике. Приехал строитель высотного здания Университета Руднев с огромным венком и сказал несколько горячих слов о творчестве Осмеркина. На стенах ученики повесили восемь работ Шуры. Среди них отличный портрет в серо-черной гамме первой его жены Кати. Были натюрморты и пейзажи, написанные в Загорске.

Хоронили на Ваганьковском. Напротив Сурикова. Вблизи Сережи Есенина – его приятеля по выпивкам.

Руководил похоронами один из могильщиков, мужик с загорелым, умным лицом и крепкими руками.

– Могила хорошая, – сказал он степенно, – глубокая и под деревом.

Да, Шура был бы доволен...

Больше всех плакала Надя. Елена и девочки больше глядели...

Автобусы нас довели до Театральной площади. Оттуда мы кучками направились на Кировскую улицу, где Разумные, накупившие закуску, устроили в честь Осмеркина поминки. Мастерская покойника была украшена 32 полотнами. За 30 лет. Нас было человек 25. Дочери, две жены Шуры, я, Разумный с женой, какие-то незнакомые пожилые, полные дамы и ученики.

Первое слово было дано мне. Я начал с детства Осмеркина. Ему 16-17 лет. Ученик реального училища. Ярко выраженный блондин, голубые, сияющие глаза и чудесный рот с зубами, которые встречаются только на открытках. Он интересовался живописью и ходил ко мне за советом, как рисовать и писать. Первые его работы – гипсовые орнаменты и этюды с окрестностей Елисаветграда. Бывал у него дома. Плотная, истеричная, всегда плаксивая мать и державшийся с достоинством крепкий, красивый отец – землемер Осмеркин, прятавший у себя во время царских погромов студентов и евреев. Вспомнил холодную и голодную Москву 1921-1922 годов. Страстную площадь и квартиру Осмеркина на 3-м этаже с большим балконом. Топку печей мебелью, комнату, превращенную в уборную, лошадину и гнилые яблоки. Приходили к нему Кончаловский, Лентулов. Потом бывали диспуты и споры с Маяковским...

С хорошим живописным блеском были написаны тогда его лучшие портреты первой жены Екатерины Тимофеевны (к слову сказать, Маяковский хаживал не столько к Осмеркину, сколько к ней). И сейчас, глядя на эти работы, чувствуешь, что они согреты взволнованным сердцем эпикурейца. И это в 1922 году, когда ни хлеба, ни воды, ни электричества в Москве не было. Из столицы бежали почти все художники. Среди нескольких оставшихся чудаков – был горячий патриот Москвы Александр Осмеркин с желтым, похудевшим лицом, небритый, часто неумытый (с руками, зло высмеянными Маяковским) в черном, с чужого плеча, фраке. Но с творчесим огоньком в серо-голубых глазах и неотвязчивой мыслью писать композиционные портреты, пейзажи и натюрморты. Потом был Вхутемас с его неповторимой романтикой. После Вхутемаса с гротескными декларациями – ассистентская работа у Кончаловского. Опять недоедание и опять страсть к живописи. Потом профессура.

Еще об Осмеркине. Он не был, разумеется, святым и хорошо делал, что не дружил со святыми. Но зато безмерно дружил со страстями, охотно уступая им. Увлекался вином. Но, если на одну чашку весов положить все его недостатки, а на другую достоинства (страсть к живописи, к людям, к книгам, к наслаждениям природы), то вторая перетянет. Я в этом никогда не сомневался.

24 апреля 1954 года

В Москве наконец-то яркое, прозрачное, весеннее солнце. И небо, способное поднять тонус у самого отъявленного пессимиста. Светозарное, хмельное. Чем глубже залезаю в сети старости, тем больше ценю природу, ее суровую дружбу. Ну, что и кто ее может заменить? Пушкин, разумеется, прав, называя ее равнодушной. Но зачем, впрочем, ее сочувствие?

Где-то прочел:

«В старости хочется много природы и немного людей»,
«Она вне школ и течений, и ее ренессанс – вечен».

И сейчас, в старости, когда каждый день кажется подарком Судьбы, выражением ее благодушия и актом милосердия, природа приобретает особую высшую ценность. Мы уже научились ее ценить, острее любить. Научились беречь ее в своем остывающем сердце. Заметьте, деревья и облака никогда не бывают пошлыми, лицемерными, заурядными или глупыми. В самых скромных деревьях есть свой благородный стиль выражения. Нужно только научиться его чувствовать и понимать.

Конечно, порой поведение природы вызывало тяжелую обиду, но такова, очевидно, ее сущность. Вспоминаю время после бомбардировки 1941 года. Город в огне, дыму. На улицах убитые, слышен крик обезумевших людей. Страдания, стон, а она себе сияет вовсю. Чудесное сентябрьское утро. Небо лучезарно, а деревья в сказочном, торжествующем золоте. Хотя бы единственным жестом посочувствовала. Ни звука, ни одного движения.

27 сентября 1954 года

С Нелюсей съездил в золотой лес Серебряного бора. Сидели на берегу под сияющим осенним небом, глядели на тихо и плавно плывущие по зеркальной Москве-реке караваны барж. Рисовал цветными карандашами.

ЧАСТЬ 3
В ЗЕРКАЛЕ.
РОССИЯ – АМЕРИКА



САША НЕМИРОВСКИЙ
Сан-Хосе, США

Лестница в Одессе. Из цикла «Пейзажи 2015»

Я считаю ступени, ведущие к Дюку.
Раз, два, три.
Я делаю вид, что набил себе руку,
Чтобы лихо вести удачную жизнь.
Четыре, пять.
Черноморский бриз
Завернул мои брюки,
Дышит в спину,
Не поверни.
Если придется сбежать вниз,
То тогда половину
Камней ноги сами смогут узнать.

На эти я капал мороженым
За девятнадцать копеек
В первом классе.
Семь, восемь, девять.
А на этих поспорил с другом из-за корма для его
канареек.
Что поделать? Мы помирились гораздо позже
В очереди к кинокассе.
Четырнадцать, пятнадцать.
Вот тут я споткнулся, чтобы схватиться за твою руку,
И пальцы,
Вздвогнув, переплелись. С тех пор, запахом твоей кожи
Или звуком
Голоса загорается память.
Шестнадцать, семнадцать, двадцать.
Я не знаю, как я прожил
Через пустоту, когда ты уехала в эмиграцию.
Возможно,
Я поехал за тобой – догнать и оставить.

Я в туристкой толпе на пятидесятой ступени.
До верха еще далеко.

Я грызу семечки из газетного кулечка
И тени
Каштанов соответствуют точно
Моему росту.
Легко
И быстро мимо поднимаются не наши дети.
Шестьдесят, семьдесят, девяносто.
К залитой солнцем последней площадке,
Откуда можно заметить
Песчаные
Дюны вдоль фривейной дороги.
Одноэтажный домик.
Сто десятая, сто девяносто вторая.
Все. Мостовая.
Черта.
Пологий
Пляж. И томик
Стихов на языке, что больше не прочитать.
Из другого края.

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ
Нью-Йорк, США

Из Билли Коллинза (с англ). Гранд Централ – Grand Central
Стихи

Билли Коллинз был дважды избран поэтом-лауреатом Библиотеки Конгресса. Также ему принадлежат титулы поэта-лауреата штата Нью-Йорк и титул Литературный Лев. Билли Коллинз живет и работает в Нью-Йорке. Он – автор десяти сборников поэзии

Гранд Централ

Город вращается вокруг восьми миллионов
центров вселенной⁹
и вокруг золотых часов
в неподвижной точке среди вокзала.
Подними глаза над движущимся роem
и увидишь, как кружит время
под звездным сводом, и узнаешь
точно, где ты и когда.

⁹ Нью Йорк – город восьми миллионов центров вселенной, т. е. 8 млн. жителей (прим. переводчика)

Grand Central

by Billy Collins

The city orbits around eight million
centers of the universe
and turns around the golden clock
at the still point of this place.
Lift up your eyes from the moving hive
and you will see time circling
under a vault of stars and know
just when and where you are.

АЗАРИЙ МЕССЕРЕР
Нью-Йорк, США

Представитель «Великого поколения» Стэнли Плезент

«Великим» американцы называют поколение времен Второй мировой войны. Оно проявило поразительное мужество, стойкость и волю к победе. Но мало кто знает, что, помимо всех прочих достоинств, это поколение отличалось особой любовью к литературе. В передышках между боями, в траншеях и блиндажах, в госпиталях и эшелонах, американские солдаты и офицеры читали книги. Читали не только развлекательную и юмористическую литературу, но и произведения английских, русских, французских классиков, а также молодых американских авторов, ставших классиками уже после войны.

Этому беспрецедентному интересу к литературе великого поколения посвящено исследование Молли Мэннинг. Его идея зародилась у автора во время работы в архивах Принстонского университета, где она обнаружила многочисленные письма с фронта, присланные в США более 70-ти лет назад. Вот перевод отрывка из одного из писем:

«Сердце у меня ожесточилось после того, как я стал свидетелем гибели моего лучшего друга. Я думал, что никогда уже не смогу испытать подлинную радость. За два года я, можно сказать, ни разу не улыбнулся. Заболев малярией, я попал в госпиталь, где одна медсестра дала мне почитать книжку в бумажном переплете под названием «Растет в Бруклине дерево» (“A Tree grows in Brooklyn”). В этом романе Бетти Смит так живо и с таким тонким юмором описала переживания юной героини, которая с невероятным упорством преодолевает нищету и лишения в начале 20 века, что, закончив книгу, я решил, что не усну, пока не выражу в письме к вам (издательству – А.М.) мою сердечную благодарность автору, пробудившему во мне теплые чувства».

Появление массового читателя в Америке стало возможным благодаря незначительному, на первый взгляд, технологическому открытию. Незадолго до войны стали продаваться книги в бумажном переплете, которые легко можно было положить в карман куртки или вещевого мешка. Кто-то предложил для их издания использовать прессы, на которых

печатались популярные журналы, продававшиеся повсюду в газетных киосках. Действительно, стоило положить две книжные страницы на одну страницу журнального формата, затем, отпечатав ее на прессе, разрезать пополам и проделать эту нехитрую операцию нужное число раз, как получалась книжка в двух экземплярах. Ее можно было продавать не за доллары, а за 50 или 75 центов по курсу того времени.

На основе этого изобретения появилось несколько издательств, например, всем нам знакомое Penguin books, но на первых порах они не имели ожидаемого финансового успеха. Вскоре после нападения японцев на Перл Харбор и начала войны с фашистской Германией известный общественный деятель В. Нортон (W.W. Norton) выступил на собрании Совета издателей с неожиданным предложением – посылать на фронт книги бесплатно. Сначала эта идея была встречена с недоверием – как это бесплатно, то есть в убыток нашим предприятиям? Но Нортон утверждал, что, помимо патриотического характера, такое начинание имело бы благоприятные экономические последствия для издательств в будущем: миллионы солдат, полюбивших чтение книг, будут их покупать и после войны. Более того, Америка выступила бы в этом случае как антипод своего ярого врага – гитлеровской Германии, где нацисты еще в 30-х годах начали сжигать книги неугодных их режиму авторов.

Такие аргументы возымели действие, и до окончания Второй мировой войны на различные фронты – в Европу, Африку, на острова Тихого океана – было послано около 123 миллионов книг – бесплатно. Какой контраст с Отечественной войной: представьте себе на минуту, что получали в это время по почте советские солдаты, воевавшие на фронтах Великой Отечественной. Может быть, вязаные носки или валенки, но, вряд ли, книги. Правда, известно, что поэты-фронтовики, такие как Давид Самойлов, Булат Окуджава, на войне носили при себе маленькие томики стихов. Англичане же на фронте завидовали американцам, иногда делившимся с ними, как с союзниками, своими книгами. Они восхищались идеей доставки на фронт бесплатных книг, называя ее на слэнге «super-dooper».

Американские солдаты в письмах домой, наряду с описаниями боев, стали делиться своими впечатлениями от той или иной книги, советуя невестам и родственникам приобрести ее. Более того, они, что называется, утерли нос литературным

критикам, опровергнув их мнения о некоторых новых произведениях молодых писателей. Так например, роман Ф. Скотта Фитцджеральда «Великий Гэтсби» был холодно встречен прессой, но издатель рискнул послать на фронт 150 тысяч экземпляров, и войнам он очень понравился. Сейчас-то мы знаем, что этот роман считается одним из самых популярных в истории американской литературы и что по нему было поставлено несколько фильмов, один из которых вышел на экраны недавно – с Ди Каприо в главной роли.



Стэнли Плезент в 1945-м году

Несомненно, что такой огромный спрос на книги во время Второй мировой войны способствовал подлинному Ренессансу в американской литературе. Именно тогда появились прекрасные романы целой когорты новых талантов, среди которых стоит особо отметить пятерых будущих лауреатов Нобелевской премии: Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хемингуэя, Джона Стейнбека, Сола Беллоу и Бащевица Зингера.

Первое что бросилось мне в глаза, когда я впервые посетил дом моего американского родственника Стэнли Плезента в

Ларчмонте, была кипа недавно изданных книг на столе в гостиной. Я понял, что попал в семью страстных любителей литературы. В ноябре этого года Стэнли отмечает свое девяностолетие. По его словам, до войны, то есть в тридцатые годы, он почти не интересовался литературой – все свободное время отдавал американскому футболу, выступая на первенствах школьных команд в качестве полузащитника.

Интерес к спорту он унаследовал от отца, эмигрировавшего в Америку из России незадолго до Первой мировой войны. В свидетельстве о рождении, выданном его родителям в Гомеле, он был записан как Израиль Плисецкий. Однако получая американское гражданство без очереди – за участие в войне, он решил изменить фамилию: вспомнил, с каким трудом его однополчане произносили «Пли–сец–кий». Им надоело путаться и они стали называть его «Плезентом», видимо, за добродушный и веселый нрав. Так он и был записан в американском паспорте. Его старший сын Стэнли Плезент, так же, как и отец, добровольцем записался в армию, причем в возрасте 18-ти лет. Только тогда, понятно, шла Вторая мировая война. Стэнли воевал во Франции. Воевал доблестно, о чем свидетельствуют его ордена и медали, включая третий по значению орден Silver star (Серебряная звезда). В приказе о награждении говорилось, что орден присужден лейтенанту Стэнли Плезенту за то, что он проявил исключительную храбрость в бою близ города Уиссенбург (на границе Франции с Германией) в феврале 1945-го года. Даже будучи раненым, он продолжал командовать ротой, подавившей сопротивление врага. Именно ротой, хотя был только командиром взвода, потому что старший офицер был ранее тяжело ранен.

Стэнли попал в госпиталь, где, по его словам, спасался от боли, читая «Трех мушкетеров», опять же в бумажном переплете, а также учебники французского языка. Французский ему помогала изучать медсестра по имени Доменик Пиффер, а Стэнли в свою очередь помогал ей освоить английский язык. Когда через 6 недель он вышел из больницы, Доменик познакомила его со своими родителями и у Стэнли завязалась с ними дружба, продолжавшаяся много лет. Каждый раз, приезжая во Францию, он навещает эту семью, и, хотя родители уже давно умерли, его радушно принимают их дети и внуки.

Аналогичная дружба американского солдата с французской семьей описана в классическом американском романе Уиллы Кэсер «Один из нас» («One of ours»). По мнению Стэнли, никто так верно не описал состояние солдат, находящихся в траншеях под шквальным артиллерийским обстрелом, как Кэсер. Я прочитал этот роман и был поражен тем, как ярко и реалистично о войне написала женщина, не бывавшая на фронте. Правда, она использовала в своем повествовании многочисленные письма от брата, погибшего в последнем бою Первой мировой войны. Роман Кэсер, получивший Пулицеровскую премию в 1923-м году, стал особенно популярным среди солдат во время Второй мировой войны.

После войны Стэнли Плезент служил больше года в Германии. Он видел, как американцам не хватало хороших специалистов, способных помочь восстановлению экономики Западной Европы по Плану Маршалла, и решил, что его будущая специальность будет связана с международными отношениями. Стэнли закончил государственный университет благодаря закону (G.I. Bill), обеспечившему бесплатное образование более двум миллионам ветеранов войны. А потом он учился в аспирантуре престижного Колумбийского университета. Со временем Стэнли Плезент становится выдающимся юристом. В администрации Кеннеди он был главным юристом USIA (Информационного агентства США), отвечая за его связь с Конгрессом и Белым домом. Для русского уха USIA звучит почти как CIA (ЦРУ), и его двоюродные сестра и братья Плисецкие – Майя, Азарий и Александр, впервые встретившие Стэнли в 1962 году во время гастролей Большого театра, приняли эту новость настороженно. Стэнли пришлось им объяснять, что к ЦРУ и разведке он не имеет отношения и что его агентство, в частности, организует за рубежом гастроли известных артистов, чтобы познакомить мир с достижениями американской культуры.

В прошлом году в Вест-Пойнте, знаменитой военной академии США, состоялась торжественная церемония: в связи с семидесятилетней годовщиной освобождения Франции от нацистов французский генеральный консул в Нью-Йорке вручал орден Почетного легиона нескольким американским ветеранам, в том числе и Стэнли Плезенту.



Об этом много писали СМИ, и ниже вы видите его на фотографии, сделанной во время этой церемонии.

12 прочитал все 47 романов этого выдающегося писателя 19-го века (1815 – 1882). Он побывал в Англии и Ирландии, в местах, описанных в романах Троллопа, с группой членов международного клуба почитателей Троллопа и участвовал во многих дискуссиях, посвященных его творчеству.

У Стэнли, как и у его жены Глории, которая всего лишь несколькими годами младше мужа – они вместе прожили 67 лет, воспитав четырех детей и шестерых внуков – сохранилась прекрасная память. По всей вероятности, это объясняется тем, что они оба читают книги. И это не удивительно, ведь они – представители великого поколения американцев.

ДАРЬЯ КАШИНА
Киев, Украина

Ржавое железо. В Москве уничтожен музей «Союзники и Ленд-лиз»

Вспоминаю, как в прошлом военный представитель России по закупке ленд-лизовой техники, Игорь Петрович Лебедев, положил перед задним стеклом «Волги» генеральскую фуражку

– для ГАИ, – как пошутил он, и мы отъехали от дома на Краснохолмской набережной на его любимую дачу. И сразу он начал рассказывать:

– Мои предки были военными. Из поколения в поколение. Дед полный георгиевский кавалер. Во время войны я был послан в Куйбышев вместе с эвакуирующимся авиационным заводом. Но в пути меня догнала телеграмма с приказом вернуться в Москву. Там я получил задание – возглавить закупочную комиссию по ленд-лизу.

В просторном домашнем кабинете Игоря Петровича разложены толстые англоязычные справочники с желтыми страницами. Перед ним – весь объем авиационной промышленности США с тех лет по сегодняшний день. Он уточнил все, что было сделано по ленд-лизу. И что войдет в историю и базу данных, составленную по заданию Академии наук. Сделано это было еще при Евгении Велихове, с которым у него были прекрасные отношения. Академик содействовал изданию работ генерала-майора.

Я видела это, так как мы с ним и членами его семьи, заезжали в отделение гибких технологий Академии наук в Перяславле-Залесском под Москвой, куда он привозил материалы. В коридоре дома, ранее принадлежавшего купцу Савве Морозову, шел ремонт. Пахло краской. Лежали на кирпичях доски, поверх свежевыкрашенного пола. И, громыхая гомким красивым голосом, Игорь Петрович от входа сообщал всем: «Генерал Лебедев приехал!».

Теперь все это история.

Старшее поколение хорошо помнило поступавшие по ленд-лизу джипы, «студебеккеры», американскую тушенку, утепленную одежду для авиаторов и водителей, а также многое другое. Игорь Петрович занимался авиацией.

Истинные размеры помощи США и стран союзников в России не были известны до 1994 года.

Благодаря М.С.Горбачеву, были открыты архивы России, в том числе и архив Главного Штаба военно-воздушных сил. Военпред Лебедев смог уточнить свои мемуарные записи. И узнать совпадают ли данные о ленд-лизе, зафиксированные на его родине, с тем, что он знает лично.

Оказалось, что каждый пятый самолет для фронта был выпущен союзниками. По данным генерал-майора, за время

войны СССР получил от союзников в помощь по ленд-лизу 18 700 (по другим данным, 22 200) самолетов, включая истребители «аэрокобра», «китти-хаук», «томагавк», «харрикейн», средние бомбардировщики Б-25, А-20 «Бостон», транспортный Си-47, 12 200 танков и самоходных установок, 100 тысяч километров телефонного провода, 2,5 миллиона телефонов; 15 миллионов пар сапог, более 50 тысяч тонн кожи для пошива обуви, 54 тысяч метров шерсти, 250 тысяч тонн тушенки, 300 тысяч тонн жира, 65 тысяч тонн коровьего масла, 700 тысяч тонн сахара, 1860 паровозов, 100 цистерн на колесах, 70 электродизельных локомотивов, около тысячи саморазгрузочных вагонов, 10 тысяч железнодорожных платформ. Это с их помощью на фронт и в тылы доставили от союзников 344 тысячи тонн взрывчатки, почти 2 миллиона тонн нефтепродуктов, а еще 2,5 миллиона тонн специальной стали для брони, 400 тысяч тонн меди и бронзы, 250 тысяч тонн алюминия. Из этого алюминия, по подсчетам специалистов, можно было построить 100 тысяч истребителей и бомбардировщиков – почти столько, сколько наши авиазаводы произвели за всю войну.

Технику не только предоставляли, но и обучали пользоваться ею.

В Филадельфии на заводе в Элизабет-Сити шло обучение русских и одновременно проходила проверка самолетов. Помогал осваивать технику бывшим соотечественникам лейтенант ВМС США Григорий Гагарин – потомок эмигрантов из России, имеющий аристократическую родословную.

На этом же заводе работал и Игорь Петрович. Даже засекреченную технику показывали русским американцы. Таковую, как прицел «Норден», бомбардировщики Бостон «А-20».

– На местном аэродроме, – рассказывал он, – я сразу обратил внимание на роскошный Бостон «А-20» с множеством антенн. Стал расспрашивать, ведь было видно, что это новое оборудование. Когда я уточнял детали, американцы уходили от ответа. Но, видимо, получив разрешение, все объяснили.

24 июня 1941 г. Франклин Рузвельт выступил с заявлением о необходимости поддержать Советский Союз морально и материально. Президент Рузвельт настаивал на том, что нужно срочно ввести действие ленд-лиза. Была проведена

благотворительная кампания, проходившая под лозунгом «Загрузим корабль полностью».

В 1941 году Конгрессом США был принят закон – Lend Lease Act о том, что помогать, а именно передавать, обменивать, предоставлять в аренду, займы военные материалы или информацию необходимо только в случае, если это жизненно необходимо для обороны США. В это время США и союзники, видя слабость СССР, считали гитлеровскую Германию опасным для себя противником.



Григорий Гагарин в юности

Как это часто бывает в непредсказуемой России, история повернула вспять. Американцы снова стали врагами. В стране так и не отдали долг уважения и благодарности участникам такой колоссальной акции.

Силовые структуры, всегда руководившие Россией, никогда не говорили народу правду о ленд-лизе.

При Ельцине была попытка установить добрые отношения с США, при этом возникла и тема ленд-лиза. В 2000 году был повторен перелет Сибирь-Аляска. Он назывался «Памяти союзников-авиаторов». Самолет Ли-2 отправился в трансконтинентальный перелет.

Исполняющий тогда обязанности президента В.В.Путин направил приветствие участникам перелета. Средства массовой информации России об этом промолчали. Осуществляли полет молодые летчики Андрей Иванов и Олег Нехорошев. Они были из организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов АОРА-Россия. Даже в этой акции не участвовало государство. А перелет напоминал модные сейчас реконструкции исторических событий. Трогательно было видеть ветеранов, приникших к иллюминаторам и узнававших свой трудный путь.



Григорий Гагарин – ветеран

– Игорь Петрович, расскажите о девушках, работавших на авиазаводах США. На одном из авиазаводов работала тогда еще никому не известная Мэрилин Монро, – попросила я, сидя на балконе дачи и глядя на сосновый бор.

– У нас работали девушки, красили самолеты. К нам приезжали бригады голливудских артистов, выступающих для армии. Она работала, кажется, на заводе самолетов-мишеней.

Многое я и мои друзья хотели бы рассказать. Я и дочери участника перелета, сибиряка, майора Чибисова, написали по книге об американской помощи. Они вышли крошечными тиражами.

Мы привлекли Александра и Веронику Нестеровых в 2006 году к созданию фильма о ленд-лизе. Фильм начинался в нашем музее, который мы создали с военным врачом Николаем Бородиным. Он назывался «Музей союзников и ленд-лиза». Он был показан в Институте Кеннана в Вашингтоне.

– А где этот музей?

– Теперь нигде. Родина не предоставила нам помещения. Мы нашли его одиннадцать лет назад в московской школе на улице Житной. Те, кто имел уникальные материалы, отрывали их буквально от сердца. Сын маршала Рокоссовского отдал нам ленд-лизровский Виллис отца. Экспонатов было много. А теперь... Я оглянулась на шорох. Игорь Петрович доставал валидол.

А теперь его экспонаты вынесли на улицу. Директор школы сказала: «Это старое, ржавое железо. В зале должны быть танцы».

– Как же так?

– Я всегда говорил, Россия – это соединение космоса с дикостью.



ВАДИМ МАССАЛЬСКИЙ
Александрия, США

Михаил Чехов – актер, не покорившийся Голливуду

Историческая миниатюра



Михаил Чехов. Фото из архива О. Б. Протопопова, внука М. Чехова

Сокровища отца, вас покидает
Корделия в слезах. Я знаю, кто вы...
Но, как сестра, все ваши недостатки
Не стану называть. Отца любите.
Его вверяю вашим многословным
Сердцам. Увы! Будь я ему мила,
Ему бы лучший я приют нашла.
Прощайте, сестры.

Дочь короля Лира – Корделия, она же начинающая голливудская актриса – Норма Джин Бейкер, гордо вскинула

голову и сделала поворот в сторону зрительного зала – лужайки, где сидел ее единственный зритель, учитель и режиссер Михаил Чехов. Ее роскошные рыжие волосы рассыпались по плечам и заиграли золотом в лучах калифорнийского солнца. В этот момент она была бы само совершенство, если бы не излишняя театральность. Но, увы, как многие начинающие актрисы, мисс Бейкер переигрывала и чересчур давила на голос. Чехов чуть поморщился, и по лицу его, словно от удара током, пробежала судорога.

К счастью, Норма этого не заметила. Она вдохнула побольше воздуха, чтобы продолжить свой стихотворный монолог. Но в этот самый момент за спиной шекспировской героини послышалось громкое чавканье. Норма обернулась и увидела в паре ярдов от себя крупного, полинявшего за лето серого козла, безмятежно жующего траву на лужайке. Актриса бросила на жвачное животное испепеляющий королевский взгляд. Козел поднял голову и заблеял. Норма фыркнула и топнула ногой. Козел заблеял громче и угрожающе замотал рогами. Но мисс Бейкер была не из трусливых городских девушек. Она схватила наглое животное за рога, и, навалившись на него всем телом, пригнула к земле. Козел сначала заупирался, а потом жалобно, как-то совсем по-собачьи заскулил. Тогда Норма, не отпуская рогов, стала пинать его по бокам, вполголоса приговаривая какие-то не совсем шекспировские словечки, явно неведомые девицам королевской крови. Несчастный козел наконец вырвался и бросился наутек на виду у мирно пасущихся в отдалении коз.

За изгородью послышались одобрителльные возгласы, свист и хлопки. Это возвращавшиеся домой соседи-фермеры выражали свой восторг, образовав маленький уличный театр.

Мисс Бейкер, ничуть не смутившись, поправила прическу, отряхнула платье и, повернувшись лицом к новым зрителям, сделала книксен:

– Джентльмены, здесь репетирует будущая звезда Голливуда. Но если вам надо подоить корову, почистить курятник, обращайтесь. Велком! Разумеется, услуги по голливудскому тарифу. А сейчас проваливайте, у нас репетиции платные.

Фермеры неохотно стали расходиться. Правда, теперь уже Чехов залился смехом.

Норма посмотрела на него как фурия, готовая броситься и разорвать насмешника. Но ее остановила чеховская улыбка. В ней было что-то беспомощно детское и беззащитное.

– Норма, в этом эпизоде вы были просто гениальны! – давясь от смеха, произнес учитель.

– В каком именно?

– Ну, в образе фермерши, конечно. Над ролью Корделии вам еще работать и работать.

Норма шмыгнула своим обольстительным чуть курносым носиком.

– Признаюсь, мистер Чехов, роль этой английской пайнки мне не очень по душе. Я бы предпочла сыграть Грушеньку в «Братьях Карамазовых».

– Вот как, – подивился Чехов. – В таком случае для начала вам не мешало бы перечитать Достоевского. Причем, всего.

– А я уже взяла в библиотеке «Преступление и наказание», – гордо заявила мисс Бейкер.

Чехов пожал плечами. Он поймал себя на мысли, что в этой хохотушке, дочери простой киномонтажницы, что-то есть. Есть характер и энергетика, есть обаяние. Будет жаль, если из этой талантливой девочки на голливудском конвейере спячат еще одну секс-бомбу.

Михаил Александрович вдруг вспомнил бесконечно далекий, холодный и хмурый апрельский день, когда тетушка, Ольга Книппер-Чехова, привела его, двадцатилетнего юношу, к самому Станиславскому, которому он, краснея и заикаясь, прочел монолог Мармеладова из «Преступления и наказания» и отрывок из «Царя Федора». Станиславский, признавался, что взял тогда Мишу в Московский Художественный Театр из жалости и уважения к памяти великого дяди – Антона Павловича. Но позже, разглядев в молодом актере божью искру, Константин Сергеевич воскликнул в разговоре с Немировичем-Данченко: «Вы знаете, Миша Чехов – гений!»

– Кто знает, кто знает.., – подумал вслух Михаил Александрович, возвращаясь мыслями из-за мхатовских кулис к американским реалиям.

Мисс Бейкер посмотрела на него как на чудака, разговаривающего с самим собой.

– Кто знает, Норма, – перехватив этот взгляд, пояснил Чехов. – Возможно, вас ждет великое будущее в Голливуде. Но при одном условии...

Девушка вся превратилась в слух.

– Надо работать. Актерство – тяжелый труд. Труд, как говорят в России, до седьмого пота. Вы готовы трудиться?

Норма не сразу ответила. Сначала ей захотелось возразить, возмутиться, рассказать русскому профессору, что пока он тут во время войны прятался в эмиграции, она 17-летней девчонкой уже работала на авиазаводе, выпускавшем мишени для боевых самолетов. Но вместо этого мисс Бейкер рекламно улыбнулась, согнув руку в локте и показав тоненький бицепс как на модном женском плакате времен второй мировой: *We can do it!*

Репетиция продолжилась. Теперь Норма молча бросала мячи, в то время как Чехов читал вслух ее реплики. Затем делала дыхательные упражнения, танцевала, пела, искала в диалогах свой психологический жест.

Чехов порядком устал. Он отложил в сторону большой блокнот, в котором по старой режиссерской привычке делал карандашные зарисовки персонажей. Но мисс Бейкер была неутомима.

– Когда следующая репетиция? – спросила Норма, вытирая пот со лба.

– А я-то думал, это последняя, – пошутил Чехов. – Разве вы захотите дальше иметь дело с таким экзекутором как я?

– Конечно, мистер Чехов. Вы лучший режиссер, которого я здесь встречаю! -

Мисс Бейкер посмотрела на учителя с нескрываемым обожанием, -

Нет, вы не режиссер, вы бог сцены! Когда я занимаюсь у вас, меня охватывает какое-то религиозное чувство, я словно открываю новый, неземной мир!

Чехов был тронут, но поспешил вернуть актрису на землю:

– Милочка, не торопитесь. Поверьте, у вас в Голливуде еще столько открытий!

Норма запнулась.

– Мистер Чехов, подарите мне один из ваших рисунков.

Михаил Александрович смутился. Он был прекрасным рисовальщиком, но делал наброски исключительно для себя.

– Меня столько раз фотографировали для военной рекламы, но никогда не рисовали.

Чехов аккуратно вырвал из блокнота несколько карандашных портретов, протянул их девушке.

Вместо слов благодарности Норма вдруг приобняла Чехова и чмокнула в щеку. Потом, будто испугавшись подобного проявления чувств, пролепетала какое-то прощание и побежала к калитке. Здесь она столкнулась с новым чеховским гостем – крупным, аристократического вида мужчиной в модном черном костюме и белой фетровой шляпе, чуть не выбила из его рук портфель, и, не оборачиваясь, побежала дальше – к своему припаркованному автомобилю.

Гость Чехова, граф Сергей Сергеевич Орлофф, он же глава риэлтерской конторы в большом Лос-Анджелесе, проводил девушку гусарским взглядом. Потом, уже на крыльце, здороваясь с Михаилом Александровичем, поинтересовался:

– Кто эта прелестница?

– Мисс Норма Бейкер, начинающая актриса, берет у меня уроки актерского мастерства, – сказал Чехов нарочито равнодушным голосом.

– Норма?! – расхохотался Орлофф. – Что за идиотское имя! С таким именем завоевать Голливуд, это все равно, что с фамилией Алексеев сделать карьеру в московском театре.

Чехов вопросительно поднял брови.

– Ну, подумайте, любезный Михаил Александрович, кто бы сегодня еще помнил этого сталинского паяца, если бы он не взял себе аристократический псевдоним – Станиславский.

Чехов бросил на собеседника жесткий взгляд, тот осекся.

Михаил Александрович не терпел, когда в его присутствии начинали поносить имя Константина Сергеевича Станиславского и насмехаться над его Системой, думая, что этим доставляют удовольствие ученику, который, хлопнув дверью, ушел от своего первого учителя и создал собственную школу.

Насмешки над основателем Московского Художественного Театра были неприемлемы для Чехова по двум причинам.

Во-первых, Михаил Александрович никогда не отрекался от своих учителей, будь то Станиславский, Мейерхольд или Вахтангов. Даже когда был вынужден уехать из СССР в 1928-м году.

А, во-вторых, он часто говорил уже своим ученикам, что его актерская школа, это на 60 процентов Система или – как было принято называть в Америке – Метод Станиславского. Но главное отличие в том, что он, Чехов, предлагает обращаться не к физическим воспоминаниям и личному опыту актера, а к его воображению.

Ничего этого Орлофф не мог знать, потому как был удачливым голливудским риэлтером, не более того. Однако он хорошо знал нравы Беверли-Хиллз.

Он принялся оправдываться, поясняя (и не без резона), что для такой яркой красавицы нужно и яркое, необычное имя:

– К примеру, Мэрилин Монро или что-нибудь в этом роде. Это закон шоу-бизнеса.

С этим законом Чехов спорить не стал. И тогда граф дружелюбно взял Чехова под локоток, заговорил шутливо-заговорщическим тоном:

– Ну, признайтесь, голубчик, вы к ней равнодушны. Я же видел, как она вас поцеловала...

– Да, полно вам, Сергей Сергеевич, – отмахнулся Чехов. – Она годится мне в дочери. И потом, мне не нравятся американки.

– Не нравятся? А вы присмотритесь к ним хорошенько... – подмигнул Орлофф с видом ценителя.

Чехов вдруг повеселел и загадочно улыбнулся:

– А знаете, Сергей Сергеевич, точь-в-точь такие же слова я когда-то слышал от Рахманинова в Нью-Йорке.

– И зря, вы не прислушались к его совету, – заметил Орлофф.

– Напротив, я сразу им воспользоваться.

– И что?

– В первый же день я влюбился шесть раз! Пришлось вернуться к спасительному стереотипу, что все американки холодные, некрасивые и часто даже злые...

Мужчины рассмеялись. В этот момент на веранду из кухни вышла жена Чехова, Ксения Карловна, статная, круглолицая блондинка, не утратившая в своем возрасте девичьей красоты.

В руках она держала большой поднос, на котором возвышался кофейник, окруженный тарелками с козьим сыром, вареными яйцами и выпечкой.

– Угощайтесь, граф. У нас тут все просто, по-русски. Но все домашнее.

Гость перехватил у хозяйки поднос, поставил его на стол. Затем поцеловал даме ручку, довольный, что наконец-то хоть кто-то вспомнил о его старорежимном титуле. Чехов принципиально не величал Орлоффа графом. До него доходили слухи, что граф был самозванцем и шарлатаном, присвоившим громкий титул через какую-то сомнительную аферу с родословной. Впрочем, это тоже был закон бизнеса.

– Да, – произнес граф-риэлтер, выпив кофе и раскурив сигару. – Тяжело вам будет менять фермерские привычки. В Беверли-Хиллз вас не поймут, если вы там тоже разведете птичник и овчарню. Хотя формально места в новом доме хватит для всей этой живности.

Орлофф наигранным жестом фокусника достал из портфеля альбом с фотографиями дома и документами на продажу. Пока он курил, Михаил Александрович и Ксения Карловна смотрели снимки с видами двухэтажного особняка на лесном пригорке. Особняк был из красного кирпича в колониальном стиле: с четырьмя спальнями на втором и с роскошной гостиной, просторной столовой и кухней на первом этаже. А кроме того, с высоким жилым подвалом – бэйзментом, гаражом, пальмовой аллеей, цветником, живописным задним двориком – бэжардом, беседкой и даже с бассейном!

– Райский уголок, – согласился Чехов, сняв очки и решительно возвращая фотоальбом риэлтору. – Но это нам не по карману. Не стоит даже обсуждать этот вариант.

– Напротив, милейший Михаил Александрович, – улыбнулся граф с видом доброго волшебника, исполняющего желания бедняков, и снова пододвинув альбом супругам. Вы почитайте условия продажи. Для вас это уникальный вариант. Хозяин готов вам списать половину цены в счет контракта на создание учебной театральной студии.

Чеховы принялись читать мелкий и убористый типографский шрифт:

– Не пойму, о каком учебном театре здесь идет речь?

– О вашем, – пояснил Орлофф. – Конечно, это не тот классический учебный театр, который вы имели перед войной в английском Дартингтоне, где не надо было продавать билеты и заботиться о деньгах, имея щедрых меценатов... Времена

изменились. Тем паче, что в Америке все поставлено на сугубо практические, долларовые рельсы. Но это реальный план.

Чеховы переглянулись, заинтригованные.

Орлофф как опытный делец почувствовал, что рыба уже клюют, и перешел к деталям.

– Хозяин, мистер Доусон, недавно в Голливуде. Первые свои миллионы он сделал на недвижимости, а теперь хочет инвестировать в кинобизнес, который с окончанием войны пошел в рост. Для новых фильмов понадобятся новые актеры. Много актеров. Вы согласны?

Чехов кивнул, хотя в душе был уже давно не в восторге от американского киноконвейера, штамповавшего глупых и грубых людей.

– Так вот, Доусон предлагает вам должность директора и режиссера своей учебной студии, которая станет работать по всей Америке, от Нью-Йорка до Сан-Франциско, отбирая и обучая талантливую артистическую молодежь. Это будет своего рода Фабрика звезд.

– Гм-м, – заметил Чехов, ерзая на стуле. И уже воодушевляясь и представляя, как он воплотит наконец мечту об идеальном театре будущего, которую пытался реализовать в Москве, потом в Берлине, Париже, Риге, затем в Англии, наконец в учебном театре под Нью-Йорком, и уже был близок к её воплощению, ставя пьесы на Бродвее и руководя учебной театральной труппой в американском Риджвелле. Однако здесь его театральная премьера зловеще совпала с 7 декабря – днем японского нападения на Перл-Харбор. Америка вступила в войну, многих молодых актеров призвали в армию. О «театральном предприятии» пришлось надолго забыть и уехать на поиски киноработы в Голливуд.

– Вы согласны? – громко повторил Орлофф, видя, что его собеседник витает где-то далеко – далеко в облаках воспоминаний.

– Простите, Сергей Сергеевич, – встряхивая мысли, как сон, извинился Чехов. – На чем мы остановились?

Вместе ответа, Орлофф протянул ему лист бумаги, разрисованный квадратами, кругами и стрелками, показывающими движение капиталов:

– Детали вы, конечно, обсудите со своим боссом. Но в общих чертах бизнес-схема работает так. В каждом городе, где

будет останавливаться учебная студия, вы формируете учебную группу из ста начинающих местных актеров, с которыми работаете 10 дней. Каждый платит 100 долларов за участие в программе. И того 10 000 долларов за 10 дней. Недурно, правда?

Орлофф даже не посмотрел на реакцию собеседника, уверенный, что сама магическая цифра должна привести его в восторг. перевел дух и продолжил:

Гость перехватил у хозяйки поднос, поставил его на стол. Затем поцеловал даме ручку, довольный, что наконец-то хоть кто-то вспомнил о его старорежимном титуле. Чехов принципиально не величал Орлоффа графом. До него доходили слухи, что граф был самозванцем и шарлатаном, присвоившим громкий титул через какую-то сомнительную аферу с родословной. Впрочем, это тоже был закон бизнеса.

– Да, – произнес граф-риэлтер, выпив кофе и раскурив сигару. – Тяжело вам будет менять фермерские привычки. В Беверли-Хиллз вас не поймут, если вы там тоже разведете птичник и овчарню. Хотя формально места в новом доме хватит для всей этой живности.

Орлофф наигранным жестом фокусника достал из портфеля альбом с фотографиями дома и документами на продажу. Пока он курил, Михаил Александрович и Ксения Карловна смотрели снимки с видами двухэтажного особняка на лесном пригорке. Особняк был из красного кирпича в колониальном стиле: с четырьмя спальнями на втором и с роскошной гостиной, просторной столовой и кухней на первом этаже. А кроме того, с высоким жилым подвалом – бэйзментом, гаражом, пальмовой аллеей, цветником, живописным задним двориком – бэжардом, беседкой и даже с бассейном!

– Райский уголок, – согласился Чехов, сняв очки и решительно возвращая фотоальбом риэлтору. – Но это нам не по карману. Не стоит даже обсуждать этот вариант.

– Напротив, милейший Михаил Александрович, – улыбнулся граф с видом доброго волшебника, исполняющего желания бедняков, и снова пододвинув альбом супругам. Вы почитайте условия продажи. Для вас это уникальный вариант. Хозяин готов вам списать половину цены в счет контракта на создание учебной театральной студии.

Чеховы принялись читать мелкий и убогий типографский шрифт:

– Не пойму, о каком учебном театре здесь идет речь?

– О вашем, – пояснил Орлофф. – Конечно, это не тот классический учебный театр, который вы имели перед войной в английском Дартингтоне, где не надо было продавать билеты и заботиться о деньгах, имея щедрых меценатов... Времена изменились. Тем паче, что в Америке все поставлено на сугубо практические, долларовые рельсы. Но это реальный план.

Чеховы переглянулись, заинтригованные.

Орлофф как опытный делец почувствовал, что рыба уже клюют, и перешел к деталям.

– Хозяин, мистер Доусон, недавно в Голливуде. Первые свои миллионы он сделал на недвижимости, а теперь хочет инвестировать в кинобизнес, который с окончанием войны пошел в рост. Для новых фильмов понадобятся новые актеры. Много актеров. Вы согласны?

Чехов кивнул, хотя в душе был уже давно не в восторге от американского киноконвейера, штамповавшего глупых и грубых людей.

– Так вот, Доусон предлагает вам должность директора и режиссера своей учебной студии, которая станет работать по всей Америке, от Нью-Йорка до Сан-Франциско, отбирая и обучая талантливую артистическую молодежь. Это будет своего рода Фабрика звезд.

– Гм-м, – заметил Чехов, ерзая на стуле. И уже воодушевляясь и представляя, как он воплотит наконец мечту об идеальном театре будущего, которую пытался реализовать в Москве, потом в Берлине, Париже, Риге, затем в Англии, наконец в учебном театре под Нью-Йорком, и уже был близок к её воплощению, ставя пьесы на Бродвее и руководя учебной театральной труппой в американском Риджвелле. Однако здесь его театральная премьера зловеще совпала с 7 декабря – днем японского нападения на Перл-Харбор. Америка вступила в войну, многих молодых актеров призвали в армию. О «театральном предприятии» пришлось надолго забыть и уехать на поиски киноработы в Голливуд.

– Вы согласны? – громко повторил Орлофф, видя, что его собеседник витает где-то далеко – далеко в облаках воспоминаний.

– Простите, Сергей Сергеевич, – встряхивая мысли, как сон, извинился Чехов. – На чем мы остановились?

Вместе ответа, Орлофф протянул ему лист бумаги, разрисованный квадратами, кругами и стрелками, показывающими движение капиталов:

– Детали вы, конечно, обсудите со своим боссом. Но в общих чертах бизнес-схема работает так. В каждом городе, где будет останавливаться учебная студия, вы формируете учебную группу из ста начинающих местных актеров, с которыми работаете 10 дней. Каждый платит 100 долларов за участие в программе. И того 10 000 долларов за 10 дней. Недурно, правда?

Орлофф даже не посмотрел на реакцию собеседника, уверенный, что сама магическая цифра должна привести его в восторг. перевел дух и продолжил:

– В месяц, с учетом переездов и уикэндов, вы накрываете, по меньшей мере, 2 города. За год 24. Соответственно, это приносит 240 тысяч долларов. За четыре года это почти миллион!

Граф Орлофф достал из портфеля красный карандаш и нарисовал большой жирный круг вокруг \$1 million.

– Разумеется, в течение этих четырех лет вы будете получать жалованье, командировочные, но главное – вы выкупаете весь свой дом без всяких кредитов, моргиджей и прочих банковских фокусов. Наконец, если дела пойдут в гору и Доусон возьмет вас в младшие компаньоны, то из лучших «фабрикантов» вы сможете формировать лучшие группы уже здесь в Голливуде, а потом уже перепродавать их ведущим киностудиям.

– Что значит, перепродавать? – насторожился Чехов. – Это же люди, артисты, а ни какая-нибудь картошка на рынке!

– Вот и именно: на рынке! А на рынке все равно, чем торговать: картошкой, домами или, скажем, людьми, если они настоящие профессионалы.

– Помилуйте! – всплеснул руками Чехов. – О каких профессионалах может идти речь, когда вы предлагаете за 10 дней обучить основам мастерства 100 человек. Чему их можно научить? Они наверняка и понятия не имеют, чем метод Станиславского отличается, скажем, от теории Брехта. Это же чистой воды шарлатанство!

Граф пожал плечами, определенно не понимая, чем недоволен этот гениальный сумасброд.

– Вам-то какое дело? Главное, что у каждого из них будет сертификат Голливудской школы. И там рядом с печатью будет стоять ваша фамилия. Великая фамилия, которую знают во всем мире!

– В месяц, с учетом переездов и уикэндов, вы накрываете, по меньшей мере, 2 города. За год 24. Соответственно, это приносит 240 тысяч долларов. За четыре года это почти миллион!

Граф Орлофф достал из портфеля красный карандаш и нарисовал большой жирный круг вокруг \$1 million.

– Разумеется, в течение этих четырех лет вы будете получать жалованье, командировочные, но главное – вы выкупаете весь свой дом без всяких кредитов, моргиджей и прочих банковских фокусов. Наконец, если дела пойдут в гору и Доусон возьмет вас в младшие компаньоны, то из лучших «фабрикантов» вы сможете формировать лучшие группы уже здесь в Голливуде, а потом уже перепродавать их ведущим киностудиям.

– Что значит, перепродавать? – насторожился Чехов. – Это же люди, артисты, а ни какая-нибудь картошка на рынке!

– Вот и именно: на рынке! А на рынке все равно, чем торговать: картошкой, домами или, скажем, людьми, если они настоящие профессионалы.

– Помилуйте! – всплеснул руками Чехов. – О каких профессионалах может идти речь, когда вы предлагаете за 10 дней обучить основам мастерства 100 человек. Чему их можно научить? Они наверняка и понятия не имеют, чем метод Станиславского отличается, скажем, от теории Брехта. Это же чистой воды шарлатанство!

Граф пожал плечами, определенно не понимая, чем недоволен этот гениальный сумасброд.

– Вам-то какое дело? Главное, что у каждого из них будет сертификат Голливудской школы. И там рядом с печатью будет стоять ваша фамилия. Великая фамилия, которую знают во всем мире!

– Какое дело?! – Чехов вскочил со стула. Ксения Карловна попробовала удержать его за руки, но он вырвался и нервно заходил по скрипучим половицам веранды.

– Да, как вы посмели, как вы посмели, сударь, предложить мне такое?! – повторял Михаил Александрович, все больше краснея и заикаясь. – Вы предлагаете мне участвовать в шутовском балагане и думаете, что меня можно опозорить за миллион.

Граф смотрел на маленького, курносого, взъерошенного как воробышек человечка и недоумевал. Ему в какой-то момент стало даже жаль этого театрального чудака, который не может понять, что деньги – может быть, впервые в жизни – сами идут ему в руки, а он не хочет сделать один шаг им навстречу.

– Эх, Михаил Александрович! Я надеялся, что раз в ваших жилах течет еврейская кровь вашей матушки, то у вас найдется хоть какая-то практическая сметка, хоть какой-то практический ум. Увы.

Чехов остановился, посмотрел на гостя с удивлением, а потом вдруг взорвался нервическим, колючим смехом.

– Чему вы смеетесь? – возмутился Орлофф.

Чехов вместо ответа захохотал еще громче. А потом, снова садясь на стул, раскрасневшийся, перевозбужденный, заметил:

– А вы гра-а-ф, оказывается, еще и антисемит!

Причем, в данном случае слово «граф», растянутое в два раза, прозвучало как насмешка.

– Я? Антисемит? С чего вы взяли? – испуганно переспросил Орлофф. – Вовсе нет. Даже напротив. У меня, если хотите знать, бабушка была наполовину еврейкой.

Чехов только махнул рукой, дескать, о чем вы, все это пустое.

– Оставьте ваши генеалогические оправдания, мне они неинтересны. А кроме того, заберите ваш альбом и попрошу вас больше не беспокоить меня подобными деловыми предложениями

Это было второй пощечиной за сегодняшний вечер. Орлофф.

стал чернее тучи. Он понял, что потерял перспективного клиента, и решил воздать актеру той же монетой.

– Как вам будет угодно, – мрачно произнес граф, кладя документы в портфель. – Но напоследок позвольте один вопрос.

Михаил Александрович равнодушно кивнул.

– Скажите, мистер Чехов, как вы представляете себе свою жизнь в Голливуде? Вам не страшно здесь умирать?

У Чехова перехватило дыхание, будто от неожиданного удара под дых. Орлофф заметил это и с воодушевлением продолжил:

– Я знаю, вас номинировали на Оскара. Правда, не дали. И не дадут, уж поверьте. Я в этой стране двадцать лет и навидался нашего брата-эмигранта. Хотите, скажу, что вас ждет?

Ксения Карловна попыталась прекратить опасную мужскую ссору, но Михаил Александрович остановил ее: дескать, пусть говорит...

– Вас вышвырнут на улицу. У вас не будет ни дома, ни имени. Все ваши ученики разбегутся и забудут о вас. Вы неудачник и аутсайдер. И знаете почему?

– Почему же? – дрогнувшим голосом переспросил Чехов.

– А вы не хотите покориться Голливуду. А он принимает только тех, кто готов играть по его правилам. И на сцене, и в жизни.

Орлофф вежливо, но холодно простился с Ксенией Карловной и вышел прочь.

В этот вечер Чехов больше не произнес ни слова. Он почувствовал жуткий приступ депрессии. Пожалуй, такой же жуткий, как в мае 1917-го, когда он сбежал прямо с репетиции Станиславского, пришел домой, лег в постель и почувствовал, что не может больше ни играть, ни думать, ни двигаться, ни дышать... Он слег на три месяца. Это был нервный срыв после гигантского творческого перенапряжения, когда энергетический максимализм молодости обернулся вдруг детской беспомощностью и страхом перед жизнью.

Сейчас, конечно, он не мог позволить себе такой «роскоши». У него было слишком мало времени, а сделать предстояло слишком много. Поэтому превозмогая приступ бессилия, Михаил Александрович поднялся к себе в кабинет, заперся там и взялся за редактуру английской версии своей новой книги-учебника «О технике актера». Он испугался, что не успеет закончить эту работу, и тогда его труд останется непонятым для многих начинающих талантливых американских актеров, а значит – и непонятыми, непостижимыми останутся и приоткрывшиеся ему великие тайны театрального искусства. И этот страх вдруг стал для него даже сильнее страха приближающейся старости и смерти.

Только ближе к полуночи Чехов снова спустился на веранду, где, закутавшись в плед, сидела за вязанием Ксения Карловна. Ночь была тихая, звездная, прохладная. Супруга довязывала ему осенний свитер и что-то тихонько напевала по-французски. Он на цыпочках подошел сзади и поцеловал ее в макушку, как делал всегда, когда первым шел спать.

– Ты знаешь, а ведь этот Орлофф тысячу раз прав.

Жена обернулась и посмотрела на него с тревогой, попробовала возразить.

Чехов ответил улыбкой:

– Не надо, голубушка. Он прав. Но главное, даже не в этом. А в том, что мне уже не страшно. Не страшно жить и умирать.

...За несколько недель до своей смерти Михаил Александрович Чехов прочел курс лекций для молодых актеров Голливуда. Возможно, это было его лучшее выступление за многолетнюю педагогическую практику. Это было его духовное завещание. Он говорил о... любви. О том, что именно любовь к людям, и вовсе не обязательно только к своим зрителям, желание дарить окружающим все лучшее, что в тебе есть – светлого, сильного, талантливого – является «главной движущей силой нашей жизни и нашей творческой работы».

Позволю себе только одну цитату из чеховской лекции:

«Тем моим слушателям, кто всё ещё склонен считать, что все эти мысли о человеческой любви являются только общим местом и совсем неприменимы на практике, мне хотелось бы сказать следующее. Работая над ролью, мы проходим через разные этапы, и на каждом из них будет присутствовать эта любовь, вдохновляя нас, давая нам советы, внося поправки, углубляя наше понимание роли и усиливая её сценическую выразительность. Мы разбираем с вами различные этапы нашей работы, и в каждой детали, в каждом моменте, в каждом мгновении будет присутствовать также и эта любовь. Она будет своего рода режиссёром внутри нас, она будет давать нам конкретные советы относительно каждой строки, которую мы произносим, каждого мельчайшего действия, и это будет значить для нас даже больше, чем те советы, которые могут давать нам наши внешние режиссёры. Это будет постоянная помощь в каждой детали, в каждой мельчайшей детали. Поверьте мне, друзья, я не взял бы на себя смелость докучать вам этой темой, если бы она была лишь общим местом. Но ваш

собственный опыт скажет вам больше, чем могу сказать вам я своими неловкими словами».

Четвертого октября 1955-го года Михаила Александровича Чехова, скончавшегося от сердечного удара, отпевали в небольшой деревянной Спасо-Преображенской церкви в Лос-Анджелесе. В той самой, где 12 лет до этого отпевали его друга и соратника Сергея Васильевича Рахманинова. Стоял такой же солнечный и теплый калифорнийский день. Но в отличие от смерти великого русского композитора кончина великого русского актера не стала даже скромной газетной новостью в России. Только десятилетия спустя на Родине решились наконец воздать должное выдающемуся соотечественнику.

В Голливуде, на кладбище Форест-Лон Мемориел (Лесная поляна), прах Чехова покоится в скромной могиле с такой же скромной надписью: Михаил Чехов. 1891-1955. И уж вовсе не нашлось места для звезды с именем Чехова на знаменитой голливудской «Аллее славы». Правда, Мэрилин Монро мечтала поставить памятник своему любимому учителю, но ранняя роковая смерть самой актрисы разрушила эти планы. И все-таки имя Чехова живет в Голливуде. Оно в созданной им школе, оно в работах его выдающихся учеников, один перечень имен которых говорит сам за себя: Клинт Иствуд, Энтони Куинн, Юл Бриннер, Ллойд Бриджес, Грегори Пек, Гэри Купер. Многие другие оscarоносные звезды, на перечень которых уйдут страницы, тоже прошли актерскую школу, основанную Чеховым. Утверждают, что больше половины всех оscarоносцев второй половины 20-го века учились мастерству по школе Михаила Чехова.

Но дело, конечно же, не в количестве. Главное, что оставил великий актер, театральный режиссер и педагог не имеет коммерческо-статистического выражения. Он подарил американскому кинематографу русскую душу. Дар, как вы сами понимаете, бесценный.

ЭЛЕОНОРА МАНДАЛЯН
Лос-Анджелес, США

Американский тезка Санкт-Петербурга

В Соединенных Штатах можно найти огромное количество городов с европейскими названиями, что вполне объяснимо и даже закономерно для страны иммигрантов. Испытывая ностальгию по оставленной Родине, люди стремятся воспроизвести милое сердцу название родного города, создавая для себя этакий слуховой фантом, иллюзорную связь с прошлым.

Должно быть именно так появились в Штатах Лондоны, Парижи, Берлины... дюжины Одесс, Санкт-Петербургов и «Москв». Как минимум, в 14 штатах США есть тезки «Москвы». Сколько их всего, никто точно не знает. 22 уже обнаружены. В основном это совсем крохотные поселения на перекрестках дорог, в иных из которых не наберется и полдюжины дворов. Но есть и побольше, в несколько сотен жителей.

То же самое можно сказать и о городах, носящих название северной столицы России. Эти населенные пункты будут размерами побольше, в среднем по 10 тысяч жителей.

Нашлись энтузиасты, пожелавшие разузнать о них как можно больше. Свои исследования они начинали с Русского географического общества, затем наведались в Генеральное консульство США, в Питере. Там поначалу лишь развели руками, мол впервые слышим о таком количестве одноименных городов. Но пообещали разобраться.

«Через несколько дней разводить руками пришлось уже нам, – рассказывает Ольга Боброва, одна из тех следопытов. – По данным Географического указателя США, в стране насчитывается 35 городов под названием Петербург, а по материалам офиса Международных информационных программ Госдепартамента США в Вашингтоне – 52! В штатах Огайо, Северная Каролина и Миссури – по 4 таких города, а в Пенсильвании – целых 5!»

Из всех американских Санкт-Петербургов (в дальнейшем для экономии места буду обходиться сокращением «С-П») самый известный, самый красивый и самый большой находится

во Флориде, в графстве Пинеллас. Этот Saint Petersburg (чаще называемый St. Pete) очень удобно устроился – вроде бы на мексиканском заливе, и в то же время защищен от его дикого нрава, спрятавшись в глубокой, замысловато изогнутой бухте тампа, на ее западном берегу. Воды вокруг и внутри сэнт-пита даже больше, чем у его российского прообраза – 55% всей территории. Если смотреть на город сверху, создается впечатление, что часть его кварталов возведена прямо на воде.

Флоридский С-П хорошо известен жителям Северной Америки и европейских стран как место, где можно прекрасно провести отпуск, развлечься и отдохнуть. В нем проживает около 250 000 человек, что делает его четвертым по величине городом Флориды и вторым в агломерации Тампа–St.Petersburg–Clearwater, с населением 2,7 млн.

До недавнего времени не было единого мнения относительно создателя города. Но стараниями нескольких борцов за истину – и русских, и американских – справедливость восторжествовала. И теперь уже достоверно известно, что заложил Санкт-Петербург во Флориде русский иммигрант, потомок старинного княжеского рода, дворянин, офицер императорской гвардии, предприниматель и литератор Петр Алексеевич Дементьев (1850-1919). Интересно получается: Город на Неве и его тезку на Тампе заложили два Петра, оба не только русские, но и родственных голубых кровей.

Непростая, полная крутых виражей, взлетов и падений, судьба этого незаурядного человека досконально прослежена писателем Б.Антоновым в книге «Петр Алексеевич – основатель Санкт-Петербурга». Родился Дементьев в семье зажиточных и образованных людей, владевших двумя поместьями (в Тверской и Новгородской губерниях), но в годовалом возрасте лишился матери, а в 5 лет отца. Его опекуном и воспитателем стал брат матери, некто А. Калитеевский, предводитель Весъегонского дворянства.

В 10 лет Петра отправили учиться в Петербург – гимназия, техническое училище, затем военная служба, которая привела его, уже в чине прапорщика, в Императорскую гвардию. Петра Дементьева ждала блестящая военная карьера. Но в 20 лет, в связи с женитьбой, он вышел в отставку, вернулся в свое имение и честно пытался, по примеру родителей, стать помещиком, отдавая себя семье, скотоводству и сельскому

хозяйству, попутно принимая активное участие в земском движении. Был избран предводителем дворянства и председателем земской управы Весьегонского уезда. Так прошло 11 лет.

Что побудило зажиточного, обремененного семьей помещика все бросить и совершить марш-бросок на другой конец земного шара, неизвестно. А только в 1881 году он оказался в Штатах – один, без английского и с \$2 тыс в кармане. (Есть версия, что Дементьев бежал от возможных преследований после бомбы, брошенной 13 марта 1881 г в царя Александра II.)

«Я ехал в Америку, как в последнее убежище, – весьма пространно написал он позднее, – рассчитывая сделаться там заурядным фермером, пахать землю, и физическим трудом переработать нравственно изломанную натуру...»

Осесть было проще всего во ФЛОРИДЕ, которая в ту пору только заселялась, и земли там стоили дешевле. Оказавшись в местечке Лонгвуд, что совсем близко от современного Орlando, Петр купил 80 акров земли под апельсиновую рощу и вошел в долю небольшого лесопильного предприятия, после чего в кармане у него осталось \$40. А тут, практически следом за ним, приехала жена с четырьмя детьми (старшей 8 лет, младшей 6 месяцев). Семья бедствовала 2 года, питаясь апельсинами и лесными орехами, ютясь в 2-комнатной хибаре, с фанерой на окнах вместо стёкол.

Петр работал как каторжный – с 7 утра до 10 вечера, расчищая участок под плантацию и сажая апельсиновые деревья. Когда сад был наконец заложен, он включился в работу на лесопилке. Дела потихоньку пошли на лад. Он выкупил лесопилку, потом открыл деревообрабатывающую и мебельную фабрики и торговое предприятие, начал брать подряды на строительство домов. Стал хозяином крупной лесной и строительно-подрядной фирмы с годовым оборотом свыше \$1 млн.

Флорида заселялась ускоренными темпами, рос и Лонгвуд, практически полностью построенный россиянином, превращаясь в город. Петр Дементьев был избран его первым мэром, выдвигался кандидатом в сенаторы от республиканской партии. Только звали его теперь уже Питер Деменс.

Для отправки леса, которого требовалось все больше, нужна была железная дорога, и Петр, став совладельцем местной железнодорожной компании, взялся за ее строительство, проложив первые 3 мили – от Лонгвуда до Окланда, с вокзалом в русском стиле. Он вынашивал идею связать судоходную реку Сент-Джонс с Мексиканским заливом и заложить там новый город, а для этого нужны были нешуточные средства, которыми Петр не располагал. Ему удастся привлечь инвесторов с «Большой Земли», его железная дорога становится все длиннее.

«В течение последних 2-3 месяцев, когда пришлось класть рельсы, мы работали и днем, и ночью, – пишет в своих воспоминаниях Дементьев. – Лунные ночи во Флориде, почти также светлы, как петербургские летние, а в темноте мы зажигали смолистую сосну, освещающую дорогу на большое расстояние. К концу постройки я совсем выбился из сил, проспал целые сутки, и долго потом не мог окончательно поправиться.»

В 1888 г, когда первый поезд достиг полуострова Пинеллас, у бухты Тампа, Питер Деменс приступил к реализации своей главной мечты, основав там для начала небольшой поселок и назвав его Санкт-Петербург.

К закладке нового города Петр подошел со всей серьезностью и рвением, привлек компаньонов, архитекторов, составил генеральный план застройки и лично утвердил его в соответствующих инстанциях. Он задумал сделать свой город на Тампе похожим на Город на Неве, на знаменитый Васильевский остров, в частности. В С-П прокладывались непривычные для Америки тех лет широкие прямые улицы, бульвары, парки и каналы, с доминирующей ролью воды и зелени в городском ландшафте.

Железнодорожный вокзал, построенный Петром, воспроизводил, в визуальном плане, Царскосельский вокзал Санкт-Петербурга (он же Витебский, Детскосельский). Решив вопрос с железной дорогой, Петр занялся обеспечением морского сообщения. Он начал строительство гавани и причалов для океанских судов, расширил и углубил бухту, все больше обрастая долгами и разоряясь. Его скромного капитала, конечно же, не могло хватить на осуществление столь грандиозных замыслов, хотя оборудование и материалы он получал в кредит. Местные промышленники и финансисты

целиком и полностью доверяли Питеру Деменсу – до тех пор, пока его не подставили компаньоны, втянув в финансовые авантюры.

С этой поры для русского дворянина начинается очередной черный период, длиной в 16 лет. Бесконечные судебные тяжбы. Железную дорогу он отдает кредиторам за долги. И, хотя суд его полностью оправдал, он уезжает из Флориды «куда глаза глядят» – сначала в Северную Каролину, потом в Калифорнию. Оседает в Лос-Анджелесе уже до конца своих дней, снова начиная жизнь практически с нуля. Покупает ранчо, выращивает апельсины, занимается литературной деятельностью.

Как литератор Дементьев внес весьма весомый вклад в распространение знаний о России в Америке и об Америке в России. В частности, перевел на английский почти все произведения Лермонтова, сотрудничал с журналами «Вестник Европы», «Современник».

Осенью 1919 г в LA Times появилась статья: «Капитан Петр А. Деменс, известный русский патриот и писатель, а также прославившийся в США финансист и строитель железных дорог, умер вчера в своем владении в Алма Лома. Капитан Деменс был широко известен, и его почитали как демократа из аристократов...» И ни словечка о St. Petersburg.

С отъездом Деменса из Флориды его попытались там забыть. В основатели города записали американца, отставного генерала Джона Уильямса, владевшего участком земли на побережье бухты Тампа. Ну а подоплека названия? Так, недоразумение.

«Город основан Джоном С. Уильямсом (John C. Williams) из Детройта, который купил землю в 1876 г, и Питером Деменсом (Петром Дементьевым), который построил железнодорожную станцию в 1888 г», – записано в Википедии. При этом на Дементьева есть link, по которому можно узнать о нем все подробности, а на Уильямса нет. И вообще нет никакой информации об этом человеке, кроме того, что он, как совладелец земли, требовал назвать город Детройтом, но пришло уведомление, что, по запросу компаньонов Деменса, он уже зарегистрирован, как St.Petersburg (в 1892 г). «Детройтом» назвали отель – одно из первых зданий в городе.

Люди, знавшие истинное положение вещей, не успокоились пока не добились, чтобы точки были расставлены по своим местам. Русские и американские исследователи подняли архивы и восстановили всю цепочку событий. Большую работу в этом направлении проделали русист Билл Парсонс, преподаватель Эккерд-колледжа С-П, член исторического общества С-П, и А. Сокольский, профессор Южно-Флоридского университета в Тампе.

И, как результат, в 1977 г. Городской совет единогласно признал основателем города П.А. Дементьева, после чего был открыт парк «Деменс Лэндинг», а в парке воздвигнут памятник, на котором написано: «В честь Петра Деменса (Дементьева), основавшего в 1888 г город St. Petersburg». Так что статус основателя города отныне и на века юридически и документально закреплен за Петром Дементьевым.

Ему до сих пор посвящают книги и статьи американцы и русские. Историк Карл Грисмер так начинает свою монографию: «Петр А. Деменс, родившийся в России, бесспорно должен считаться отцом народа С.Петербурга во Флориде».

В 2003 г писатель А.Попов выступил в прессе со статьей: «Санкт-Петербург в культуре русского зарубежья: город на берегу Мексиканского залива», начинавшейся словами: «К плеяде замечательных россиян безусловно можно добавить и самого Петра Алексеевича Дементьева – русского самородка, прославившего Россию на Американском континенте.»

Что же касается детища русского самородка, то для полнокровного развития города с самого начала ему были созданы все необходимые условия. За минувшие сто с лишним лет Сэнт-Пит стал не только хорошо известным, но и любимым городом в стране.

Здесь находится один из академических центров штата, отделение Университета Южной Флориды, С-П-ский колледж, Институт Пойнтера (школа для журналистов), а также – крупнейший центр морских исследований юга США. В нем много частных картинных галерей, музеев – Музей Истории С-П, Музей Холокоста, Международный музей Флориды (подразделение Смитсонианского института), детский музей Great Explorations («Великие Открытия»).

И, наконец, гордость страны – Музей Сальвадора Дали, в котором собрана лучшая и самая обширная (за пределами Родины гениального сюрреалиста) коллекция его работ – от ранних, в стиле импрессионизма и кубизма, до более поздних, «классических» произведений, включая такие широкомасштабные полотна, как «Открытие Америки Христофором Колумбом». Знаменитый на весь мир музей находится на самом берегу залива Тампа, в живописном парке. А в Музее изящных искусств собраны работы известных французских импрессионистов: Моне, Ренуара, Сезанна и др., а также – старых мастеров и известных американских, европейских, азиатских художников.

Сегодня С-П занимает площадь в 345 кв км. В его архитектуре преобладает стиль средиземноморского возрождения. Город превратился в курортную столицу штата, в одно из лучших мест отдыха Северной Америки, весьма популярное среди пенсионеров и жителей Нью-Йорка, Детройта, Чикаго.

Великолепные белопесчаные пляжи, теплые воды залива с трех сторон и 360 солнечных дней в году. Море солнца, зелени и воды – за что С-П называют «Солнечным городом». Каждый год здесь проходит до тысячи культурных мероприятий – от «праздников еды» до джазовых фестивалей и шекспировских вечеров.

Среди городских парков самые известные: «Затонувшие сады», с богатой коллекцией тропической флоры и фауны, и парк у красивейшего Зеркального озера – основного источника питьевой воды в городе и излюбленного места отдыха его жителей.

С 1924 г началось строительство длиннющих мостов через бухту, соединивших С-П с Тампой и Брейдентоном. А затем появилось строительное чудо XX века, новый символ Флориды – вантовый железобетонный SUNSHINE SKYWAY BRIDGE («Небесно-солнечный мост»). Став самым длинным в Западном полушарии подвесным мостом (почти 9 км), он получил 14 наград за дизайн. Его строительство обошлось в \$245 млн.

В том месте, где под ним проплывают океанские лайнеры, мост круто выгибает спину, взлетая над водой на высоту 19-этажного дома. Мчась по его полотну машинам приходится карабкаться вверх, как в гору, и, перевалив через «хребет

моста», устремляться вниз. Когда кругом вода – это страшновато.

Главной достопримечательностью города и туристическим центром считают Пирс в заливе Тампа, построенный еще в конце XIX века. Это и не пирс даже, а квадратная площадка на воде, к которой ведет широкая и очень длинная дорога на сваях (общая длина 800 м). Здесь находятся знаменитая 5-этажная «перевернутая пирамида», с которой открывается панорамный вид на город и залив, а также небольшой аквариум, многочисленные кафе, рестораны, магазины, картинные галереи и пр.

Часто у Пирса стоит на якоре (в промежутках между съемками) действующий фрегат HMS Bountу – копия английского военного корабля XVIII в. Корабль был воссоздан в 1960-м для съемок фильма «Мятеж на Баунти». 40 лет спустя его снова «пригласили» в Голливуд, на сей раз для участия в «Пиратах Карибского моря» («Сундук мертвеца»). Знаменитым «киногероем» можно не только полюбоваться, но и посетить его, встретившись на борту с капитаном пиратского судна «Джеком Воробьем».

St. Pete в 3 раза моложе российского Питера и в 10 раз меньше. Они на разных полушариях и в разных странах, и все же между ними, помимо имени, много общего, что побудило оба города наладить тесные культурно-дружеские контакты. Во флоридском С-П проживает более тысячи русских. В 1948 г. здесь была основана Православная община. Центром ее духовной жизни и украшением города является храм святого мученика Андрея Стратилата, имеющий самый большой русский православный приход на всем юге США.

Есть в городе и весьма влиятельный Русско-Американский клуб, играющий большую роль в сохранении русской культуры и традиций. Поэты обоих городов создали поэтическое содружество, результатом которого стали взаимные переводы и публикации, фестивали на берегах Мексиканского залива и на берегах Невы. (В Санкт-Петербурге старшем была издана книга стихов поэтов Санкт-Петербурга младшего: «Исцеление памяти» – в переводе их русских коллег) Контакты эти не только продолжают, но и набирают силу.

Конкурс сатиры и юмора журнала ЧАЙКА 2015:
«Противостояние России и Америки»

ЯКОВ ЛОТОВСКИЙ
Филадельфия, США

**Ногой открывающий двери. Из цикла «Эмигрантские
картинки»**
Рассказ

Мой приятель Влад Езепов, питерский интеллигент, а нынче развозчик пиццы, принимал свой утренний душ, когда вдруг его псинка мексиканской породы чiuава залилась пронзительным лаем. Собачка у него видом странная – рыженькая с белым мехом вокруг головы, будто опереньем, напоминающем жабо. Но главное в ней необыкновенная чуткость и звонкость. По этой причине у Езеповых никогда не запираются двери, и электрический звонок им не нужен. Гость еще на подходе, а пес уже заходится залиvistым лаем. Больше того, не оставляет он без своего скандального внимания и тех, кто посещает соседние дома.

Вот и сейчас вдруг залился, да еще с каким-то особым остервенением. Езепов услышал, что открылась дверь квартиры, и собачий лай стал совсем пронзительный. Кого это бог принес не ко времени, подумал Езепов. Сквозь лай он расслышал, что кто-то вошел в квартиру и даже подал голос:

– Рома!

Езепов поторопился из ванной, наскоро натянув трусы и бросив полотенце на шею. В гостиной он застал незнакомого пожилого человека в роговых очках. Видом он был шарообразен, коротконог и короткорук. Про таких говорят: поперек себя шире. Куртка из дутой синтетики делала его совсем круглым. Этаким большой колоб-колобок диаметром в полтора метра. Владу даже подумалось, что этот кругляш вполне мог бы передвигаться качением. Очки, правда, мог бы повредить. Как он в дверь прошел?

Колобок, не поздоровавшись, задал Езепову вопрос:

– Рома дома?

Деликатный Езепов, насухо обтирая голову, некоторое время старался вникнуть в сам вопрос – к тому же невольная рифма затрудняла, – а, вникнув, отвечал, что-де никакого Ромы здесь нет и быть не может.

– Как не может? – возмутился пришелец.

– Нету, – будто оправдываясь, повторил Езепов.

– Извините, – добавил он, видя, что гость смотрит на него с подозрением, точно чужим здесь был не он сам, а Влад.

– Где Роман? – еще сильнее возмутился гость.

– Нету здесь никакого Романа, – терпеливо повторил Езепов.

– Как нету?! Что я здесь – в первый раз?! – совсем уж вознегодовал тот. – Рома... Он должен меня постричь. Мы договорились по телефону.

– Извините, нету здесь и не было никаких Ром, Романов и Ромиков, – чуть повысил голос Езепов.

– Между прочим, этот Ромик т а м был подполковник, – строго одернул его гость.

«Подполковник? Парикмахер? – удивился Влад, но тут же обернул на себя: а я – что? Бывший вузовский преподаватель – пиццу развожу».

– Говорю вам, нету здесь ни полковников, ни подполковников. И здесь не стригут.

Тут мой приятель Езепов малость соврал. И стричь он умеет. Стрижет своих. У него даже есть парикмахерский набор – ножницы, машинка, фартук, чистые простынки, чтоб заправлять за ворот. Не раз меня стриг. Парикмахерам не всегда удается совладать с моей головой. Их поджидает носорожья складка, что залегает у меня под волосами на затылке, о которой я уже писал. А он справляется.

– О чем вы говорите?! Я здесь стригусь не в первый раз! – стоял гость на своем.

И тут колобок отколол номер: вдруг пошел-покатился по коридорчику в сторону спален, подался искать подполковника Рому, который, видимо, стрижет его в той части дома, такого же, как езеповский – тут вся улица ими уставлена.

– Там никого нет, – крикнул ему в спину Езепов. Не то, чтобы крикнул, просто повысил голос. Можно только удивляться его деликатности и терпению. На его месте я дав-но бы вспылал. Но такой уж выдержанный он у меня – подлинный интеллигент, не мне чета.

Пришелец, не придавал значения его словам. Он пустился открывать двери. Открыл одну, другую, в обе спальни. Его настойчивости можно было позавидовать, если бы речь шла не о чужой квартире. На обратном пути открыл дверь гардеробчика и даже стенного шкафа. Такой вот упорный попался человек! Нет чтобы пораскинуть умом: с чего бы это быть в Роминой, как он считал, квартире почти голому молодому человеку. Как если бы искомый Рома, кроме парикмахерских услуг, оказывал услуги, ну скажем, по массажу. Или чего похуже.

– Где же он? Мы же договорились! – совсем уж вознегодовал гость, продолжая обследовать квартиру строгими глазами, увеличенными стеклами очков. Уж больно строг он для колобка, которому надлежит быть веселым и беспечным. Этакий черствый колоб. Зачерствелый в житейских схватках.

Возмущение его выглядело настолько праведным, что мой приятель, рефлексирующий питерский интель, вдруг сам на минуту усомнился, не в Роминой ли он квартире, и невольно озирнулся.

Но тут Езепову пришел в голову счастливый довод.

– А у вашего Ромы собака есть?

И Езепов показал рукой на все еще лаявшего своего чиуаву.

Гость перевел взгляд на собаку.

– Что вы хотите этим сказать? – насторожился он.

– Только то, что сказал: есть ли у вашего Ромы такая собака?

Колобок подумал.

– Ну, нет у него такой собаки. Что из этого?

Такой собаки, конечно, ни у кого и быть не могло. Дело в том, что езеповский пес не совсем чиуава. Хотя именно так его отрекомендовали в магазине, когда продавали щенком. Слишком рослый для этой породы. Подсунули помесь. Выросла довольно крупная собака со странным нравом – очень злая и трусливая. Но они с женой и такую ее полюбили. Жена вовсе души в ней не чаяла.

– У Ромы никаких собак нет, – твердо сказал пришелец.

Он обо всем говорил твердо.

– Значит, что? – сказал Езепов по-учительски, как это делал некогда на лекциях, давая возможность студентам самим сделать вывод.

– Что? – не понял гость.

– Значит, здесь Рома не живет, – помог ему Езепов.

И довольный собой, стал ерошить полотенцем мокрые волосы.

Надо сказать, сценка чем-то напоминала картину Пикассо «Девочка на шаре». То же соотношение фигур – высокий, нагой, гибкий Езепов и приземистый, широкий гость. Шаровидность гостя усиливала сходство. Даже собачка тут же. Или у Пикассо нету там собачки? Если нет – зря.

Гость угрюмо уставился на Езепова, силясь осознать столь убедительный довод.

– Я не мог ошибиться.

Он был из тех, которые никогда не ошибаются.

– Ошибиться может каждый, – заметил мой приятель, снисходительно усмехнувшись.

– Только не надо делать из меня дурака! – вдруг вспыхнул гость. – Я вам не какой-нибудь! Я в Бельцах был директором таксопарка. У меня в подчинении было четыреста человек. Я ногой дверь открывал к председателю горисполкома. Я не простой какой-нибудь. Я и в Кишиневе ногой...

– Извините, у вас номер телефона есть, к кому вы шли? – позволил себе Езепов перебить директора таксопарка в момент, когда тот стал набирать воспоминательные обороты.

Езепов не раз слышал здесь от наших эмигрантов про ногу, которой они открывали двери начальственных кабинетов. Как им удавался такой номер – открыть ногой высокую, резную дверь в кабинет к большому чину? Особенно, если дверь открывалась на себя, в приемную то есть. Довольно акробатический трюк. Без партбилета в кармане не проделаешь. О, мой приятель хорошо знал эти двери, нахлебался по горло в этих кабинетах и приемных. Оттого и уехал из России. «С моей дверью ему было проще», – подумал он.

Бывший директор недовольно взглянул на Езепова, но все же по инерции завершил:

– Меня там все уважали!

– Что же вы в Америке-то оказались? – не удержавшись, пробормотал Езепов.

Благо тот не слышал из-за шуршания куртки, вызванного поиском и извлечением из внутреннего ее кармана клочка бумаги.

Езепов надел на нос очки. На бумаге стоял номер телефона.

– Это не наш телефон, – с вежливым сожалением сказал он, возвращая гостю клочок.

Гость клочок не принял.

– Тогда позвоните по этому номеру, – приказал он.

Езепов пожал плечами и набрал номер. На том конце взяли трубку.

– Здравствуйте, Роман, – сказал Езепов. – Прошу меня извинить, но ваш приятель по имени... э-э... – он вопросительно посмотрел на колобка. – Как вас, простите?...

– Лазарь.

– ... по имени Лазарь, забрел в мой дом и настойчиво ищет здесь вас. Он считает, что этот дом – ваш. Он в этом даже уверен. Говорит, не раз бывал у вас здесь.

Голос в трубке попросил передать ее пришельцу.

– Рома, послушай, – сказал гость в трубку. – Тут какой-то а ид говорит, что ты здесь не живешь.

Езепов хмыкнул: а ид. Евреи так добродушно называют друг друга в своем кругу. То есть гость считает его евреем. Хотя Езепов русский, без кавычек. У себя в Питере он, возможно, возразил бы. Но тут, в Штатах, «еврей» вовсе не звучит уничижительно. Вроде даже наоборот. Да и в Питере он бы не шибко возражал. И все же нельзя не удивиться долготерпению моего приятеля. Я бы на его месте давно бы сорвался на грубость и указал бы гостю на дверь. Натравил бы на него малопородную чиуаву. Вплоть до того, что спустил бы с лестницы. Не посмотрел бы, что он еврей и пожилой человек. (Автор и сам, между прочим, пожилой еврей. Если не сказать старый.)

На том конце провода что-то такое произнесли, что гость несколько озадаченно взглянул на Езепова.

– Какой это номер дома? – строго спросил колобок Лазарь, готовый поймать хозяина квартиры на обмане.

Езепов назвал.

– А мне нужно 2023.

Он и это объявил уличительным тоном. Будто Езепов его сюда привел.

– Нужно, так валите туда, – грубовато сказал мой деликатный приятель. Даже его терпению приходил конец.

– Что ты мне грубишь! У меня в Союзе таких, как ты, было в подчинении четыреста человек! Я в Бельцах ногой открывал...

Езепов на миг закатил глаза.

– Но тут же не Бельцы, – сказал он.

И прибавил:

– И не советская власть.

– А что тебе плохого сделала советская власть? – вскинулся колобок.

– Ого! Вот тебе и раз! Вон какого лазаря запел! – про себя удивился Езепов, хотя и не впервой слышал здесь подобные речи от советских эмигрантов-беженцев.

– Странно, – сказал он вслух.

– Что тебе странно? – расслышал гость на этот раз.

– Странно слышать это здесь, в Америке.

«А как же быть с правами, человека, с государственным антисемитизмом, от которого вы уехали из Союза? – удивился Езепов про себя. – При том, что советских этих стариков, окружают здесь заботой, кормят, лечат, обихаживают, как претерпевших от властей. А их послушать – любую дверь ногой там открывали. Конечно, понять их можно – там они были молоды. Может, кое-кто и в самом деле открывал чью-то дверь молодой своей ногой. Им здесь недостает их молодости, хотя и жили там украдкой, ходили с оглядкой, всегда готовы к неприятностям. А теперь: «что тебе плохого сделала Советская власть?» Похожие вопросы задавали такие же вот евреи четыре тысячи лет назад уходившие из египетского плена. «Что тебе плохого сделал фараон?» Хвастали, что ногой открывали египетские двери. Неспроста Моисей водил их сорок лет окольными путями, чтобы выветрился из них рабский этот дух».

Вместо всего этого Езепов спросил:

– Что же вы в Америке-то оказались? Тоже по ошибке?

– Я ошибок не делаю. Я к сыну переехал.

– Как не делаете? Вот же сделали: ко мне забрели... Ну, а сыну что плохого сделала советская власть?

– А это не твоего ума дело! – отрезал колобок, развернулся и покатился прочь на выход. С шорохом теранулся курткой, протиснувшись сквозь дверной проем – и был таков.

Прежде чем возвратиться к своему утреннему туалету, Езепов чуть отодвинул штору и посмотрел в окно. Он видел, как гость прежде чем сесть в машину, еще раз окинул дом внимательным взглядом и в недоумении развел короткими ручками. Все не верил, что обознался. Такой вот несгибаемый советский человек! Гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей!

ИЛЬЯ КРИШТУЛ

Москва, Россия

Резюме соискателя на получение должности главного юриста Гусева Б.С.

Я, Гусев Б.С., родился в тихом и зелёном городе Москва в 60-х годах прошлого века, где и живу почти в центре по индексу 105043. Уточнить дату рождения можно у моего нынешнего работодателя, директора всего общепита в кафе «Лакомка», хоть он и не говорит по-русски, но человек очень хороший и паспорт обещал вернуть. Участковые (милиционер и доктор Сергей Олегович) мною в известность по поводу паспорта поставлены, а я, в свою очередь, поставлен ими в известность на учёт в какое-то заведение с окнами, они сказали, что это биржа труда. Непонятно только, почему на бирже труда мне колют болезненные уколы и заставляют пить несладкие таблетки, а из работы предложили только мыть полы в женском туалете, на что я с радостью согласился, но до обеда, потому что потом я в «Лакомке» нужен, там тоже полы после обеда грязные, посетители столько грязи нанесут, что ужас.

Школу я окончил в 1998 году уже разведённым мужчиной и сразу поступил на юридический факультет МГУ на должность слесаря-сантехника. Окончив в 2000 году МГУ на той же должности за мелкую кражу, я начал работать главным юристом, и уже в 2002 году в списке самых богатых людей мира, составленном журналом «Forbes», занял почётное 5 879 432 574 место с годовым доходом 4156 рублей 54 копейки, на

53 копейки опередив свою жену-сожительницу Зину, тунеядку и проститутку. За время работы главным юристом я сменил 145 организаций и принял участие в 145 судебных процессах, которые проиграл, приобретя огромный судейский опыт. Этот опыт пригодился мне в моих последующих 57 процессах, которые я тоже проиграл, опять приобретя опыт, сын ошибок трудных (да, стихи я тоже пишу). После этого главным юристом в Москве меня на работу не брали даже дворником на рынок, зато хорошие случайные знакомые предложили должность главного бухгалтера в компании «Иванкорп», которая занималась всяким бизнесом. Спустя три месяца там что-то случилось и компания «Иванкорп» прекратила заниматься всяким бизнесом, а меня отправили в важную командировку в Читинскую область, где я и провёл последующие три года общего режима с конфискацией. Во время командировки я познакомился с одним знаменитым экономистом, который охотно начал заниматься со мною математикой, экономикой и юриспруденцией. Через три минуты после начала занятий знаменитый экономист предложил мне выкопать подземный туннель до Израиля и покинуть Читинскую область с целью продолжения образования в Иерусалимском университете, так как я чертовски талантлив. Копать я начал незамедлительно, потому что когда ещё побываю в Израиле, но ко мне сразу подошли неизвестные мужчины в форме, поинтересовались здоровьем и сделали физическое замечание резиновыми дубинками, после чего я попал в больницу и в командировку уже не вернулся, а вернулся в Москву на свою жилплощадь по указанному выше индексу с целью получения инвалидности, которая у меня и так была после падения с высоты собственного роста по пьянке во втором классе. Из документов к этому времени у меня были свидетельство о рождении моей жены-сожительницы Зины и её же детские рисунки, по которым устроиться на работу оказалось очень сложно. Меня последовательно не взяли главным юристом в Кремль, в патриархию, в Думу и в ФСБ, поэтому я и вынужден работать в кафе «Лакомка» просто юристом, но со странными обязанностями.

Уважаемый Барак Обамович! Взяв меня на работу главным юристом США, Вы приобретёте не просто ценного и толкового работника, имеющего огромные связи в деловом мире

Первомайской улицы (Ваня с 28 квартиры, Руслан из 33), но и кристально честного человека, любящего рэп, баскетбол, афроамериканцев и всегда стоящего на страже всего. Ведь люди типа меня, входящие в список самых богатых людей журнала «Forbes», о чём я уже писал выше, воровать прекращают, так как уже нечего и незачем, хотя лишний рубль никогда не помешает. И не забывайте, что я приеду к вам из страны, в которой ведётся суровая борьба с коррупцией и за взятки сажают всех, невзирая на должности. Даже депутата за взятку могут посадить на место мэра или губернатора, а самого мэра или губернатора сошлют в ссылку в далёкую, а если взятка большая, то и в тёплую страну.

И последнее. Зарплата в 4 (зачёркнуто) 5 (зачёркнуто) 7 тысяч рублей (зачёркнуто) долларов (зачёркнуто) евро (зачёркнуто) 8 тысяч в какой-нибудь достойной меня валюте, плюс еда, одежда и проживание у Вас в Белом Доме меня вполне устроит. Жену-сожительницу Зину я могу взять с собой, но если у вас там есть чего поновей, посимпатичней и без запаха, в наказание – она знает за что – оставлю в Российской Федерации и буду навещать по средам чартерными рейсами, но не каждую неделю, я же не железный. Резюме это передаю с okazji через одного знакомого грузина по кличке Армянин, его всё равно из России высылают, и он в Ваши края собирается поработать. Вы ему там помогите первое время, но барсетки, свою и жены, подальше держите, он в основном по ним работает. Прошу отметить мою изумительную грамотность, которой я достиг, ежедневно анализируя сказки народов Севера в туалете на Ярославском вокзале. Жду от Вас положительного решения по телефону 367-47-21 добавочный 2, Ирина, звонить после обеда, позвать Нину Сергеевну, а она уже позовёт меня, если я не пьяный. С уважением, искренне Ваш, Гусев Б. С., родившийся в тихом и зелёном городе Москва в 60-х годах прошлого века.

ЧАСТЬ 4
НАШИ ЮБИЛЯРЫ



Поэту Науму Коржавину 14 октября 2015 исполнилось 90

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ
Большой Вашингтон, США

Наум Коржавин: тяжесть на смертных плечах
Биографический очерк

Наум Моисеевич Коржавин с годами все больше походит на Сократа из платоновского «Пира». Тот, по словам Алкивиада, напоминал силена, внутри которого можно обнаружить изваяния богов. Под внешней коржавинской «некрасивостью» таятся невидимые сокровища, родственные тем самым сократовским «изваяниям богов».



Наум Коржавин

Что-то сократовское есть и в том, как стойко переносит Наум Моисеевич жизненные невзгоды; поневоле думаешь, что рубленые строчки из раннего «Вступления в поэму» (1952) – не

столько напутствие для современников, сколько осознанная и выношенная программа для самого себя.

Нету легких времен.
И в людскую врезается память
Только тот,
кто пронес эту тяжесть
на смертных плечах.

Так и несет Коржавин эту тяжесть через всю свою жизнь...

Наум Моисеевич Мандель (Коржавин – литературный псевдоним) родился в 1925 году в Киеве. В семье Манделей мать работала зубным врачом, отец – переплетчиком, в роду отца был цадик, что в еврейской среде почитается. Родители звали Наума Эма, Эмочка, Эмка – имя впоследствии подхватили друзья и близкие люди. Школьник Эмка Коржавин был сильно близорук, не очень ловок, верил в революцию и любил Маяковского. Писал стихи – лет с тринадцати. А в шестнадцать, не закончив школы, навсегда покинул родной Киев – началась Великая Отечественная. Эвакуация из Киева в самом начале войны спасла семью Манделей от Бабьего Яра. Родственники – дяди и тети, – оставшиеся в городе, погибли от пуль фашистов и украинских полицаев 29-30 сентября 1941 года в числе прочих «жидов города Киева».

Мандели эвакуировались на Урал, в город Сим Челябинской области. Оттуда в 1944 году девятнадцатилетний Наум Мандель прибыл в Москву, чтобы поступить в Литературный институт имени Горького. Со второй попытки он был туда принят. С 1945 по 1947 год Эмка Мандель учится в Литературном институте имени Горького; он много пишет, посещает литературные вечера, по городу расходятся его стихи и экспромты. Тогдашний его товарищ по общежитию Владимир Тендряков в написанном в 1971 году рассказе «Охота» (опубликован через семнадцать лет, уже после Перестройки, в журнале «Знамя») так рисует первокурсника Манделя: «Каждый из нас – кто таясь, а кто афишируя, – претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали – Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.



Наум Коржавин. Скульптурный портрет

Он писал стихи и только стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка – оды, сонеты, лирические раздумья... Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профессор не выдал ему ордер на валенки».

Приведу еще один выразительный абзац:

«Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году!), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствует косноязычной прозой и изумительными стихами».

Любопытно, что в этом ретроспективном портрете, написанном дружеской рукой, каждый знавший Коржавина в один из этапов его жизни, отыщет нечто «родовое», типично «коржавинское».

Слухи о молодом, необычном, подающем надежды поэте распространялись в литературных кругах; чувствуя себя «наследником революции» и с болью наблюдая ее червоточины, юный студент хотел об этих червоточинах писать. Так появляются строчки поэмы о 1937 году, о позорном дне «московской паники» 16 октября 1941 года, далекий от хвалебного портрет Сталина: «суровый жесткий человек/Не понимавший Пастернака». В послевоенной сталинской Москве эти темы и такой взгляд были под запретом. Реакция Эмки Манделя на действительность, хотя и говорит он о своем «сталинизме» в те годы, отличалась свободой и спонтанностью, а время требовало повышенной осторожности, оглядчивости, политического лавирования.

В конце 1947 года 22-летнего студента Литинститута Наума Манделя увели из общежития представители органов госбезопасности. До сих пор Наум Моисеевич не понимает, за что был тогда арестован, формулировка приговора гласила: «за чтение стихов идеологически невыдержанного содержания». Просидев восемь месяцев на Лубянке, Наум Мандель был осужден постановлением Особого Совещания при МГБ и приговорен к ссылке по статье 7-35 Уголовного кодекса как «социально опасный элемент».

С 1948 по 1951 год провел в сибирском селе Чумаково. Ссылные должны были сами себя содержать. Непривычный к сибирским холодам и мало приспособленный к сельскому быту, Наум жил на те небольшие деньги, что присылали ему из Киева родители: трехсот рублей вполне хватало на сносное существование, при котором хлеб и картошка составляли дневной рацион.

Важный этап в жизни юноши представляют три последующих года, проведенные в ссылке в Караганде. В эти годы поэт активно сотрудничает с газетой «Комсомолец Караганды» и работает в газете «Социалистическая Караганда».

Городу шахтеров посвящены проникновенные строки в позднейшем, исполненном ностальгии стихотворении

«Современники» (1962). Здесь создаются такие ставшие хрестоматийными стихотворения, как «Вступление в поэму» (1952), «Церковь Покрова на Нерли» (1954), «Осень в Караганде» (1954), лирические стихи «Мне без тебя так трудно жить» (1954), «Ты разрезаешь телом воду» (1954). В Караганде поэт женится на Валентине Голяк. Брак продолжался с 1953 по 1964 год.



Наум Коржавин и Станислав Рассадин. Тамань, 1960

В 1955 году в семье родилась дочь Елена. В шахтерской Караганде Наум закончил Горный техникум и получил диплом горного мастера.

В сибирские и карагандинские годы идет процесс осмысления понятий «Россия» и «русский народ», поиск поэтом своей духовной идентификации. В мемуарах «В соблазнах кровавой эпохи» (2005) много страниц посвящено этому времени – поэт познавал тогда свою страну, видел ее «изнутри» в один из непростых витков ее истории. Одним из результатов этого процесса, продолжавшегося долгие годы, стало принятие Коржавиным православия в 1991 году.

Однако известнейшее стихотворение о церкви Покрова на Нерли было написано им за 37 лет до того, задолго до воцерковления, в период государственной «борьбы с религией»,

когда в церквах хранились дрова и травой зарастала дорога к Храму.

В те же карагандинские годы создано стихотворение «Смерть Сталина» (март 1953), синхронный отклик на эпохальное событие. И опять Коржавин выносит «вождю народов» свой собственный приговор, не дожидаясь спущенных сверху указаний: «... к правде ложь не может привести». Кровавая сталинская эпоха, по Коржавину, таила в себе «соблазны», от которых не ушел и сам поэт. К таким соблазнам относит он приверженность идеалам досталинской «революционной» эпохи, приводящим к «оправданию бесчеловечности». По признанию Коржавина, окончательно свободным человеком (имеется в виду свобода от коммунистической идеологии) он осознал себя позже, в 1957 году.¹⁰



Наум Коржавин

¹⁰ См. Наум Коржавин. Предисловие автора к книге «Время дано». М., Художественная литература, 1992, стр. 4

Смерть Сталина повлекла за собой амнистию, в 1954 году семья Манделей переезжает в Москву

После XX съезда, в 1956, Коржавин был реабилитирован, после чего восстановился в Литературном институте имени Горького. Между поступившим на первый курс 20-летним Эмкой Манделем и закончившим обучение 34-летним Наумом Коржавиным пролегла огромная временная дистанция, однако зрелый выпускник во многом остался тем же Эмкой, наивно верящим в добро и мораль, имеющим свое, независимое от конъюнктуры мнение.

Наступало новое время, названное Эренбургом «оттепелью».

Коржавин не любит, когда его называют «шестидесятником», не считает себя причастным к этому общественному и художественному явлению, порожденному иллюзорной верой в грядущее – после сталинского лихолетья – обновление жизни. Между тем, все его ближайшее московское окружение в 1950-1970-е годы состояло как раз из тех самых людей, которых его друг Станислав Рассадин окрестил «шестидесятниками» (слово вошло в обиход после одноименной рассадинской статьи, прогремевшей в конце 1950-х).



Наум и Любовь Коржавины с Владимиром Войновичем. Бостон, 1982

В «Книге прощаний» Рассадин называет имена их общих с Коржавиным друзей: Натана Эйдельмана и Юрия Давыдова, Виктора Некрасова и Александра Галича и, конечно, Булата Окуджавы. Дружба связывала Коржавина с Григорием Чухраем, Владимиром Максимовым, Владимиром Войновичем, Лазарем Лазаревым и Бенедиктом Сарновым.

Круг общения поэта был исключительно широк и включал не только писателей и деятелей культуры, но и ученых: историка Александра Зимина, астрофизика Виталия Гинзбурга. С середины 1950-х до середины 1960-х Коржавин переводит по подстрочнику с кабардино-балкарского Кайсына Кулиева, кстати, тоже одного из персонажей книги Рассадина, пишет и печатает в периодике собственные стихи.

Этапной в тот период стала публикация 16 стихотворений Коржавина в вышедшем в Калуге сборнике «Тарусские страницы» (1961), среди авторов которого была «запретная» в то время Цветаева. Сборник обратил на себя внимание, вызвал оргвыводы идеологического начальства, но после него имя поэта Наума Коржавина стало повсеместно известным.

В число опубликованного вошла любовная лирика («Мне без тебя так трудно жить», «Ты сама проявила похвальное рвенье»), горько-ироническое писательское кредо («Не трудом и не доблестью»), а также стихотворение «Над книгой Некрасова», печальная констатация неизменяемости женской доли в России; последнее с печатных страниц легко перешло в разряд «фольклора», его декламировали и пели по всей стране, как впоследствии и самиздатовскую «Памяти Герцена, или Балладу об историческом недосыпе».

Заведующая отделом массовой работы Республиканской библиотеки Молдавии Любовь Хазина «Тарусские страницы» отметила и подборку Коржавина оценила. В 1962 году Наум Коржавин в числе писательской группы, организованной издательством «Молодая гвардия», приехал в Кишинев на неделю русской литературы. Встреча Любви Хазиной и Наума Коржавина оказалась провиденциальной, их брак, которому уже более 46 лет (с 1965 года), – единение любящих и близких по духу людей.

Вышедший в 1963 году в издательстве «Советский писатель» сборник Коржавина «Годы» (стихи 1941-1961 гг, тираж 10 тысяч экземпляров), сразу же исчез из книжных магазинов, в одночасье превратившись в библиографическую редкость.

Сборник стал единственным изданием стихов Коржавина на родине до его отъезда из России в 1973 году.

«Оттепель» длилась недолго, на ее излете, в 1967 году, в московском театре Станиславского была поставлена пьеса Коржавина «Однажды в двадцатом»; революция и история страны рассматривались в ней под новым, непривычным ракурсом. Спектакль шел с неизменным успехом до самой эмиграции автора¹¹.



С Булатом Окуджавой и Фазилем Искандером. Вермонт, 90-е

Эмиграция Коржавина была вызвана рядом причин. Важнейшая – его не печатали. Коржавинские горькие и сатирические отклики на ситуацию в стране и на политические

¹¹ В архиве Коржавина хранятся еще две пьесы, объединенные с поставленной на театре единым названием «Драмы о Революции» и посвященные 1920-м и 1930-м годам («Жить хочется, или однажды в двадцать втором» и «Голодомор, или коготок увяз»).

события – венгерскую революцию, пражскую весну – распространялись в самиздате («Баллада о собственной гибели», 1956, «Судьба считает наши вины», 1968, «Памяти Герцена, или Баллада об историческом недосыпе, 1969). Ответом властей был запрет на издание коржавинских стихов. В 1973 году, в целях запугивания, поэта вызвали на допрос в прокуратуру. Все делалось, чтобы выдворить неугодного за границу.

Но последней каплей стало другое: поэта мучила всегдашняя беда России, то, что по словам Блока, убило Пушкина, – «отсутствие воздуха». Во всех предъотъездных стихах говорится о вакууме правды и нравственности в тогдашней российской жизни. Станислав Рассадин в «Книге прощаний» рассказывает, как неестественно и самоубийственно было для Коржавина решение покинуть Россию, но оно было принято.

В стихах, написанных в Америке, Коржавин сам себе признается в том, что, уйдя из России, «уйти из нее» не смог. Все годы, прожитые в эмиграции, поэт жил Россией и в американскую среду так и не вписался. В отличие от Бродского, правда, уехавшего в более молодом возрасте и знавшего язык, Коржавин Америки не завоевывал. В 1976 году издательством «Посев» во Франкфурте-на-Майне была издана книга стихов Наума Коржавина «Времена», через пять лет то же издательство издало коржавинский сборник «Сплетения» (1981). В 2003 году в России вышел сборник «В защиту банальных истин», в него вошли статьи о поэзии и жизни¹².

Одна из нашумевших статей сборника посвящена Иосифу Бродскому и называется «Генезис «стиля опережающей гениальности», или миф о великом Бродском». В ней Коржавин, признавая талант нобелевского лауреата, ополчается на его окружение – «надувной Олимп», – создавшее «культ» Бродского и тем самым помешавшее ему стать подлинно великим поэтом.

Несколько статей посвящены творцам Серебряного века – времени, которое Коржавин не жалуется из-за культа аморализма.

¹² Сборник получил название по статье «В защиту банальных истин», опубликованной в журнале «Новый мир» (№3, 1961), где Коржавин отстаивал «подлинность» понимания поэзии.

Статьи о Блоке и Ахматовой – анализ художественного текста, прочитанного *глазами поэта*, где кошунственная блоковская «игра с дьяволом» (в стихотворении «К Музе») болью отдается в душе поэтического собрата, любящего и ценящего блоковскую поэзию. Полемическое название книги точно отражает главное направление статей: «открытие этих вечных банальных истин, выход к ним каждый раз из других исторических обстоятельств...»¹³.

Более 20 лет с 1975 года Наум Коржавин и его жена сотрудничали с Летней Школой в Норвиче (Русская Летняя Школа при Норвичском университете, Вермонт, США). Наум Моисеевич приглашался туда на лето в качестве поэта-резидента, Любовь Семеновна, в годы эмиграции преподававшая на кафедрах славистики в Гарварде, Тафтском университете и в Бостон-колледже, работала в Норвиче как преподаватель русского языка и литературы.



Наум Коржавин и Ирина Чайковская. Фото Александра Марьина

¹³ Наум Коржавин. В защиту банальных истин. М., Московская школа политических исследований. 2003, стр. 167

Коржавин использовал кафедру в студенческой аудитории и на научных славистских конференциях, проходивших в Норвиче, – как для пропаганды русской литературы, так и для разоблачения ее «изучателей» – русистов, часто подменявших живое чтение и анализ выдуманными концепциями. После Перестройки Наум Коржавин, несмотря на нездоровье и слабое зрение, часто приезжает в Россию; первый раз – в 1989 году по личному приглашению Булата Окуджавы. Выступления Коржавина в Москве, как и в Бостоне, неизменно собирают полные залы, вызывают отклик аудитории.

В 2005 году в московском издательстве «Захаров» были опубликованы мемуары Наума Коржавина «В соблазнах кровавой эпохи» (в 2-х книгах).

В 2008 году вышел итоговый сборник коржавинских стихотворений и поэм «На скосе века» (Москва, издательство «Время»).

85-летний юбилей Наума Коржавина, отмечавшийся в октябре 2010-го года в Бостонском университете, вызвал небывалый съезд почитателей поэта из многих уголков Америки. В юбилейные дни Коржавин получил сотни поздравлений из России и из других стран, большое число подарков, стихов и книг, признаний в любви. На вечере юбиляр наизусть прочитал свое стихотворение «Последний язычник (письмо из VI века в XX)», в котором сформулировано его жизненное кредо: верность своим убеждениям, упорное сопротивление конъюнктуре и лжи. Стихотворение, говорящее о прошлом, на самом деле обращено в будущее; вот его провидческая концовка, прозревающая и развал Советского Союза, и возможное грядущее крушение авторитарной власти:

Я последний язычник
среди христиан Византии.
Я отнюдь не последний,
кто видит,
как гибнут миры.

(1970 год)

Сам о себе Коржавин говорит так: «...По происхождению я – еврей. По самоощущению – русский патриот. По взглядам – либерал и государственник. Сторонник, по выражению русского философа XX века Федотова, «империи и свободы».

Поэт и мудрец, Коржавин неизменно возвращается в мыслях к России и ее судьбе и очень хочет еще раз вырваться на родину.

2011, Бостон

Актеру Борису Казинцу – 85

ИРИНА ЧАЙКОВСКАЯ
Б. Вашингтон, США

«Чайка» поздравляет

Октябрь – месяц, богатый рожденьями талантливых людей. 16 октября 2015 года отметил свой 85-й день рожденья артист и педагог, просто красивый и хороший человек Борис Михайлович Казинец.



Борис Казинец в спектакле «Последний еврей». Фото А. Марьина, 2015

Еще живя в Бостон, я знала семью, ездившую на все постановки его многолетнего детища – Театра русской классики.

Потом услышала фамилию «Казинец» из уст заслуженного режиссера, в молодости работавшего в Ростове-на-Дону. Борис Казинец был тогда для новичка единственной отдушиной, светлым пятном в среде не слишком гостеприимно встретивших его актеров драмтеатра.

Как это похоже на Бориса Михайловича! И Света, его жена, ему под стать: доброжелательна, гостеприимна, радушна. Когда мы переехали в Мэриленд, их удивительный, наполненный диковинками дом стал для нас родным.

Борис Михайлович бесспорно владеет секретом молодости. На встрече в Роквиллской библиотеке он читал мой рассказ «Звуки и шорохи» – читал от лица американского парнишки. Признаюсь: очень боялась академизма, боялась наигрыша, но Борис Михайлович полностью перевоплотился в моего Рода... перевоплотился? Или он всегда живет в «возрасте молодости»? Рассказ был прочитан блестяще, по-молодому.

Хватает его не только на себя. Вот уже два десятилетия живет его самостоятельный Театр русской классики, ставший за эти годы вполне профессиональным. Белой завистью завидую ростовчанину Михаилу Барановскому, автору повести «Последний еврей», выбранной Борисом Михайловичем для инсценировки. Получилось весело, с большим юмором и выдумкой. Оба премьерных спектакля собрали полные залы. Артисты играли с воодушевлением. А персонажи еврейского сына и «идише мамеле», сыгранные Сашей Грайновским и Цецилией Огородниковой – за их кропотливой работой под придиричивым оком и направляющей рукой Мастера мы с мужем следили в течение всего многомесячного репетиционного периода, – получились на диво точными и узнаваемыми.

Через несколько дней Борису Михайловичу и его Светочке предстоит дальняя дорога – в родной для них Тбилиси, где будут отмечать 85-летний юбилей народного артиста Грузии Бориса Казинца.

По-грузински отмечать – с концертами, поездками,



Борис и Светлана Казинцы у себя дома, 2015

застольями и «гамарджобой». Борис Михайлович покажет там премьеру своего моноспектакля «В карете прошлого...».

Надеемся, что, вернувшись, он представит его и нам. А пока – поздравляем Бориса Михайловича Казинца с его юбилеем!

Ниже мы публикуем главу из книги, выпущенной в Грузии к 85-летию Бориса Казинца в серии «Русские в Грузии».

ИННА БЕЗИРГАНОВА

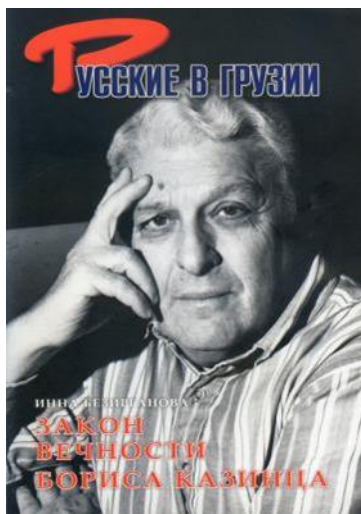
«Жизнь прожить – не поле перейти!»

Глава из книги «Закон вечности Бориса Казинца»¹⁴

Цикл «соло» Театра русской классики Бориса Казинца завершил моноспектакль именно с таким названием – «Жизнь прожить – не поле перейти». Уже оно само говорит о том, что актер, выйдя в очередной раз на «лобное место», обратился к публике с исповедью, с рассказом о своей жизни, наполненной

¹⁴ Безирганова Инна. Закон вечности Бориса Казинца. К 85-летию со дня рождения, Русский клуб, Тбилиси, 2015, серия «Русские в Грузии»

испытаниями, победами, творческими радостями и разочарованиями. О том, как «прошел, прошагал по своей жизни. По своей театральной жизни, по которой шагает уже более 60 лет! Вдумайтесь: 60 лет он на сцене! Вот об этом-то новый спектакль Бориса Казинца. Конечно, про все-все не расскажешь, это же 60 лет нужно. Но хотя бы про самое интересное, заветное, занимательное, смешное...» (А. Плакс. «Богач-бедняк Борис Казинец». Каскад. США, 7 июля 2011г.).



Да, жизнь Казинца никак не назовешь скучной и монотонной. Это – полет. Но это и труд, без которого не взлетишь. Так сказать, швейная машинка... Не зря Борис Казинец называет себя, прежде всего, рабочей лошадкой, биндюжником театра.

«На меня манна небесная никогда не сыпалась. Не было такого! Когда пишут обо мне: «большой», «великий» – это ерунда все. Я просто трудяга. Я всю свою жизнь работал. Этому меня научила моя мама. Я видел ее спину, когда приходил из школы, видел, как она, согнувшись, сидела за за машинкой «Зингер» и строчила. Кстати, на трудовых лошадках, в общем-то, держится театр», – считает актер. И с этим утверждением не поспоришь.

Борис Михайлович, выпустив четыре моноспектакля и не прерывая свой творческий марафон, намерен вновь собрать

вокруг себя актеров—единомышленников и выпустить очередной спектакль. Он привык существовать в режиме нон-стоп, не намерен расслабляться и изменять своему правилу. Ведь Казинец делает театр, потому что не может его не делать.

Есть в его жизни и увлечения: Борис Казинец много лет занимается резьбой по дереву, обожает старинную деревянную русскую архитектуру, сам «строит» храмы...из спичек. Один к одному, только в уменьшенном размере. Казинец – заядлый автомобилист. Но главной страстью всей его жизни был и остается Театр. Именно в этом смысл и суть жизни Бориса Казинца, проявление его постоянства и верности однажды и навсегда избранному пути. Его заслуги ценят не только на территории бывшего Союза, но и в США. Не зря имя актера включено в энциклопедию «Русская Америка».

Вот и сбылось пророчество врача московского роддома...¹⁵

Общественному деятелю и барду Юлию Зыслину – 85

Юлию Михайловичу Зыслину 28 октября 2015 года исполнилось 85 лет.

ЮЛИЙ ЗЫСЛИН
Б. Вашингтон, США

Критическая точка. Последние дни Цветаевой. Из архива Вашингтонского музея русской поэзии

31 августа 1941 года в Елабуге рассталась с жизнью Марина Цветаева

Я приехал в Елабугу в первый раз 29 августа 1991 года. Только что прошёл путч в Москве, который привёл меня в полное смятение и уныние, но не остановил в намерении ехать на Дни

¹⁵ Врач в роддоме на Арбате поставил кричащему младенцу «диагноз»: будет артистом.

памяти Марины Цветаевой, посвященные 50-летию со дня её смерти.



Юлий Зыслин

Моя душа была предрасположена прочувствовать и пережить заново цветаевскую трагедию, и, наверно, поэтому уже 31 августа возникли такие строки:

Елабуга, Елабуга –
печальная страна
Потерянная, слабая
погибла здесь Она.
Её душа несладкая –
возвышенная честь –
дорогой шла негладкою
и «заблудилась» здесь.
Зажата в клещи лагерем,
обложена кругом,
шагала по Елабуге.
А нынче? А потом?
Кому-то очень хочется
тот лагерь оправдать,
подушка всё же колется

и дух не удержать.
Плывёт он или стелется,
играет иль поёт,
Маринина метелица
по кладбищу метёт.
А Тойма дремлет тихая
и Каму беребит
и доброту великую
от сглазу сторожит.

Елабуга, Елабуга,
печальная страна...

Как только я вышел из автобуса, Елабуга сразу же дохнула на меня своей провинциальностью: у гостиницы «Тойма», что белела на центральной городской площади, заросшей бурьяном, бродили козы и куры (Елабуга 2009 года была уже совершенно другой). Конечно, были и другие впечатления, так как состоялась неплохая экскурсия по городу, и я побродил по нему самостоятельно тоже. Эта экскурсия была организована специально для гостей, которых было всего-то человек тридцать, но большинство здесь не в первый раз, а некоторые даже приезжали ежегодно. Они приехали сейчас из Каунаса, Кишинёва, Москвы, Чистополя, Набережных Челнов, Киева, Казани, Свердловска...

Расположенному в Татарии городу Елабуге более 200 лет. В начале 20-го века здесь жило 90,1% русских, 9,5% татар и по 0,1-0,15% евреев, немцев, цыган и эстов. Купеческие дома и общественные здания, построенные ещё купцами, до сих пор украшают город, особенно на фоне безликих советских пятиэтажек и многочисленных по существу крестьянских изб. Елабуга – родина хирурга Пирогова, художника Шишкина. Здесь жила героиня 1812 года кавалерист-девицы Надежда Дурова. Теперь во всём мире знают об этом городе, потому что здесь порешила себя великий поэт-новатор 20-го века Марина Цветаева.

Как и почему это произошло? Об этом написаны горы книг и статей на русском, английском, немецком и французском языках. Каждый год выходят всё новые работы. Внимание к творчеству и особенно к её судьбе не ослабевает. Как

говорила в послевоенные годы Анна Ахматова, «теперь царствует Марина».



Памятная медаль Юлию Зыслину от Цветаевского общества России

Из того, что я узнал и увидел в Елабуге, а также используя многочисленные источники, находящиеся в собрании моего литературно-музыкального музея, можно заключить, что одной причины не было и не могло быть.

Взять хотя бы то, сколько хулы и невнимания она пережила ещё от русской эмиграции. А ведь поэт, любой творческий человек, крайне нуждается и во внимании и в правильной оценке своей работы. Но часто этого нет, и приходится сказать: «Живи, поэт, пока тебе живётся,/ Трудись, не жди даров и похвалы./ Огонь души когда-нибудь зачтётся/ И, дай-то, Бог, хоть избежать хулы...»

А тот факт, который обнаруживается даже при беглом ознакомлении с биографией Цветаевой, что «у неё был тяжёлый характер не только для других, но и для себя» (Ирина Одоевцева) и что её тяга к самоубийству началась ещё в юности. И в этой тяге она, как поэт, не оригинальна. Можно вспомнить здесь хотя бы Пастернака, Гумилёва, Маяковского и Есенина: кто-то из них только собирался покончить с собой, кто-то пытался и даже не однажды это сделать (а кто и реализовал свою тягу к самоубийству), или, как Пушкин, Лермонтов и Гумилёв, упорно искал свою смерть и нашёл её и

был убит. Наша душа, конечно, протестует против этого. Когда-то при посещении могилы Пушкина у меня по этому поводу возникли такие строки: «Поэт очень хрупок, душою раним,/ Он знает когда умирать./ Склоним свои головы мы перед ним, / Поэтов нельзя убивать». И всё-таки самоубийства поэтов происходят. Может быть, это профессиональный признак выдающихся поэтов? Поскольку поэты больше и, главное, эмоциональнее и глубже многих воспринимают жизнь, а также думают и пишут обо всём, и о смерти особенно, у них появляется желание управлять этой неизбежностью (что называется предрасположение к самоубийству). А дальше должна накопиться некоторая критическая масса негативных обстоятельств на фоне того, что большим поэтам вообще свойственно постоянно находиться в состоянии огромного внутреннего напряжения, и они практически сгорают в своём творчестве.

Какие же эти «негативные обстоятельства» были у Марины Цветаевой тогда в Елабуге? Впечатляет даже их краткое перечисление (даётся не в порядке значимости).

1. Советская действительность конца 30-х годов (после профессорского детства, после поездок в Германию, Италию, Францию, Швейцарию, после эмигрантской жизни в Чехословакии и Франции и возвращения в сталинскую Россию, о чём она перед отъездом писала: «Там я невозможна»).

2. Творческий спад после многолетнего ежедневного поэтического парения.

3. Холодный приём в Москве, отсутствие публикаций её стихов (было опубликовано только одно стихотворение 1920-го года в третьестепенном журнале) и отсутствие своей крыши над головой («Москва меня не приняла»).

4. Ужасы войны на её первом чёрном этапе (бомбёжки, тревоги, толпы у военкоматов, анкеты, военные сводки, отступление армии).

5. Арест мужа, дочери и сестры, отсутствие достоверных сведений о них. Ожидание собственного ареста.

6. Эвакуация вообще и тем более в Елабугу, которая ей не понравилась с самого начала.

7. Неприязненное к ней отношение населения и властей в Елабуге и

писателей в Чистополе, куда она стремилась из Елабуги (по её словам, «здесь ужасные люди, здесь жить нельзя»). Отсутствие какой-либо и тем более приемлемой работы.

8. Убогое жильё в Елабуге и неверие в возможность найти жильё в Чистополе.

9. Постоянный страх за сына. Трудные отношения нервной, требовательной и травмированной матери с одарённым, капризным, высокомерным и избалованным вниманием сыном-подростком. Он был для неё, по словам Марии Иосифовны Белкиной, по её личным впечатлениям, – и идолом, и прокурором. Другие вспоминали, что он с нею был груб, а она ему всё прощала (а какой подросток не стремится к самостоятельности, не жаждет независимости и не грубит поэтому родителям? – Ю.З.).

10. Давление, оказываемое на неё НКВД.

11. Общая эмоциональная перегрузка. Ощущение неуверенности в себе.

В записных книжках Цветаевой 1940 года есть такая запись: «Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего – себя, своей головы, если эта голова – так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами крюк...»

Что же было последней каплей? Как это произошло? Точно уже не установить.

Вот что рассказывала примерно через 20 лет хозяйка елабужской избы, где Марина Ивановна с сыном прожила последние дни своей жизни, которую она вообще определяла, как «роман с собственной душой»? Мы-то теперь знаем, что душа эта была кипящей и бурлящей, а сердце поэта – обнажённым.

Приведу имеющиеся в архиве моего Вашингтонского музея русской поэзии некоторые высказывания-воспоминания этой простой русской женщины Анастасии Ивановны Бродельщиковой, которая, не представляла себе, что у неё квартировала гениальный русский поэт 20 века. Использую при этом аудиозапись, которую осуществил проф. Ставропольского университета В.М.Головко во время своей жизни в Елабуге; кассета с копией этой записи недавно подарена музеем организатором Тарусских Цветаевских костров А.В.Ханаковым.

Приведу также некоторые, по-моему, очень существенные дополнительные данные и факты. И каждый волен будет сделать свои выводы (но не придумывать небывлицы и пошлости, что иногда имеет место в печати).

Итак, что вспоминала Бродельщикова в разговоре с В.М.Головко (даю без редакционных поправок, но с некоторыми сокращениями-пропусками, отмеченными удлинёнными многоточиями): «Ну, я очень мало могу что сказать (эта мысль потом повторена несколько раз), но жила она 10 дней, так. Привел её сюда управдом, много их было. Она как посмотрела, так сразу остановилась здесь. 10 дней прожила, за это же время в Чистополь съездила... Вместе мы с ней курили, вот. Разговаривать много тоже не приходилось: у меня была семья, ребятишки, внучат двоих воспитывали... На она какая-то печальная, вы знаете, на фотографии она совсем не похожа. Такой вид у неё был: одета неважно была, длинное какое-то пальто и платье также, фартук с таким карманом большим. Так в нём и умерла она. Сандалии большие. Вообще крупная она такая была. Мужские черты лица. В плечах широкая, грудь плоская. Но между прочим так она хорошая была. Вот придёт ко мне в кухоньку вечером. «Пришла, – говорит, – посмотреть на вас и покурить». Когда она, значит, покончила с собой, нас послали на аэродром работать в это время. В тот день, как она покончила с собой, посылали и её, но почему-то пошёл, вот, сын. Ему 16 лет ещё только было. Хотя высокий ростом, но не совершеннолетний, всё равно. Муж (М.И.Бродельщиков. – Ю.З.) ушёл на рыбалку с внуком, маленький внук был, лет, наверно, 6 – 7-ми. Мы оказались с ним (с Георгием. – Ю.З.) в разных бригадах. Я пришла раньше, он пришёл позднее. Я первая пришла, значит, открыла, смотрю – стул стоит. Вот такой стул. У двери самой, в сенях. А глаза раньше не подняла, Потом смотрю: «Ба!» Так это неожиданно было. Так я никогда не видала таких смертей. Страшно было. Но а потом что? Соседку позвала. Вызвала врача. Вызвала милицию. Но это не скоро получилось. Пока, никто, значит, не снимал. Соседка посмотрела, что она совсем холодная. А я не смотрела. Потом пришёл муж, потом пришёл сын (Георгий. – Ю.З.). Ну, с сыном мне было трудно говорить, сообщать такую неприятную малость. Он проходит прямо туда. Он такой неразговорчивый был. Я говорю: «Не ходите туда». А он так

сказал: «А почему не ходить?». Я говорю: «Там мама ваша». «А почему не ходить, она жива?» Почему он так сказал. Потому что она накануне приехала из Чистополя, и они что-то, как-то между собой крупно разговаривали. Вроде как чего-то такое спорили. (Ариадна Эфрон считала, что в этом споре «брат пытался уговорить её (их мать) вернуться ещё раз в Чистополь». – Ю.З.). Но чего, они не по-русски говорят, я ничего не поняла. Но, может быть, чего-нибудь мало-помалу поняла, потому что там главная фраза, он сказал: «А она жива?» И больше он не пошёл, и он не смотрел на неё. С неделю он ещё здесь жил, только не спал здесь, у товарища спал. Приходил, багаж весь свой разбирал, представлялся ехать. А потом поехал к Асееву... А об ней (о Цветаевой) я больше ничего не знаю. Из больницы её хоронили. Как её хоронили, кто её хоронил, кто её ходил провожать? Вот другая у нас была эвакуированная, так мы помогали хоронить её. Она хоть не у нас померла, тоже в больнице, из Ленинграда, Кириченко, профессора жена. А всё-таки я знаю до сих пор, где могила (жены профессора. – Ю.З.), я, наверно, вам показывала. А эту – нет! Схоронили и всё. Он (Георгий. – Ю.З.) уехал. А нам поставили других...»

Далее Анастасия Ивановна Бродельщикова повела Головку по своей избе.

«У меня здесь штора такая глухая была, двери нет, не удобно... Я никогда не заглядывала. Если бы она ещё маленько пожила, я бы у них побывала. А так я не знала, как они спят, где они спят... Когда курили вместе, как она войдёт сюда, зайдёт какой-нибудь разговор, так о войне. Она, так, не верила, что победим мы. Она всё боялась, вот полк солдат стоял. Ходят, поют. Она говорит: «Такие песни победные поют, а он всё идёт и идёт». А пуще ещё испугалась, что может сюда он прийти. Ведь он до Сибири хотел прийти. Фашист паршивый...»

Таков нестройный рассказ хозяйки. Вячеслав Михайлович Головка был, наверно, один из первых, кто её расспрашивал. Но не первый. Например, в 1960 году в Елабуге побывала Анастасия Ивановна Цветаева, о чём Бродельщикова говорила Головку. Сестра Марины Цветаевой, послушав её и по другим отрывочным свидетельствам, позже рассудила, что беда случилась из-за того, что Мур (домашнее имя Георгия Эфрона), якобы, в пылу раздражения пригрозил матери своим самоубийством: «Ну уж, кого-нибудь из нас вынесут отсюда

вперёд ногами!..» (рассказано ей детским писателем А.А. Соколовским). Против такого заключения резко возражала Ариадна Эфрон, заступаясь за брата-подростка, которого тоже надо было понять, в какой жизненной перепалке он оказался в России. Это понимала и сама А.И. Она пишет в своих «Воспоминаниях» (четвёртое издание): «...Меньше всего я возлагаю вину за смерть Марины на Мура... И можно ли обвинять человека в шестнадцать лет за слепую страсть поступков и слов?!» Тем не менее она же восклицает на другой странице этих «Воспоминаний»: «...Это была не просто дерзость мальчишки... Марина ушла, чтобы не ушёл Мур. Сомневаться в этом могут лишь люди совершенно другого уровня, неспособные понять натуры Марины, её неистовость, её абсолютизм, с в о е й меркой мерящей!» Сам же Георгий в 1942 году так описывает в одном из своих писем в каком состоянии находилась тогда его мать: «Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю, она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал её и злился не неё за такое превращение...» (Марина Цветаева хорошо знала, отметив это ещё в 1935 году, что её сын «душевно неразвит»).

Рассказы Бродельщиковой многие слышали. Психиатр Михаил Буянов в своей книге «Под ударами судьбы» приводит свой вариант, из которого для полноты картины приведу несколько фраз: «...Сына не устраивала жизнь, которую приходилось вести... Мать ничего делать не умела. Вымоет голову, так даже подтереть пол не может: забывает, устаёт, не может... Никто на похороны не пошёл: ни сын, ни мы, ни соседи... Кабы мы знали, что она такая известная, мы бы ей подсобили в чём-то. Да и так ходили за ней как за маленькой, рыбу ей чистили, жарили, стирали. Что она за человек, за 10 дней не выяснишь. Ясно одно: чудная была». Жаль, что Бродельщикова, говоря о Муре, не вспомнила о том, как он, юнец, услышав от неё о смерти матери, сел, по словам Ирмы Кудровой, прямо в дорожную пыль...

Приведу ещё несколько строчек о Муре из недавно вышедшей книги поэта и исследователя из Сочи Изы Кресиковой. Автор, разглядев его фотографию, заключает: «Какое холодное суровое юношеское лицо. Тонкие безжалостные губы, светлые, чужие, отстраненные глаза, и,

вместе с тем, аура трагичности распространяется от снимка, и сердце сжимается в печали».

Теперь – обещанные дополнительные данные и факты (они как раз по пункту 10, т.е. связаны с НКВД).

1. За час до самоубийства к ней заходили энкавэдэшники (люди в штатском - «эти, с Набержной», как говорили местные жители).

2. При поисках ею жилья в Елабуге «эти, с Набережной» заходили вслед за ней и отговаривали хозяев сдавать ей помещение (свидетельство елабужанина Алексея Ивановича Сизова, которое я слышал от него лично на одном из Цветаевских мероприятий в Елабуге. В частности, он рассказал, как ему ответила одна знакомая хозяйка, к которой он направил Марину Цветаеву. Эта женщина сначала дала согласие сдать комнату, а потом отказала. Сизов её спросил при встрече: «Ты чего с жилищей не поладила?» И услышал следующее: «Да вот, пайка у ней нет. И ещё приходят эти, с Набережной, рассматривают её бумаги, когда её нет, да меня спрашивают о ней – что говорит, кто к ней приходит. Одно беспокойство...»).

3. Они же не рекомендовали (запретили) людям ходить на похороны «учительницы (по-другому «писательницы». – Ю.З.) из Москвы, которая удавилась».

4. Её приглашали в НКВД на переговоры и не исключено, что пытались при этом завербовать в дополнение к мужу и дочери. Известно из работ Ирмы Кудровой («Гибель Марины Цветаевой»), и Маэль Фейнберг в соавторстве с Юрием Клюкиным («Дело Сергея Эфрона»), что НКВД очень интересовалось Мариной Цветаевой. В частности, от её мужа Сергея Яковлевича Эфрона и его коллеги по работе на НКВД во Франции Эмилии Литауэр на Лубянке добивались подтверждения версии антисоветской деятельности Цветаевой и её непосредственного участия в антисоветских организациях. Эфрон всё это категорически отрицал, а Литауэр вынудили дать соответствующие показания. Конечно, Цветаева была в поле особого внимания органов, тем более тиран замыслил очередной громкий политический процесс (как всегда надуманный, лживый, лицемерный и провокационный – для запугивания интеллигенции), где ключевой фигурой предполагалось выставить именно её мужа Сергея Эфрона.

Этому помешали, наверное, два обстоятельства: непреклонность Эфрона, которого не удалось сломить, и начавшаяся война. 16 октября 1941г., накануне очень вероятной сдачи немцам Москвы не забыли по указанию свыше расстрелять большую группу этого «резерва», где в числе первых числился Эфрон.

Итак, по крайней мере, 11 негативных и очень серьёзных обстоятельств сошлись в одну критическую точку, и Марине Ивановне Цветаевой совсем стало невмоготу, и она приняла решение, о котором давно думала: «Пора – пора – пора Творцу вернуть билет». В одной из 3-х оставленных ею записок есть слова: «Попала в тупик» (наверно, точнее было бы сказать: «Меня завели в тупик»). Она воспринимала тогда своё состояние как болезнь (в той же записке прямо сказано: «Я тяжёло больна, это уже не я»).

Все записки полны беспокойства о судьбе сына, и всё же – конец. Значит, – был предел. Значит, были веские основания. В записке, обращенной к поэту Николаю Асееву, она как бы прокричала на прощанье: «...Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына – заслуживает. А меня – простите – не вынесла. М.Ц.» (подчёркнуто мною. – Ю.З.).

Итальянистке, переводчице, автору журнала,
Юлии Добровольской – 98

ЮЛИЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Милан, Италия

Из архивов памяти

Инженер Михайлов

Под конец мне всё чаще вспоминаются незнакомцы, неожиданно-негаданно протягивавшие руку помощи. Просто так, по доброте душевной.



Юлия Добровольская

Завод-лагерь в подмосковном Ховрино. Инженер Михайлов, московский консультант, по пути в закуток начальника гальванического цеха заметил зэчку, протиравшую автомобильные фары, и поинтересовался, кем она была до посадки. Оказалось, переводчицей.

– А мне как раз до зарезу нужны переводы! Уступи мне её!

Так после вонючего, без вентиляции, гальванического цеха я очутилась в уютном сарайчике, пусть с зарешеченным, но открывающимся окошком, где до самой амнистии перепирала вряд ли кому-нибудь нужные статьи из французских научно-технических журналов.

Начальник милиции

Седой худющий мужчина в потёртом френче – начальник отделения милиции, куда мы с Сашей Добровольским, ещё в угаре от счастья встречи, явились отметить (почему-то в конце рабочего дня), задумчиво вертел в руках мою справку об освобождении.

Со справкой об освобождении жить в Москве, и вообще в больших городах, запрещалось. Он вертел в руках мою бумажку, потом положил её под пресс-папье, отодвинул пресс-папье, разгладил бумажку и буркнул: «У вас две фотокарточки найдутся? – и, взглянув на кухонные ходики на стене. – В вашем распоряжении сорок минут».

Мы со всех ног кинулись домой. Фотографии нашлись.

Немногословный звонок подчинённому – и я держала в руках паспорт, изъятый у меня за год до этого при аресте.

Flashback: Елена

Первое в моей вдовьей жизни лето, лето 1974 года, я провела бы в душевной Москве, если бы не Луковниковы: Зина с Борей посадили меня в свой «Москвич» и повезли на чистый воздух. Взяли курс на Новороссийск. Дикарями, конечно, наугад.

Из дорожных впечатлений осталась в памяти встреча под Тулой. С десятков молодых людей обоёго пола, довольно расхристанного вида, загорали неподалеку от бензоколонки, рядом со своим заглохшим фургончиком. Как было не поинтересоваться, кто они такие и откуда! Оказалось, студенты из Рима, доверившиеся рекламе московского Интуриста, расхваливавшей «автопробег Рим-Москва, Москва-Рим». Услышав родную речь, ребята повскакали с мест, обступили нас, загалдели.

Помочь бы им, но как, если нужной запчасти в Туле не оказалось... Единственное, что мне пришло в голову, это дать им номер телефона итальянского посольства в Москве. Они тут же, при нас, созвонились, им что-то пообещали, после чего они подступили к нам с расспросами, кто мы, откуда я знаю итальянский. Объясняю – де, я переводчик, перевожу итальянскую художественную литературу на русский язык.

“Che schifo!” – вырвалось у патлатой девицы в джинсах с прорехой на колене, что в переводе на русский значит «какая гадость». Перед нами был образчик вершителей бушевавшей тогда в Европе и Америке молодёжной революции, ниспровергатели «устаревших буржуазных ценностей».

Тем не менее расстались мы неохотно, обеим сторонам явно хотелось пообщаться. Впоследствии знакомый культурный

атташе рассказал мне о их ночном нашествии на итальянское посольство, куда их пустили переночевать на бархатистых нежного палевого цвета диванах гостиной.

Больше на нашем пути ничего примечательного не произошло.

Завидев море, мы захотели тут же бросить якорь – попросились в садик-огородик к старику в тельняшке, сидевшему на пороге своей развалюхи. Старик выглядел картинно: поджарый, жилистый, загорелую лысину прикрывала выдавшая виды флотская фуражка.

«За ценой не постоим», – уговаривали мы его.

«Я не против, – пожал он плечами, – только что вы тут хорошего у меня нашли? За красотами надо ехать дальше...»

Пока Боря ставил палатку, мы с Зиной спроворили ужин и пригласили на рюмку водки хозяина. Не сразу, а выждав дня два, помаленьку раскусив нас, Евсей Богданович разговорился. О том, как десять лет трубил в лагерях, на лесоповале. На обычный, глупый, вопрос, за что его посадили, он проворчал: «А кого тогда не сажали... Гебешникам надо было выполнять сталинскую норму по арестам...» И немного погодя, вздохнув: «Я был бригадиром на новороссийском консервном заводе... Молодой, горячий, энтузиаст социалистического производства... Мне шили саботаж... Признание не выбили, зато выбили передние зубы...» Он показал ровный ряд из нержавеющей стали. «Отсидел от звонка до звонка. Однако приполз... У меня тут родственники... Отходили».

Шестнадцатилетняя племянница Евсея Богдановича с толстой русой косой до пояса приезжала после школы навещать дядю, привозила ему еду и охотно задерживалась. Наше застолье, за отсутствием стола, происходило вокруг бочки из под квашеной капусты. Сидели на чурках, заимствованных из заготовленной на зиму поленницы.

Бывшие зэки немногословны, не охочи откровенничать. Знаю по себе. Вспоминать, как тебя превращали в лагерную пыль, тягостно. Но свой традиционный вопрос я всё-таки задала: встречалось ли Евсею Богдановичу в том ледяном аду человеческое добро.

Попыхивая самокруткой, он рассказал: «Была у нас на лагпункте зэчка, уже немолодая, сидела давно, с 1938 года, звали Еленой. Образованная. Работала уборщицей на

медпункте. Начальник, врач из вольных, разрешал ей полежать-передохнуть в чуланчике под лестницей. Этот чуланчик был для нас как дом родной. О чём Елену, бывало, ни попросишь, всегда найдёт время, сделает. Порвались варежки, починит; прохудилась фуфайка, заштопает; полуграмотному зэку заявление напишет, убитого горем утешит. Всё умела, всех жалела наша Елена Разгон!»

«Как?! Как вы сказали, Евсей Богданович?! Повторите, скажите ещё раз фамилию вашей Елены! Разгон? Вы сказали Разгон?! Так это же сестра нашего Льва Разгона!» – хором голосили мы.

В ту ночь, после того, как донёсся до нас похожий на Лёвин голос Елены Разгон, нам в своих спальных мешках долго не удавалось заснуть.

Уго Джуссани

– Уго, хочешь, чтобы тебе простились все твои грехи, прошлые и будущие?

– А что для этого нужно?

– Съездить в Москву и жениться на моей подруге Юле Добровольской, чтобы она могла вырваться оттуда.

Ответ был:

– Когда надо ехать?

Так моя миланская подруга, импрессарио Эми Мореско, подвигла однокашника своего сына Уго Джуссани на доброе дело. «Гуманитарный» брак состоялся – Уго вызволил меня из советской неволи.

Что же спасало?

Италия 90-х годов. Знакомая учительница истории одного частного миланского лицея попросила меня встретиться с её учениками. Они проходили «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. И взбунтовались: всё непонятно! Что такое лагерь, за что сажали и, конкретно, где эти люди жили, на чём спали, в чём ходили, что ели-пили...

Мои разъяснения вызвали шок. Встрепенулись только, когда прозвенел звонок на перемену: «Ещё! Ещё!». Пришлось

пообещать, что приду ещё, через две недели. В промежутке мне пришло от них двадцать взволнованных писем.

В следующий раз я остановилась на вопросе, который задал мне в своём письме кучерявый крепыш Бруно: «Что помогало вам преодолевать эти нечеловеческие трудности?»

Я ответила так: «Будь я верующей, мне помогала бы вера. Но советских людей с малых лет веры лишали. Что же спасало? Так вот знайте: на свете много добрых людей, которые бескорыстно приходят на помощь. Меня в беде почти всегда спасал добрый человек, иной раз совершенно незнакомый, посторонний. Их имена хранятся у меня в сердце».

Спасибо!

Вернёмся в Италию 90-ых. На сей раз в Тоскану, в город Ареццо, где местная ассоциация католической интеллигенции «Sacro cuore» («Священное сердце») посвятила себя борьбе за мир, не голословной, а действенной. Они даже направили свою делегацию в Москву, с конкретными предложениями президенту Ельцину по поводу чеченской войны; делегаты были приняты в Кремле.

Но по здравом размышлении «Sacro cuore» сосредоточила свои усилия на более узкой задаче: было решено создать школу для подготовки в университет молодёжи из враждующих стран, чтобы выпускники, овладев профессией и сдружившись между собой, возвращались домой строить демократическое общество. Школа – учебные помещения, кухня, столовая, общежитие – расположилась близ Ареццо, в заброшенной средневековой деревне Rondine (Ласточка). Пустовавшие здания были отремонтированы, прибыли первые абитуриенты, – чеченец, абхазец, русский, азербайджанец, грузин, армянин – появились волонтеры-учителя. Школа заработала.

Выступать перед учащимися Ласточки приезжали среди прочих гости из России – правозащитник Сергей Ковалёв, академик Дмитрий Лихачёв, писатель Лев Разгон, дипломат Феликс Станевский. Я подарила школьной библиотеке десяток фотокопий своего «Практического курса итальянского языка», ведь «школьникам» предстояло слушать лекции во Флорентийском университете, и быстро овладеть итальянским было для них очень важно.

Тот день был особенный, это был день «Marcia della pace» («Похода за мир»), двадцатитрёхкилометрового факельного шествия из Ареццо в расположенный на высокой горе монастырь Ла Верна.

Пока суд да дело, монастырских гостей – академика Лихачёва с женой и переводчицей и нас со Львом Разгоном – позвали в трапезную ужинать. Мы всё время смотрели на часы и в темноту за окнами, не покажется ли голова шеренги.

Эту неподходящую для проникновенного разговора минуту переводчица Алёна выбрала, чтобы сделать заявление: «Юлия Абрамовна, мне надо сказать вам одну важную вещь... Мне надо сказать вам спасибо за ваше появление в моей жизни. Вы, наверное, не помните... Мы с вами познакомились много лет тому назад у моего дяди Евсея Богдановича Бондаренко, вы у него жили, когда ездили отдыхать на юг со своими друзьями Зинаидой Ильиничной и Борисом Семёновичем Луковниковыми. После вашего отъезда я насилу дождалась окончания школы и помчалась в Москву поступать на итальянское отделение Института иностранных языков»...

«Идут, идут!» – перебил Алёну звонкий мальчишеский голос.

«Откуда тут дети?» – про себя удивились мы и заспешили к выходу, на бельведер – облюбованную нами ещё утром площадку над откосом, с которой видны подступы к Ла Верне. В темноте на гору взбиралась золотая змейка из горящих факелов...

2015, Милан

ЧАСТЬ 5

ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ



ЭЛЕОНОРА МАНДАЛЯН
Лос-Анджелес, США

Вахкот

Рассказ для семейного чтения

Вартан бежал в школу, прыгая то на одной, то на другой ноге, как вдруг внимание его привлек грязный, шевелящийся комочек в канаве у забора. Он остановился, подошел поближе. Комочек оказался обыкновенным щенком, только жалким, совсем еще маленьким, с мутными, слезящимися глазками и поджатым под брюхо огрызком-хвостом.

– Какой ты противенький! – брезгливо сказал Вартан и полез в портфель. Вытащив сверток с завтраком, он протянул его щенку:

– На уж, так и быть. Пользуйся моей добротой.

Щенок попятился и зарычал на Вартана, смешно так – тоненько и одновременно хрипло.

– Ах, вот ты как! Ну и дурак, – рассердился мальчик.

Засунув завтрак обратно в портфель, он побежал дальше.



Рисунок автора

Так состоялось их первое знакомство. На следующий день, по дороге в школу, Вартан специально замедлил шаг и заглянул в канаву. Щенок сидел на том же месте и мелко дрожал от утреннего холода.

– Ну как, не передумал, грязная псина?

Щенок посмотрел ему прямо в глаза, но не зарычал, как в первый раз.

– Голодный небось. Или опять будешь нос ворочать?

Мальчик развернул свой завтрак. Ломоть вареной колбасы в бутерброде пахнул так зазывно, что черная мокрая пуговка носа у щенка заходила ходуном. Не дожидаясь второго приглашения или боясь, что мальчик снова передумает и спрячет угощение, щенок ухватил колбасу за торчащий из хлебных створок кончик, осторожными рывками выдернул ее и с жадностью начал заглатывать целыми кусками.

– Полегче, приятель, подавишься, – улыбнулся Вартан. – И зря привередничаешь. Хлеб с маслом тоже съешь как миленький. – Бросив остатки бутерброда в канаву, он помахал бездомному малышу рукой:

– Ну я пошел, а то на урок опоздаю. Пока.

На третий день Вартан специально припрятал кусок котлеты. Но место у забора оказалось пустым.

– Ну как знаешь, – проворчал он разочарованно и оставил свой гостинец на краю канавы.

Сидя в классе у окна, Вартан краешком глаза косился на играющих во дворе ребят из другой смены. Это была малышня классом ниже. Они лениво гоняли резиновый детский мячик, воображая, что он футбольный.

И вдруг все разом оживились. Кто-то из них пригнал во двор собачонку, ту самую, что Вартан не нашел утром в канаве. Затравленно озираясь по сторонам и скуля, она пыталась уйти от преследователей. Мальчишек больше всего вдохновляло то, что нашлось существо, испытывающее перед ними страх.

Забыв про футбол, они затеяли новую игру – строили страшные рожи собаке, размахивали руками и издавали воинственные звуки. Куда бы ни пыталась ускользнуть до смерти перепуганная жертва, на пути у нее вырастал преследователь с растопыренными руками и притворно свирепым видом.

Кто-то кинул в собачонку камешек. И не промахнулся. Щенок громко, обиженно взвизгнул. Остальным затея понравилась, и за первым камнем полетели другие.

Вартан не выдержал.

– Извините, я сейчас! – сорвавшись с места, буркнул он на ходу учительнице и выскочил из класса.

Сбив с ног самого агрессивного преследователя и двинув кулаком в живот другого, Вартан загородил собой трясущееся от страха создание.

– А ну, кто самый храбрый? – бросил он вызов малышне, широко расставив ноги и воинственно упершись кулаками в бока. – На беззащитных легко силу показывать.

– Нашелся жалостливый, – огрызнулся кто-то из мальчишек, досадуя, что прервалась такая веселая забава.

– Чего, уж и поиграть нельзя?

– Играйте со своим мячиком, – проворчал Вартан, остывая. – Эй, вахкот, пошли отсюда! – Бросив взгляд на щенка, он похозийски хлопнул себя по бедру.

Щенок с готовностью поднялся и затрусил за ним, то и дело с опаской оглядываясь на своих обидчиков.

Даже не вспомнив, что сумка с учебниками осталась в школе, Вартан напрямик направился домой. Щенок, не отставая, следовал за ним по пятам.

– Только обещай, что лаять не будешь, – наказал ему Вартан, заводя к себе во двор. – А то нам обоим не поздоровится, а тебя еще и на улицу выкинут.

Он пролез в не достроенный отцом сарай, привязал щенка к балке и притащил с сеновала охапку соломы.

– Ну вот. Сиди смирно. А лучше спать ложись. Здесь тебя никто не обидит.

После ужина Вартан попытался выскользнуть во двор. Мать удивленно остановила его:

– Куда это на ночь глядя? Стемнело уже. За уроки садись.

– Я... Я сейчас. Проверю, заперты ли ворота. Мне показалось, они скрипнули.

У сарая он окликнул шепотом:

– Эй, вахкот. Ты здесь?

«Вахкот» – это по-армянски трус, трусишка.

В ответ послышался приветственный стук хвоста по балке.

– На-ка вот, поешь. – Вартан вытащил из-за пазухи кусочек мяса и лепешку.

На следующее утро, когда отец с матерью ушли на работу, отведя как обычно младшую сестренку в детский сад, Вартан принялся за дело. Согрев ведро воды, он вылил его в большое жестяное корыто и посадил туда щенка.

– Ну и грязи течет с тебя, приятель! Как с половой тряпки. Ты, наверное, с рождения не купался.

Щенок безропотно стоял в корыте, демонстрируя все свои косточки под почти прозрачной кожей, и мелко дрожал.

Закончив купание и окатив напоследок щенка чистой водой, Вартан пустил его побегать по двору, чтобы он поскорее обсох. Под солнышком рыжая с черными подпалинами шерстка быстро высохла, распушилась и заблестела. И теперь малыш уже не казался таким тощим и жалким заморышем.

– Слушай-ка! Да ты у нас красавчик! – удивился Вартан, хозяйяйски оглядывая своего подопечного. – Может даже и не дворняжка вовсе, а какой-нибудь породы... Теперь тебя, пожалуй, и погладить можно... А все же, признавайся, здорово ты там, у школы, перетрусил? Вахкот ты, вахкот. Интересно, сколько тебе месяцев... Два? Три? Будем считать, четыре. Итак, тебе четыре месяца, а я в четвертом классе. Выходит – ровесники.

Щенок вел себя очень тихо, как будто и сам боялся, что его найдут взрослые и снова выкинут на улицу, в грязную, мокрую канаву. Он ни разу не подал голоса. Вартан даже решил, что щенок вообще не умеет лаять, что, впрочем, его очень устраивало. Так прошла неделя-другая. Щенок отъелся, поздоровел. Весело махал хвостиком при появлении своего хозяина и благодарно лизал ему руки, когда тот его кормил. А потом терпеливо и тихо ждал, когда о нем снова вспомнят.

Но вот случилось то, что рано или поздно должно было случиться. В воскресный день отец, решив поработать над недостроенным сараем, обнаружил там незваного гостя.

– Это еще что такое? – вскричал он грозным голосом. – Откуда взялась здесь эта грязная дворняга?

Из дома вышла мать. За ней сестренка Зара. Вартан затаил дыхание.

– Ой, какая хорошенькая! – обрадовалась новой игрушке девочка, бросаясь к щенку.

– Не смей трогать! – Мать схватила ее за руку. – Может она больная, заразная или блохастая.

– Она не больная и не блохастая, – потупясь, пробормотал Вартан. – Это моя собака. И она вовсе не грязная. Я ее выкупал.

– Выкупал? – насторожилась мать. – Можно узнать, в чем?

– В корыте. В чем же еще...

– В корыте!?. Ты слышишь, Арам? – всплеснула руками мать. – Он купал ее в корыте, в котором я стираю белье!

– Так ведь белье же, а не посуду, – попытался оправдаться Вартан.

– Он еще и грубит, негодник! – рассердился отец. – Сейчас же вышвырни ее отсюда сам, а не то я...

Услышав эту угрозу, из провинившегося ребенка Вартан разом превратился в отважного рыцаря.

– Ни за что! – твердо проговорил он, глядя на отца из-под наспуленных бровей. – Он – мой друг. А друзей не выбрасывают, как какой-нибудь хлам. У него нет другого дома. Мальчишки обижают его. Даже пытались забить камнями. И потом... Он умрет без меня с голода. – Голос Вартана стал умоляющим. – Ну пожалуйста, пап... мамуль... Прошу вас.

– И думать не... – начал было отец. Но, бросив взгляд на жену, запнулся.

– Может оставим пока? – предложила мать. – Меньше на улицу бегать будет... В детстве я тоже любила животных... Только эта бродячая, грязная... – снова засомневалась она.

– На что нам собака? – рассердился на жену отец. – У нас маленькие дети. А от нее шерсть да грязь по всему двору пойдут.

Отец Вартана был врачом и очень боялся всякой инфекции.

– Пап! Я ее выдрессирую. Она дом сторожить будет. Будет всех нас слушаться.

– А от кого сторожить-то? Воров у нас отродясь не бывало. Спокойно живем.

Долго длился этот спор. Отец был непреклонен. Мать колебалась. Так ничего толком и не решили.

– Ну ладно, – наконец, смилостивилась мать. – Пусть поживет несколько дней, пока тебе самому не надоест за ним ухаживать. А потом отведешь, откуда взял.

В этот день Вартан, уже ни от кого не прячась, до вечера просидел со своим четвероногим другом на соломе. И даже отважился выйти за калитку с ним погулять.

– Ты не трусь, – успокаивал он щенка. – Главное, что сейчас не прогнали. А потом привыкнут, самим жалко будет.

Вартан не ошибся. Щенок так и остался жить во дворе. А когда они в открытую прохаживались вдвоем по улицам, он неотступно следовал за своим другом и хозяином, никого вокруг не замечая. Вартан мужественно терпел насмешки мальчишек: завел, мол, дворнягу, какой от нее толк.

За щенком так и укрепилась кличка «Вахкот». Рос Вахкот быстро. Лапы у него становились крепкие, стройные, шерсть – густая и длинная. Глаза умные. И вскоре он стал таким большим, что, гуляя с ним, Вартан клал ему руку на загривок, как на подлокотник. Теперь уже даже задиры-мальчишки побаивались подтрунивать над ними.

Отец делал вид, что не замечает его существования, и только периодически спрашивал сердито: «Он все еще здесь?»

Мать ворчала, что собака линяет, что все наглоталось ее шерсти. Она заставляла Вартана десять раз на день мыть с мылом руки. А Зару и близко к ней не подпускала.

Однажды возвращался Вартан с Вахкотом с прогулки. На дороге перед домом Зара босиком по лужам шлепала, что-то мурлыча себе под нос.

Неожиданно из-за поворота выскочил автомобиль. Когда водитель заметил девочку, тормозить было уже поздно. Вартан не успел даже толком понять, что происходит, а Вахкот стремглав бросился к девочке и отшвырнул ее к забору своим упругим сильным телом.

От боли и обиды Зара в голос разревелась, но была спасена. А Вахкот вместо нее угодил под колеса.

С отчаянным криком выбежала из дома мать. Собрались соседи. Вылез из машины растерянный водитель, дрожащими руками вытирая со лба крупные капли пота. Мать бессвязно причитала, прижимая к груди перепуганную дочь.

Вартан молчал. Он не мог произнести ни слова. В горле у него будто что-то застряло или заперлось. Упав на колени, он обхватил неподвижное, окровавленное тело своего друга и медленно раскачивался, будто баюкая его.

Прибежали и мальчишки со школьного двора. Молва о таких происшествиях здесь распространялась быстро.

– Вот тебе и дворняга.

– Вот тебе и вахкот.

– Какая преданность!

– Какая самоотверженность!

– Собственной жизнью пожертвовал, – перешептывались собравшиеся.

Узнав о случившемся, примчался с работы отец. Успокоившись за дочь, подошел к Вартану, присел рядом на корточки, погладил сына по голове.

– А Вахкот-то твой герой, – сказал он глухим от волнения голосом.

– Был герой, – одними губами проговорил Вартан.

Спазм в горле, лишивший его голоса, не проходил.

– Постой-постой, он, кажется, дышит!

Лапы пса судорожно дернулись.

– А ну-ка отойди.

Отец отстранил сына, осторожно взял собаку на руки и понес ее в дом.

В самой большой и светлой комнате соорудили Вахкоту мягкую постель. Отец промыл и перевязал ему раны, уложил в гипс сломанную лапу, ввел в вену необходимые лекарства.

Почти неделю пес не приходил в себя. Почти неделю вся семья боролась за его жизнь. Мальчишки – те самые, что издевались над грязным, слабым щенком – всей ватагой каждый день приходили справиться о его здоровье.

И вот, наконец, Вахкот открыл глаза, с трудом приподнял голову и, увидев рядом Вартана, приветливо шевельнул хвостом.

– Ну теперь порядок! – обрадовался отец. – Будешь жить, дружище... Попробуй покормить его из ложки куриным бульоном, сынок.

Зара погладила Вахкота по забинтованной спине.

– Осторожно! – остановила ее мать. – Ты сделаешь ему больно. – Вот поправится, тогда наиграешься.

АРТЁМ КУРАМШИН
Уфа, Башкортостан

Хвостатые фантазёры *дебют*

Вечер тёмной дымкой накрывал дома и двор внизу, приносил с собой умиротворение и прохладу. Битум, покрывающий поверхность крыши, остывал и затвердевал. Очертания бетонной будки с дверью на чердак уже перестали дрожать в потоках поднимающегося вверх воздуха. Люди потихоньку разбредались по своим квартирам, лишь ребятишки всё ещё шумели, затевая весёлые игры в узком уютном дворике.

В дверном проёме показалась маленькая фигурка с полосатой мордашкой. Кошка повела розовым носом по ветру и потрогала лапой поверхность крыши. Удостоверившись в том, что она не такая горячая как казалось, кошка не спеша вышла из будки и проследовала к карнизу. Осторожно выглянула вниз, отошла и примостилась в полуметре от края, как раз там, куда падала тень от вентиляционной трубы. Легла на шершавую плоскость и зажмурилась. Она ещё не отошла от дневного сна, поэтому двигалась лениво и заторможено.

Её уединение вскоре было нарушено появлением чёрно-белой кошки с большими тёмными глазами, глубокими и красивыми, словно горный хрусталь. Она по-хозяйски прошлась по небольшому пятачку перед будкой и присела в стороне от полосатой. Она тут же принялась вылизывать заднюю лапу, вытянув её вверх и растопырив подушечки.

Полосатая открыла глаза и взглянула на свою подружку.

– Мяу, – сказала та.

– Привет, Чернышка, – ответила полосатая. – Как дела?

– Вечер добрый, Полосатка, – почтительно приветствовала её Чернышка. – Да неплохо в целом. Вот только что-то жарко сегодня.

– О, да, это самые жаркие дни в году. Там, внизу, это называется июлем.

Чернышка засмеялась и прикрыла мордочку лапой.

– Какое смешное слово, – она чуть не сорвалась на свойственный ей громкий хохот. – И как они только его выговаривают. Язык ведь сломаешь.

– И не говори, дорогая. Чего только эти люди не выдумывают. Разные забавные вещи. Сама поражаюсь иногда.

– Вот-вот, взять хотя бы этого хулигана из третьего подъезда. Опять дёргал меня за хвост. Настоящий бандит! – пожаловалась Чернышка. Наверно, она ещё долго занималась бы своим любимым делом – обсуждением людей, но тут на крыше объявился Красный.

– Здравствуйте, дамы! – как всегда галантно поприветствовал их он. – Как вам спалось сегодня?

– Привет, Красниша, – ответили они, и кот вальяжной степенной походкой прошёлся рядом с ними. Он сел на карниз и принял благородную позу – передние лапы вместе, мордочка приподнята, нос по ветру. Не кот, а статуя из музея египетской культуры.

Следующим пришёл Быж. Едва он пересёк порог, как сразу остановился, оглядел всех грустным взглядом и тихо промяукал:

– Всем здарсьте.

– Привет, Быж, – замурлыкали кошки. – Ты даже не опоздал.

– Я старался, – скромно сказал тот и тут же добавил, – Ушастик не придёт: он целый день шатался по делам и сейчас дрыхнет на чердаке серого дома.

Быж был всеобщим любимцем и вообще очень покладистым спокойным котом. Он всё ещё имел виноватый вид, но уже немного освоился, сел в сторонке и приготовился слушать беседу остальных.

Красный в шутку пожурил Ушастика за его безалаберность и несерьёзное отношение к общему делу. Полосатка и Чернышка с ним согласились. Потом Красный похвастался своими охотничьими успехами, а также поведал о том, как он сегодня чуть не попал под грузовик. По его словам, лишь врождённая ловкость и решительность позволили ему спастись от неминуемой гибели. Дамы заворожено слушали его рассказ и восторженно хлопали глазками.

Вскоре почти одновременно пришли Катафот и Кнопка. Они расселись вокруг собравшихся в подобие круга и подключились к всеобщему разговору.

– Все в сборе? – наконец, спросила Полосатка. – Или кого-то не хватает?

– Пчёлка не пришла, – отозвалась Чернышка.

– А где она?

– Опаздывает, как всегда, – затараторили кошки. – Ох, уж эта Пчёлка. Вечно она задерживается. Давайте начнём без неё.

– Ну, хорошо, – согласилась Полосатка. – Начнём без неё. У кого баночка с пузырями?

– Сегодня очередь Пчёлки приносить, – объявила Чернышка.

Все замолчали. Пчёлка, мало того, что опаздывала, так ещё и задерживала остальных – ведь без баночки с разведённым в ней мыльным раствором пускать воздушные пузыри невозможно.

Кошки опять загалдели, громко обсуждая поведение Пчёлки. Не то, чтобы её не любили или она кому-то не нравилась. Просто её непунктуальность, упрямство и самонадеянность были очень удобными темами для обсуждений, и они не могли упустить такой возможности для болтовни.

Поэтому, когда пришла Пчёлка, все бросились её упрекать:

– Ты чего опаздываешь? Небось, опять на реке закат выжидала?

– Ничего я не выжидала, – насупилась та, махая длинным пушистым рыжим хвостом, – просто дела были. Между прочим, луна уже взошла. Вон там висит половинка, которая скоро станет ярким жёлтым сырным кусочком, – она показала лапой вверх, и все подняли взгляд к небу.

В самом деле, там уже виднелся тонкий белёсый месяц, покрытый дырками и впадинами. Представляя себе луну в том виде, в котором её описала Пчёлка, кошки начали мечтательно облизываться.

Пчёлка достала баночку с мыльной водой и поставила её на карниз.

– Сегодня раствор особенно хорош, – сказала Пчёлка. – Самый лучший из всех, которые вы когда-нибудь видели. Сама разводила, – при этих словах она самодовольно зажмурила глаза.

– Эка невидаль, – скептически возразила Кнопка. – Пузыри как пузыри. Что в них такого?

– Ничего ты не понимаешь, Кнопкин! Эти на шампуне, они лучше тянутся и красивее.

– Хватит спорить, – сказал Катафот, – давайте запускать.

– Может попозже? – предложил Быж. – А то ещё не все детишки внизу разошлись. Опять будут в наши пузыри тыкать, и они от этого все полопаются, как в прошлый раз.

– Да ладно, – ответил Красный, даже не повернувшись к остальным, – детям же нравится.

Первой мыльный пузырь надула, конечно же, Полосатка. У неё вышел шарик средних размеров, он медленно проплыл сначала вверх, а потом стал опускаться, почти достиг земли, но потом скрылся из виду – залетел за соседний дом.

Следующим запускал пузырь Красный. Его шарик вышел достаточно большим, колыхался в воздухе, переливаясь разными цветами, и норовил лопнуть от малейшего дуновения, но всё-таки держался.

– Хорошо пошёл, – похвалил себя Красный.

Остальные не стали ждать завершения его полёта и принялись по очереди надувать свои пузыри.

Вскоре во дворе их было уже несколько десятков. Они кружились и медленно плыли вниз.

– Мой самый лучший, – сказал Катафот, – вон как далеко улетел.

– И вовсе не самый, – как всегда спорила Пчёлка, – у Быжа тоже хороший. А мой ещё лучше.

– А вот мне кажется, – вмешалась Чернышка, – что каждый шарик – это целый мир со своими обитателями и мыслями. Они летят, мы за ними наблюдаем, а они наблюдают за нами. А те, кто живёт в них, даже не подозревают, что мы и есть их создатели.

– А для меня, – сказала тихо Пчёлка, – каждый пузырь – это мечта. Моя или кого-то другого. Когда пузырь лопаётся, эта мечта сбывается.

Каждая кошка думала о своём. Иначе и быть не могло – ведь у кошек тоже есть мечты.

А дети на дворовой игровой площадке замороженно смотрели, как на них сверху падают разноцветные шарики.

– Я знаю, – сказал один из них, малыш лет шести в шортах и майке, – их надувают кошки.

– Ну, ты сказал, – рассмеялся стоящий рядом с ним мальчик, который был явно постарше первого. – Какие ещё кошки? Такого не бывает.

– Я знаю, – уверенно прошептал тот. – Я видел их. Это кошки.

Победители второго новогоднего конкурса
творчества детей и для детей

НЕСТЕРОВА НАСТЯ

Уфа, Башкортостан,

14 лет

Как поверить в Деда Мороза

Тихий морозный полдень. Маленькие снежинки искрятся под солнечными лучами. Впереди целый день, за который можно успеть столько всего! Например: поиграть в снежки, слепить снеговика, прокатиться с горки на санках или даже построить собственный снежный замок!

– Да, лучше всего построить замок! – мечтательно вздохнула Лия, лёжа на сугробе.

– Тогда начнём! – поторопил её Андрей, мальчик из соседнего двора, который тоже нежился на снежном покрывале.

Они засмеялись и, натянув цветные варежки на руки, принялись собирать снег. Когда его набралось достаточно, ребята старательно начали вылеплять стены: Лия – внутри, а «Дреич», как его кратко звала девочка, – снаружи. Замок у них, конечно, вышел скособоченный, без крыши, но с маленькими окошками, через которые иногда выглядывало озорное лицо Лии с веснушками на носу.

– Кажется, всё! – Андрей снял с себя красную шапочку с помпоном и промокнул ею лоб.

Девочка с воинственным криком:

– Дрюха! – кинулась на него и повалила на снег. Снежинки запутались в его тёмных волосах, друг обиженно надел шапку обратно и недовольно чихнул.

– Ну, не дукайся! – сказала Лия примирительно и тоже чихнула.

– Я и не думал, – заявил мальчик, кидая ей в лицо пушистую снежную «вату», и тут же кинулся прочь.

Девочка вскочила, отряхнулась и побежала за ним, увязая в глубоких сугробах. Ещё утром папа жаловался, что из-за ночного снегопада занесло дороги и ему придётся долго добираться на работу. Но Лия была счастлива. Скоро Новый год, осталось всего пара дней, и природа сделала такой маленький подарок всем детям! Но Дреич, которого девочка уже догнала и поделилась своими мыслями, фыркнул:

– Неправда! Не может природа ожить!

– Ты ещё скажи, что Деда Мороза не существует! – Лия грозно глянула на него.

– А вот и не существует!

– Нет, существует!

– А ты докажи! – Мальчик ни во что не верил без доказательств. Его мама всегда говорила: «Требую аргументов и фактов!», наверное, потому что часто читала газету с таким названием.

– А вот и докажу! – ответила Лия и поспешила домой.

Она решительно не знала, как ей это сделать. К тому же, родители убеждали её, что Деда Мороза нет, а есть «авантюристы, которые пускают нелепые слухи о бородатом дедушке в красном халате». Но Лию это не остановило. У неё в голове зародилась одна интересная идея, которой она поделилась на следующий день, снова увидев Андрея. Девочка предложила сделать такую штуку. Она отнесёт конфеты снеговика, он обрадуется, оживёт и всё им расскажет.

– Вот сказки! – Мальчик шмыгнул носом и пошёл за Лией к Филипычу.

Так прозвали большого пузатого снеговика, стоящего посреди двора с огромной картошкой вместо носа. Почему Филипыч? Никто не знал. Но вид у Филипыча был угрожающий, и поэтому все остальные снеговики давно остались безносыми (или вернее «безморковными»), а Филипыч всё стоял, гордо задрав картошку к небу и опираясь на мохнатую метёлку.

– И что? – усмехнулся Дреич, глядя на попытки Лии уговорить снеговика поесть.

Вдруг раздался слабый голосок, похожий на писк:

– Он на посту, ему нельзя отвлекаться!

– Ой, мыш, мыш! – завопила, роняя леденцы в шуршащих обёртках, девочка.

– Ой, Лийка, насмешила! Какие мыши зимой? – Мальчик упал на снег и начал кататься, трясясь от смеха.

– Ай, не раздавите меня, юноша! – заверещал всё тот же голос, и Лия увидела большую снежинку, прыгавшую на красной конфетке и размахивающую ручками.

– Смотри, Дрюха, какая огромная снежинка! – вырвалось у неё.

– Я не просто огромная снежинка, а Снежана Белянская! – поправила строгим тоном снежинка.

– А почему я Вас вижу?

– Потому что Вы, милая, в меня верите, в отличие от него! – она указала на Андрея.

– Ты с кем это разговариваешь? – насторожился мальчик.

– Со Снежаной Белянской!

– С кем? Со снежинкой что ли?

– Вот она! Ты просто поверь и увидишь!

– Делать мне нечего! – но Андрей искоса глянул на снег в поисках этой Снежаны и раскрыл рот, увидев её.

– Да-да, это я Снежана! – закивала снежинка. – Причём Белянская!

– А правда, что Дед Мороз существует? – спросил мальчик.

– Да. Он отправляет снежинки, чтобы дети лепили снеговиков, которые бы слушали, какие те хотят подарки, и потом мы, снежинки, узнаем это от снеговиков и летим к Деду Морозу.

– Как всё сложно! – воскликнули ребята хором.

– А то! – Снежана была крайне довольна произведённым впечатлением.

– А где живёт Дед Мороз? – поинтересовалась Лия.

– Секрет! Он не любит гостей, говорит, что лучше самому в гости ходить.

– Пускай и к нам зайдёт! – попросила девочка, наклоняясь ещё ниже к Снежане.

– Я ему передам, – подмигнула снежинка и, расправив складочки лёгкого полупрозрачного платяица, улетела с порывом ветра.

Лия долго готовилась к празднику: выбирала праздничный наряд, накрывала на стол. Она с нетерпением ждала, когда стрелки сойдутся, и, услышав бой курантов, досчитала до двенадцати и ушла в свою комнату, укрылась одеялом и думала: «Придёт Дед Мороз или нет?» Спустя пару мгновений девочка уснула и наутро нашла на столе толстую энциклопедию, о которой мечтала, маленькую записку и капельку воды рядом: «От Снежаны Белянской». Видимо, та тут же растаяла, как снег в тепле.

Лие стало грустно, что она больше не увидит эту снежинку...

НИНА АГОШКОВА
Краснодарский край

Снегурочка и волшебный мешок

Утро началось замечательно: на кормушку неподалёку от дома прилетела незнакомая птичка. Снегурочка выглядывала из-за куста, стараясь разглядеть гостью: тоненькая, пёстренькая, крылышки с полосками, желтая шапочка на голове, грудка и живот тоже жёлтые. Птица пугливо оглядывалась по сторонам, но продолжала клевать семена репейника и семечки, насыпанные в кормушку. Раньше сюда прилетали только клесты да кедровки, а такую красавицу девочка видела впервые.

«Нужно спросить у дедушки, кто это? Или поискать в интернете», – рассуждала девочка, когда раздался голос со стороны дома:

– Внучка, пора! Неси скорее мешок, мы опаздываем!

Снегурочка с сожалением отвела взгляд от пестренькой птички, но тут же вспомнила: «Ура! Мне же бабушка разрешила сегодня рассыпать снег. Самой! Правда, после она добавила, сдвинув очки на нос:

– Только в одном городе!»

Но и этого девочке было достаточно. Каждый день бабушка Зима надевала белую меховую шубу и такую же шапку, запрягала тройку удалых коней, брала с собой внучку и отправлялась рассыпать повсюду снег из волшебного мешка.

Почему мешок был волшебным? Да очень просто: на вид не такой уж большой, он вмещал в себя огромное количество снега: сколько ни бери, мешок всегда оставался полным.

Побежала Снегурочка в кладовую, где Зима хранила разные необыкновенные вещи. На полу стояли мешки со снегом и градом, а рядом дедушкин мешок с подарками. Дарит их, дарит в Новый год Дед Мороз ребятишкам, а подарки всё не заканчиваются – вот какой это волшебный мешок! Неподалёку расположились сундуки, полные блестящих сосулечек и льдинок разной величины. На полочках вдоль стен вперемешку лежали тоненькие дедушкины кисточки – рисовать узоры на окнах; волшебные дудочки: для вьюги, метели и пурги. Тут же стояли высокие, белого цвета, бутылки. На этикетках написано: «Оттепель», «Гололёд», «Иней» и «Морось». Бабушка Зима брала их редко, для разнообразия, когда ей надоедало рассыпать снег и хотелось чего-то нового и необычного.

Схватив один из четырёх мешков, девочка выбежала во двор, вскочила в сани и тройка тут же взвилась над землёй.

– Вперёд, кони мои залётные! – звонкий бабушкин голос разносился далеко вокруг и послушные ему животные взмывали всё выше и устремлялись всё дальше.

Зима знала все пути-дороги наизусть, но всё равно иногда поглядывала на карту в новеньком планшете. А Снегурочка смотрела сверху на пролетающие далеко внизу леса, города, поля и реки. Она даже ёрзала от нетерпения на скамеечке: когда же наступит её черёд, когда бабушка доверит ей рассыпать снег?

Наконец вдалеке показался большой город.

– Приготовься, – сказала бабушка, – а я пока подремлю. Только рассыпай равномерно! – и она закрыла глаза.

«Ах, вдруг у меня получится не так, как надо?» – успела подумать девочка, но город быстро приближался и все посторонние мысли вылетели из головы. Она поскорее раскрыла мешок, зачерпнула снег и стала выбрасывать налево и направо. Смотреть, равномерно ли падает снег, абсолютно не было времени и возможности, поскольку нужно было сыпать снова и снова, а город всё не заканчивался. Тянулись и тянулись высотные дома вперемешку с одноэтажными домишками, пронеслось непонятное сооружение, похожее на купол, ленты

дорог змеились в разные стороны. Но вот наконец вдали показалось поле и лес за ним.

– Всё, бабушка, я закончила, – Снегурочка легонько тронула бабушку за плечо. А та, оказывается, и не спала, просто делала вид. И тут же развернула коней назад:

– Ну-ка, ну-ка, посмотрим, как ты справилась с заданием! – она опустила тройку ниже.

Снегурочка пригляделась и – о, ужас! – увидела внизу не белый снег, а оранжевый! А дальше... дальше все деревья, дома и дороги укрывал жёлтый! Пролетели ещё чуть-чуть – снег красный! Это было так неожиданно и странно, что девочка замерла испуганно в ожидании выговора.

– Интересно, – бабушка Зима сквозь очки с удивлением посмотрела на девочку, – внученька, что это такое случилось с нашим белым снегом?

– Не знаю, бабушка, – пролепетала Снегурочка, испуганно погладывая то вниз, на землю, то на Зиму, – даже не представляю, как он смог превратился из белого в цветной.

– Сейчас я постараюсь всё исправить, а ты сиди спокойно и вспоминай, что делала и как это получилось.

Бабушка Зима зачерпнула снег из волшебного мешка и ахнула: он был жёлтым, а не белым!

– Снегурочка! Где ты взяла этот мешок! – голос Зимы был строгим.

– Я...я... в кладовке...

– Это понятно. А точнее можешь назвать место?

– Ну, там стояли четыре мешка...

– Стоп. Почему – четыре? Там должны стоять ТРИ мешка: один со снегом, второй – с градом и ещё дедушкин, с подарками. Откуда же появился четвёртый? Ладно, не время сейчас это выяснять, нужно срочно лететь за мешком с правильным, белым, снегом.

Зима скомандовала:

– Кони! Несите нас как можно быстрее домой!

И тройка буквально взвилась и стрелой понеслась по направлению к Полярному кругу.

А в это самое время в городе, на который внезапно выпал разноцветный снег, царило веселье. Правда, взрослые спешили по делам, и мало кто из них обратил внимание на этакое чудо. Зато детвора была в восторге! Все, кто играл в это время во

дворе, радостно прыгали и бегали, оставляя белые следы на выпавшем желтом снегу.

– Ура! Ура! Ура! Жёлтый снег! – кричали мальчишки, игравшие в хоккей. Они побросали клюшки, стали набирать полные пригоршни необычного снега и подкидывать его вверх – получался настоящий салют!

– Мама, посмотри, какой красивый снег! – тянула за руку свою маму маленькая девочка. – Давай слепим красного снеговика! Он будет, как матрёшка, правда?

В одном дворе вообще получилось необыкновенное: одна его половина была в жёлтом, а вторая в оранжевом снегу. И кому-то из мальчишек пришла идея:

– Давайте играть в снежки!

Мигом поделились на две команды, и началось сражение: в воздухе замелькали разноцветные снежки. Сперва побеждали «оранжевые», потом «жёлтые» пошли в атаку и загнали противников в угол двора. А после опять стали наступать «оранжевые» и, в конце концов, раскрасневшиеся от игры мальчишки решили, что получилась ничья.

Куртки, шапки, перчатки у ребятни выглядели, словно после игры в пейнтбол – все в оранжевой и жёлтой краске. Такого снега они не видели никогда и потому продолжали резвиться.

Тройка бабушки Зимы приземлилась во дворе, и Снегурочка побежала в кладовую.

Возле сарая Дед Мороз распрягал Савраску, а белоснежные кони в стойлах нетерпеливо били копытами, огорчённые тем, что сегодня не их черёд возить хозяина по делам.

– Дедушка! А у нас был разноцветный снег! – бросилась к нему девочка.

– Кстати, ты не знаешь, откуда в кладовой появился четвёртый мешок? – спросила, подходя, бабушка Зима.

– Четвёртый? – дед почесал бороду, – а, его тётушка Осень принесла на днях. Просила сохранить до следующего года. Она же ушла в отпуск. Я просто забыл тебе рассказать.

– И что было в том мешке?

– Вроде, краски, которыми Осень перекрашивает листья в разные цвета.

– Ну, всё ясно, – сделала вывод бабушка Зима, – ты, внучка, просто перепутала мешки. А я-то подумала, что волшебство закончилось.

– Разве оно может закончиться? – удивилась девочка.

– Конечно. Всё когда-то заканчивается, – ответила Зима, но тут же добавила, – но на смену одному непременно приходит другое волшебство! Внучка, поставь мешок с красками на место, возьми со снегом, и полетели. Да смотри опять ничего не перепутай. Должна же ты, в конце концов, научиться рассыпать снег равномерно!

Вечером, за ужином, Снегурочка со смехом вспоминала, как она перепутала мешки:

– Представь, бабушка, если бы я взяла дедушкин мешок! Ещё Нового года нет, а все получили бы подарки. Здорово!

– Хм... – Дед Мороз промокнул губы салфеткой, – думаю, это плохая идея.

У праздника должно быть волшебство. Какой же Новый год без подарков?

– Ты прав, дедушка. – Снегурочка задумалась, потом снова обратилась к бабушке:

– А как же люди? Они, наверно, испугались такого странного снега?

– Взрослые, может быть, и испугались, а вот дети наигрались в своё удовольствие, пока мы с тобой не засыпали всё снова белым снегом.

Но в мире должен быть порядок. Ведь все знают, что у меня, Зимы, только одна краска: белая! Пусть так и будет всегда, – бабушка поставила на стол самовар, который тихонечко посвистывал, выпуская пар.

Вдруг, словно переключаясь с ним, под потолком послышались мелодичные звуки: «цвинь-цвинь... цвинь-цвинь...».

Снегурочка выскочила из-за стола и побежала посмотреть, кто это. Высоко под потолком на жердочке сидела та сама птичка, которую девочка видела утром на кормушке: пестренькая, с жёлтым брюшком и головой.

– Дедушка! Как её зовут?

– Это желтоголовая трясогузка.

– Почему она не улетела от нас перед морозами вместе с Осенью?

– Видно, не смогла. Но я предложил ей пожить у нас до Весны. Ты не возражаешь?

– Ну что ты! Я очень рада! – обрадовалась девочка, – буду её кормить и просыпаться под эту замечательную песенку.

Трясогузка посмотрела на Снегурочку любопытным взглядом и пискнула: «цвинь-цвинь».

– Что она говорит, дедушка?

– Это она говорит тебе «спасибо» за то, что не забываешь сыпать семечки, орешки и семена в кормушку.

Вот так и подошёл к концу этот необыкновенный день. А наутро Снегурочку разбудила весёлая птичья песенка, и начался новый день. Но это уже другая история.

ВИОЛЕТТА ГРЕБЕЛЬНИК
Италия, Рим

Снежный ком

Покатился снежный ком-ком-ком
Прямо с горки кувырком-ком-ком.
А пока катился рос-рос-рос,
Шубой белою оброс-рос-рос.

Покатился на беду-ду-ду
Он с размаху да по льду-ду-ду.
Там мальчишка на коньках-ах-ах
Размахнулся клюшкой – бах-бах-бах.

Увидел их воробей-бей-бей.
– Ты по шайбе лучше бей-бей-бей,
Пусть гуляет веселя-ля-ля
Снежный ком до февраля-ля-ля.

АРКАДИЙ МЛЫНАШ
Израиль, Холон

Главное – не растеряться

В конце декабря я летел на ракете.
Поломка, но спас аварийный портал...
Сижу на чужой, незнакомой планете.
А там, на Земле, Новый Год, карнавал!

Нарядные ёлки, веселье, подарки.
Счастливые лица, салют, конфетти...
Тут – светят три солнца, представьте как жарко,
Обидно! Что делать, куда здесь идти?

Но нет, не привык я сдаваться без боя.
Вон кактус высокий, на ёлку похож.
Гляжу на колючки, и видится – хвоя.
А сделать игрушки – поможет мой нож.

Вот корень забавный, совсем как лошадка.
А этот лохматый – похож на кокос...
Вдруг рядом со мной совершает посадку
Большой космолёт, а в дверях – Дед Мороз!

Я что-то ему говорю про погоду,
Про «ёлку», про скудость игрушек на ней...
Вдруг слышу, как брат мне кричит: «С Новым Годом!
Эй, соня, давай просыпайся скорей!»

ОЛЬГА РАЧИЦКАЯ
Кливленд, США

Предновогоднее

Мы с братишкою в тревоге:
Замела метель пути.
Дед Мороз уже в дороге,
А к крыльцу не подойти!

Тропку чистить – не игрушки.
Всё! – Лопат последний взмах.
Жаль соседку: двор старушки
Только в заячьих следах.

Мы без слов опять за дело.
Ночь. Морозец все сильнее.
А с небес звезда звенела
Колокольчиком саней.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Лейла Александер-Гарретт – писатель, переводчик со шведского и английского. Родилась в СССР, в Узбекистане. Работала переводчицей и ассистентом на фильме Тарковского «Жертвоприношение» в Швеции. Автор книги «Андрей Тарковский: собиратель снов» (М., Аст, «Астрель», 2009). Живет в Лондоне.

Инна Безирганова – театровед, историк театра, работник музея при драматическом театре им. А.С. Грибоедова в Тбилиси

Лев Бердников (р.1956, Москва) – историк, публицист, автор большого числа книг по истории Российского 18-го века и еврейства. Зам. главного редактора журнала «Слово/Word» (США, Нью-Йорк). Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «По Руси». Живет в Лос-Анджелесе.

Николай Боков. Родился в Москве, учился, надеялся, старался, беспокоился, кипятился, изучал философию, сочинял литературу, женился, печатался за границей, распространялся в самиздате, боялся, попался, обыскался, арестовался, спасался, надеялся, в 75-м очутился во Франции, в 82-м обратился, развелся, молился, скитался, вернулся в Париж в 99-м. Член редколлегии журнала ЧАЙКА. Живет в Париже.

Анатолий Валюженич. Известный исследователь жизни Маяковского и семьи Бриков. Заслуженный энергетик СНГ. С середины 1960-х углубленно занят историко-литературной темой «Маяковский и его окружение». Автор книг «О.М.Брик: Материалы к биографии», «Лиля Брик – жена командира. 1930 – 1937», двухтомника «Пятнадцать лет после Маяковского». Член Оргкомитета «Бриковских чтений», международных научных конференций, проведенных в Москве в 2010 и 2013 гг. Живет в Астане, Казахстан.

Майя Гельфанд. Профессиональная домохозяйка. В перерывах между выходением замуж и рождением детей, получила две степени в Тель-Авивском университете – по киноведению и философии. В редкие моменты, где-то между приготовлением обедов и вышиванием гобеленов, пишет рассказы, сказки и стихи на русском и иврите. Живет в Тель-Авиве. Автор постоянной рубрики журнала ЧАЙКА «Заметки на полях».

Виолетта Гребельник (Киев). Закончила Киевский медицинский институт, медицинский факультет Римского университета «La Sapienza», кандидат медицинских наук по неврологии. В настоящее время живет в Италии, работает врачом в частной клинике. В свободное время играет на фортепиано и пишет стихи. Живет в Риме.

Юлия Добровольская (р.1917, Нижний Новгород) – профессор, переводчик с итальянского, автор учебников и словарей, а также книги мемуаров «Постскриптум». На протяжении многих лет автор журнала ЧАЙКА. Живет в Милане.

Юлий Зыслин (р.1930, Москва) – кандидат технических наук, коллекционер и культуролог. С 1996 года живёт в США, в Большом Вашингтоне, автор четырёх сборников стихов, двух книг прозы, десятков эссе, статей и репортажей; основатель «Вашингтонского музея русской поэзии и музыки», с 1994 – 1996 гг. проводит Цветаевские фестивали в России и Америке и ежегодные Цветаевские костры в Вашингтоне.

Галина Ицкович – поэт, переводчик с английского. Переводит американскую поэзию XX–XXI вв. Стихи и переводы побеждали в интернет-конкурсах на сайте «Стихи.ру», на конкурсе переводов в журнале «Эмигрантская лира» (2013). Первое место в номинации «Зрительские симпатии» на Открытом Чемпионате Германии по русской словесности (2013). Дипломы поэтических конкурсов «Лужарская полночь» (2013), «Эмигрантская лира» (2014). Член редколлегии онлайн-журнала «Окна». Живет в Нью-Йорке.

Дарья Кашина. Русскоязычный журналист, живет в Киеве, печатается в российских изданиях, дебютировала и постоянно печатается в журнале ЧАЙКА.

Никита Кривошеин (р.1934, Париж) – переводчик и писатель, общественный и политический деятель русской эмиграции, Кавалер ордена Святого Даниила III степени. Живет в Париже.

Ксения Кривошеина – художник, публицист, исследователь творчества Матери Марии (Скобцовой). Автор многочисленных публикаций во французских и российских изданиях. Редактор православного сайта «Parlons d'Orthodoxie». Живет в Париже.

Илья Криштул. Родился и живёт в Москве. Окончил Педагогический институт, работал учителем. Лауреат нескольких литературных конкурсов, автор двух книг юмористической прозы. Постоянный автор журнала ЧАЙКА, ведет колонку сатиры и юмора.

Сергей. А. Кузнецов (р.1952, Москва) – писатель, драматург. Закончил Биофак МГУ, работал в НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи АМН СССР. В конце 80-х написал несколько пьес, одна из которых, «...И Аз воздам», с 1990 по 1994 г. шла в Малом театре в Москве. С 1992 года живет в США, в Большом Вашингтоне, работает в Национальном Институте Здоровья.

Татьяна Кузнецова. Родилась и живет в Москве. Много лет проработала менеджером в коммерческом банке, сейчас на тренерской работе – преподает банковское дело в ВУЗе. Автор четырех поэтических сборников, публикаций в литературных журналах и альманахах. Призер и победитель ряда поэтических конкурсов в рунете. Пишет тексты песен для исполнителей различных жанров. Тесно связана с коллективом Московского цирка.

Самуил Кур – поэт, прозаик, эссеист. Родился, жил, работал в Белоруссии. Педагог-математик по образованию. С 1996-го в Сан-Франциско. Член редакционного совета еженедельника «Кстати» (Сан-Франциско).

Артем Куралишин (Уфа, Башкортостан). Публиковался в местной и центральной периодике: «Искатель» (Москва), «Машины и Механизмы» (С.-Петербург), «Литературное агентство Уральского следопыта» (Екатеринбург). Как писатель дебютировал в журнале ЧАЙКА. Живет в Уфе.

Ирина Лемм. Живет в Голландии пятнадцать лет. Недавно занялась писательством. Автор сайта «Ирина Лемм приглашает». Дебютировала в журнале ЧАЙКА.

Елена Литинская (Москва) – поэт. Закончила славянское отделение филфака МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. Автор шести книг стихов и прозы. Была Президентом Бруклинского клуба русской поэзии, ныне заместитель главного редактора литературного журнала «Гостиная». С 1979 года живет в Нью-Йорке.

Яков Лотовский (р.1939) – прозаик, автор юмористических рассказов. Автор книг и многочисленных публикаций в российских и зарубежных изданиях, рассказы переведены на английский, немецкий, украинский, итальянский, эстонский языки, а также на иврит. Лауреат лит. конкурса радиостанции «Немецкая Волна» (1991, Кёльн, Германия). Живет в Филадельфии.

Элеонора Мандалян (Москва) – журналист, писатель. По образованию скульптор. Кандидат наук. С 1994 живет в США. Работала литературным редактором в русскоязычном альманахе «Панорама» и вела в нем свою рубрику «Непознанное». Постоянный автор и член редколлегии журнала ЧАЙКА. Живет в Лос-Анджелесе.

Вадим Массальский (р.1964, Одесса) – журналист, писатель, редактор на радио «Голос Америки», член редакции журнала ЧАЙКА по связям с общественностью. Живет в Александрии, США.

Азарий Мессерер (р.1939) – русский и американский журналист, переводчик, пианист, лектор. Из известной балетной и творческой семьи. Его двоюродная сестра прима-балерина Майя Плисецкая и двоюродные братья Азарий Плисецкий, Михаил Мессерер и художник Борис Мессерер. Его тети: Суламифь Мессерер и Рахиль Мессерер и дядя Асаф Мессерер. В 1981 году эмигрировал в США, где продолжил журналистскую деятельность. Постоянный автор журнала ЧАЙКА. Живет в Нью-Йорке.

Лариса Миллер – российский поэт, прозаик, эссеист и педагог. Автор более 13 сборников поэзии и прозы. Книги переведены на английский и итальянский языки. Член Русского ПЕН-центра (с 1992). Живет в Москве.

Саша Немировский (р.1963, Москва) – поэт, писатель, путешественник, скалолаз, программист, антрепренер. С 1990 года живет в Калифорнии. Регулярно печатается в различных литературных альманахах и изданиях в США, Франции и в Финляндии. Автор 4 книг стихов. С 1987 пишет стихи в своем собственном стиле «джаз-поэзия».

Амшей Нюренберг (1887, Елисаветград –1979, Москва) – российский и советский художник, график, искусствовед, автор мемуарной прозы. На протяжении жизни Нюренберг работал в разных стилях – от модернизма до реализма, всегда оставаясь верным традициям Парижской школы.

Елена Пацкина. Окончила Московский авиационный институт по специальности инженер-экономист. Автор нескольких книг стихов и серии «Беседы с мудрецами» (более семидесяти персонажей, начиная от Эпикура, Демокрита и других античных авторов до Курта Воннегута, Агаты Кристи и пр.). Помогает журналу ЧАЙКА в художественном оформлении материалов. Живет в Москве.

Александр Романов. Родился и живет в Волгограде. Закончил Волгоградскую Архитектурно-строительную академию (сейчас – Университет) в 2000 г. Служил в ВС РФ в 2000-2001 гг. Работал дизайнером. Сейчас архитектор-проектировщик зданий и сооружений. Писать начал в 2013 году. Как писатель дебютировал в ЧАЙКЕ.

Ирина Роскина. Закончила в 1971 г. романо-германское отделение филологического факультета МГУ. С 1972 г. работала в Иностранном отделе Госфильмофонда СССР и по совместительству синхронным переводчиком кинофильмов. С 1990 года переехала в Израиль, где работала в

Иерусалимской библиотеке Гуманитарных и общественных факультетов Еврейского университета. Живет в Иерусалиме.

Наталья Роскина (1927–1989) – автор многочисленных публикаций по русской литературе, редактор, специалист по А.П. Чехову и А.С. Суворину. Ей посвящено знаменитое стихотворение Николая Заболоцкого «Признание» ("Зацелована, околдована...").

Валентина Синкевич (р.1926, Киев) – поэт, эссеист, автор мемуаров. В годы войны была депортирована в Германию, с 1950 года живет в Америке, в Филадельфии. В течение тридцати лет издавала поэтический Альманах «Встречи» (до 1983 «Перекрестки»).

Александр Сиротин. Родился в Москве. Журналист, писатель, в прошлом актер. Сотрудничает с американскими русскоязычными газетами и журналами, радио и телевидением. Автор сборника рассказов «Москва – Нью-Йорк, далее везде...». Постоянный автор и член редколлегии журнала ЧАЙКА. Живет в Нью-Йорке.

Грегори Соляр. Родился в Одессе. Стихи переведены и опубликованы на нескольких языках. Его рисунки были приобретены в подарок Нобелевским лауреатам. Занимается научной деятельностью в области передовых технологий. Живет в Балтиморе.

Павел Товбин – специалист в области финансов и экономики. Больше тридцати лет живет в США, в настоящее время – в Сан-Франциско.

Бауржан Тойшибеков. Историк по образованию, живет в Казахстане (г. Алматы), в настоящее время работает истопником в сауне.

Ольга Трифонова-Танян (урожденная Трифонова), родилась в Москве. Закончила английское отделение филфака МГУ, работала в издательстве «Прогресс» и в ИМЛИ (Институте мировой литературы), кандидат наук. Автор-составитель книги А.Нюренберга «Одесса-Париж-Москва» (М., 2010), а также автор ряда мемуарных статей о своем отце писателе Юрии Трифонове. Живет в Дюссельдорфе (Германия).

Вера Чайковская (Москва) – прозаик, художественный критик, историк искусства, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. Первая премия за прозу на международном литературном конкурсе в Италии (Анкона, 1997). Лауреат премии им. Катаева за повесть «Уроки философии» в журнале «Юность» за 2013. Диплом Академии художеств за книгу «Три лика русского искусства 20 века. Роберт Фальк, Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов», М. 2006. Живет в Москве.

Ирина Чайковская (Москва) – писатель, критик, публицист, драматург. Автор восьми книг и многочисленных статей в российской и зарубежной периодике. Главный редактор журнала ЧАЙКА. Живет в Большом Вашингтоне.

Евсей Цейтлин (р.1948, Омск) – культуролог, литературовед, критик, прозаик. Автор большого числа книг, изданных в России, Литве, Германии и США. Книга «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» открыла новый жанр в русской литературе, была переведена на немецкий и литовский языки. Кандидат филологических наук (1978), член международного ПЕН-клуба ("Writers in Exile"). Издает журнал ШАЛОМ. Живет в Чикаго.